

А.М.Филитов

«ХОЛОДНАЯ  
ВОЙНА»

ИСТОРИО-  
ГРАФИЧЕСКИЕ  
ДИСКУССИИ  
НА ЗАПАДЕ

«Наука»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

А.М.Филитов

# «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»

ИСТОРИО-  
ГРАФИЧЕСКИЕ  
ДИСКУССИИ  
НА ЗАПАДЕ



МОСКВА "НАУКА" 1991

ББК 63. 3(0) 6  
Ф 53

**Филитов А.М.**

Ф 53 "Холодная война": историографические дискуссии на Западе. –  
М.: Наука, 1991. – 200 с.  
ISBN 5-02-009006-9

Что такое "холодная война"? Откуда она берет начало? Где ее конец? Можно ли было ее предотвратить? Кто виноват? Таковы лишь некоторые вопросы, актуальные и сегодня, которые ставятся в монографии. Автор пытается с позиций нового политического мышления проанализировать и сами эти вопросы, и ответы, которые дают на них западные историки различных направлений. Центральный сюжет монографии – не "разоблачение фальсификаторов", а поиск ценного и рационального в трудах, представляющих иную методологию по сравнению с принятой в советской историографии.

Для историков, пропагандистов.

Ф 0503010000-103 66-91, II полугодие  
042(02)-91

ББК 63. 3(0) 6

ISBN 5-02-009006-9

© Издательство "Наука", 1991

## ВВЕДЕНИЕ

XX век принес в мир много новых явлений и понятий. Именно в наш век человечество впервые узнало, что такое мировая война, успев и сумев пережить их уже две. В конце второй оно получило трагическую возможность заглянуть в то, что могло стать его последней войной. Хиросима и Нагасаки открыли в середине XX столетия новый век – ядерный. А вскоре, и как раз в прямой связи с ядерной политикой и дипломатией, вошло в историю еще одно новое понятие – “холодная война”. ✓

Пока эта война шла на подъем, пока она определяла собой международный климат и образ мыслей вовлеченных в нее сторон, исследование ее истории оставалось делом, не внушавшим особого оптимизма в плане нахождения объективной исторической истины. История того, что еще не стало историей, уже сама по себе противоречие в понятии. Политизированность темы с необходимостью несла с собой политизированность в постановке вопросов. “Холодная война” анализировалась с точки зрения того, кто в ней победил или побеждает, кому она выгодна, какая сторона виновата в ее развязывании. ✓

✓ Ныне сама политика снимает эти вопросы. «“Холодная война” осталась позади. . . В “холодной войне”, как и в ядерной, не может быть победителей. . . Рассуждения о том, что кому-то “холодная война” была полезной, – это политическое мошенничество и безответственность. . . Каждая из наших стран несет долю ответственности за то, что послевоенный период в истории человечества принял характер изнурительной и опасной конфронтации. . .» – эти высказывания М.С. Горбачева во время его визита в США летом 1990 г.<sup>1</sup> говорят сами за себя. ✓ Новые политические реальности и подходы открывают и новые возможности для исторической науки, возможности отказа от идеологизированной, конфронтационной схемы и в постановке вопросов, и в нахождении ответов.

История “холодной войны” ныне не только возможна, она и необходима. “Для человечества важен любой исторический опыт, и позитивный, и негативный. . . Отрицательный опыт важен как урок-предупреждение. Люди должны знать историю зарождения войн, чтобы уметь вовремя подняться на борьбу против военной угрозы” – эти мысли, с которыми советские историки-международники вступали в перестройку<sup>2</sup>, не теряют своей актуальности. Послевоенная конфронтация была как раз тем нега-

<sup>1</sup> Правда. 1990. 6 июня.

<sup>2</sup> Марушкин Б.И., Чубарьян А.О. Опыт истории: искусство жить вместе // Правда. 1986. 14 июля.



тивным опытом, изучение которого необходимо для того, чтобы избежать его повторения, а ее преодоление есть не что иное, как тот позитив, изучение которого – полезное лекарство против догматизма и пессимизма, которых еще, скажем прямо, немало и у нас, и на Западе. Особое значение приобретает в связи с этим проблема альтернатив и упущенных возможностей неконфронтационного развития, выходящая на передний план в условиях нового политического мышления. Определенное направление поисков ответа на эти вопросы дано в докладе М.С. Горбачева, посвященном 70-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, где отмечалось, в частности: «Не всегда и не во всем – и до, и после второй мировой войны – удавалось использовать открывавшиеся возможности. Огромный моральный авторитет, с которым вышел из войны Советский Союз, мы не смогли реализовать, чтобы консолидировать миролюбивые, демократические силы и остановить организаторов "холодной войны"»<sup>3</sup>.

Комплексное фундаментальное исследование истории "холодной войны", которое вобрало бы в себя весь ее опыт и все ее уроки, – это, очевидно, дело будущего. Оно потребует обширных архивных изысканий, новых методологических подходов. Необходимой предпосылкой для такого труда является "инвентаризация" всего того, что уже накоплено по данной теме мировой историографией. Выполнению этой задачи и призвана служить предлагаемая вниманию читателя монография.

Следует, видимо, сразу же ответить на два напрашивающихся вопроса. Так ли уж необходима упомянутая "инвентаризация", если сам автор характеризует предшествующую историографию как политизированную, идеологизированную и, таким образом, не отражавшую действительность адекватным, объективным образом? С другой стороны, ограничиваясь западной историографией, не следует ли он сам идеологизированному, конфронтационному принципу, противопоставляющему друг другу Запад и Восток?

Что касается первого вопроса, то наиболее общий ответ на него можно найти у В.И. Ленина. Критикуя субъективный идеализм (политизированный подход к истории можно рассматривать как его частный случай), он выступал против нигилистического отношения к этому феномену как простой чепухе, не заслуживающей внимания и анализа. В.И. Ленин писал в этой связи: "Наоборот, с точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное. . . развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют. . ." <sup>4</sup> Односторонность, абсолютизация заслуживают критики. Однако то, что в них отражаются "грани познания", давая "один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека" <sup>5</sup>, диктует необходимость учета и изучения этих "граней".

Сложнее со вторым вопросом. Автор не считает корректным и плодотворным разделение мировой исторической науки на два "лагеря" –

<sup>3</sup> Правда. 1987. 3 нояб.

<sup>4</sup> Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 322.

<sup>5</sup> Там же.

”восточный” и ”западный”, ”марксистский” и ”немарксистский”. Наука, как и истина, едина. В то же время неверным было бы и игнорировать очевидные различия в том, как развивалась эта наука, условно говоря, на Западе и Востоке. Все дело, видимо, в том, чтобы правильно определить и те различия, и то общее, что и образует диалектическое единство.

Безусловно устарелой и неверной следует признать формулу огульного противопоставления: ”фальсификация” – ”объективность”, ”отсталое” – ”передовое”. Напротив, очевидно, следует иметь в виду определенную параллельность в развитии, общность решаемых задач и даже близость в формулировании ответов (как и в трудностях найти оптимальный ответ). Отсюда, и именно отсюда, вытекают возможность и естественность плодотворного диалога, обмена идеями, использования опыта друг друга.

Советские историки начали изучение проблематики ”холодной войны” с довольно узкой установки – доказательства виновности в ее развязывании правящих кругов Запада, прежде всего США<sup>6</sup>. С течением времени ракурс становился шире, захватывал такие темы, как деятельности различных ”групп давления” и их влияние на процессы принятия политических решений в странах Запада, роль общественного сознания и массовых движений, перцепция и мисперцепция в оценке внешнеполитических реалий, различия во внешнеполитических установках и практике различных капиталистических стран<sup>7</sup>.

Вместе с тем в принципе сохранялось представление о ”холодной вой

---

<sup>6</sup>Наличие такой установки в первых научных трудах по послевоенному периоду, начавших появляться на рубеже 50-х и 60-х годов, отнюдь не лишало и не лишает их познавательной и историографической ценности. См., в частности: Международные отношения после второй мировой войны / Гл. ред. Н.Н. Изоземцев. М., 1962–1965. Т. 1–3; История международных отношений и внешней политики СССР / Отв. ред. В.Г. Трухановский. М., 1964. Т. 3; *Трухановский В.Г.* Внешняя политика Англии после второй мировой войны. М., 1957; *Молчанов Н.Н.* Внешняя политика Франции, 1944–1954. М., 1959; *Изоземцев Н.Н.* Внешняя политика США в эпоху империализма. М., 1960; *Халоша Б.М.* Североатлантический блок. М., 1960; *Яковлев А.Н.* Идеиная нищета апологетов ”холодной войны”. М., 1961; *Яковлев Н.Н.* Новейшая история США, 1917–1960. М., 1961.

<sup>7</sup>Назовем труды таких историков (помимо уже упомянутых выше), как В.В. Александров, Р.Ф. Алексеев, В.Ф. Акичкина, А.Ю. Борисов, Ю.А. Борисов, П.А. Варес, В.К. Волков, Г.А. Воронцов, Г.Ф. Воронцов, С.Б. Воронцова, Ю.П. Давыдов, А.А. Галкин, Л.А. Гибианский, Анаст. А. Громыко, Е.В. Егорова, Т.Д. Жданова, Н.В. Загладин, К.П. Зуева, Р.Ф. Иванова, Л.Г. Истягин, Н.В. Капитонова, В.Б. Княжинский, А.А. Кокошин, Г.В. Колосов, В.А. Кременюк, И.С. Кремер, А.Е. Кунина, И.Е. Малашенко, В.Л. Мальков, Д.Е. Мельников, Ю.М. Мельников, В.И. Милокова, М.М. Наринский, П.А. Николаев, И.И. Орлик, М.М. Петровская, С.М. Плеханов, К.В. Плешаков, П.Т. Подлесный, С.П. Пожарская, Д.М. Проэктор, Ю.Н. Разманинов, Н.А. Розанцева, А.А. Рошин, В.А. Рыжиков, Л.Н. Сванадзе, Г.И. Святов, Г.Н. Севостьянов, Н.Д. Смирнова, Г.А. Трофименко, А.И. Уткин, В.М. Хайцман, В.С. Шилов, И.А. Чельшев, В.Л. Чернов, Т.Н. Юдина и др. Следует отметить также политологические и социологические работы В.Г. Барановского, Ф.М. Бурлацкого, Г.Н. Вачнадзе, В.И. Гантмана, Г.А. Грушина, В.В. Журкина, С.А. Караганова, Н.А. Косолапова, А.А. Лихотала, Э.А. Позднякова, Д.Г. Томашевского и др.

не” как феномене *западной политики* (или политики и идеологии), намерениях и акциях *одной стороны*, а не как определенном феномене *международных отношений*, отражающем взаимодействие *обеих* вовлеченных в конфронтацию сторон<sup>8</sup>. Это представление противоречило простому здравому смыслу<sup>9</sup> и, по существу, снимало проблему возможности предотвращения ”холодной войны”. В самом деле, если *курс* на конфронтацию – это уже конфронтация или если такой курс *автоматически* ведет к конфронтации, то диапазон альтернатив практически исчезает. Однако уже Октябрьская революция ограничила возможности империализма определять судьбы мира. Всемирно-историческая победа над фашизмом ограничила их еще более: агрессивные силы никак не могли рассчитывать на то, что им ”автоматически”, сразу и прямолинейно, удастся реализовать свои планы.

В связи с этим представляется крайне спорным такой подход, при котором начало ”холодной войны” связывается с каким-либо демаршем западной стороны, причем на сравнительно раннем отрезке послевоенной истории – речью Трумэна с изложением получившей его имя доктрины в марте 1947 г. или фултонской речью Черчилля, произнесенной годом раньше<sup>10</sup>. Специфика послевоенной политической ситуации заключалась как раз в том, что многое, если не все, в ее развитии зависело не от акций сторонников конфронтации (а тем более деклараций), а от реакции, контрдействий миролюбивых сил. В этом заключалась возможность предотвращения ”холодной войны”, и в том, что эта возможность не была должным образом реализована, доля ответственности этих сил за тяжелое, кризисное развитие послевоенного мира.

Для современной советской историографии характерна тенденция к преодолению односторонне прямолинейного взгляда на послевоенное развитие. Приведем несколько примеров поисков нового подхода (они взяты нами из работ разных ”жанров”: первая – историко-политологическая, вторая – чисто историческая, третья – учебно-дидактическая; воспроизведены самые общие, оценочные суждения).

«... Речь Черчилля была своего рода лишь сформулированным манифестом ”холодной войны”. Она выразила то, что практически уже стало

<sup>8</sup>Характерный пример: «Избранный США и их союзниками внешнеполитический курс получил название ”холодной войны”» (см.: История международных отношений и внешней политики СССР. Т. 2. 1945–1970. М., 1987. С. 111).

<sup>9</sup>«Сущность конфликта определяется не одной действующей стороной, а отношением сторон. . . Эта сущность по-разному воплощает интересы и цели не только агрессоров, но и борцов против агрессии», – справедливо отмечается в одном из наиболее глубоких теоретических трудов советских международныхников (Международные конфликты современности / Ред. В.И. Гантман. М., 1983. С. 25). К сожалению, феномену ”холодной войны” в этой работе уделено мало внимания; более того, создается впечатление, что он вообще выводится за рамки понятия конфликта, что не представляется обоснованным (см.: Там же. С. 46).

<sup>10</sup>Характерные примеры: «Доктрина Трумэна» означала официальное провозглашение правящими кругами США ”холодной войны” (фактически уже начатой); «Открытым провозглашением ”Х. в.” принято считать речь У Черчилля 5.III 1946 в Фултоне (США). . .» См.: Всемирная история. М., 1977. Т. 9. С. 518; Дипломатический словарь, М., 1986. Т. 3. С. 537.

внешнеполитическим курсом США. . . Вскоре провокационная программа Черчилля вылилась практически в "доктрину Трумэна", первую оформленную политическую директиву, официально начавшую "холодную войну"»<sup>11</sup>. Из данного контекста следует, что курс на конфронтацию сложился до Фултона, до марта 1946 г. (момент возникновения этого курса автор обоснованно связывает с первыми акциями администрации Трумэна в апреле 1945 г.<sup>12</sup>). В то же время, поскольку "директива" на ведение войны, естественно, предшествует ее фактическому началу, то датой выступления Трумэна в конгрессе 12 марта 1947 г. определен, очевидно, тот рубеж, откуда пошел "отсчет времени" к конфронтации, но еще не самой конфронтации<sup>13</sup>.

Несколько высказываний другого автора: «. . . Речь Черчилля стала предвестником и программой "холодной войны". . . Провозглашение "доктрины Трумэна" означало переход к осуществлению жесткого давления в отношении Советского Союза, возведение антикоммунизма в ранг государственной политики США. . . "План Маршалла" содействовал развертыванию "холодной войны" и росту напряженности в Европе. Его реализация стала одним из решающих этапов для образования империалистических военных блоков. . . Брюссельский пакт положил начало процессу оформления противостоящих друг другу военных блоков. . . Порождением "холодной войны" стал "берлинский кризис". . .»<sup>14</sup> Мы видим, что и Фултон, и "доктрина Трумэна" характеризуются как предпосылки качественных сдвигов в международной обстановке, сами же эти сдвиги, т.е., по существу, начало "холодной войны", локализируются в промежутке между мартом и июнем 1948 г. (подписание Брюссельского пакта – март, вступление в силу "плана Маршалла" – апрель, начало "берлинского кризиса" – июнь). Думается, это весьма близко к истине.

Наконец, последнее суждение: «После того как задача разгрома фашизма была решена, процесс сотрудничества и взаимодействия стран антигитлеровской коалиции не получил своего развития. Коалиция распалась, уступив место жесткой конфронтации, переросшей в "холодную войну". Стал гипертрофироваться и обостряться образ врага. . . Этапным моментом в развитии событий стала известная фултонская речь У. Черчилля (1946 г.). Далее недоверие и напряженность стали нарастать прямо пропорционально усилению наиболее реакционно, антисоветски настроенных империалистических кругов и наших конфронтационных действий как в пропагандистском, так и в политическом плане. Советское руководство в 50-е и 60-е годы позволило втянуть нашу страну в "холодную войну"»<sup>15</sup>. Здесь по достоинству можно оценить сбалансированную трак-

<sup>11</sup>Яковлев А.Н. От Трумэна до Рейгана. М., 1984. С. 196.

<sup>12</sup>Там же.

<sup>13</sup>Иная, более традиционная датировка использована автором в другом месте. См.: Там же. С. 214.

<sup>14</sup>Наринский М.М. "Холодная война" и раскол Европы. Предпосылки смягчения международной напряженности // Европа XX века: проблемы мира и безопасности / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 1985. С. 117–119, 122.

<sup>15</sup>Очерк теории социализма / Отв. ред. Г.Л. Смирнов. М., 1989. С. 344–345.

товку ответственности обеих сторон, а также роли идеологического фактора в "холодной войне". Тенденция же к описанию ее генезиса как длительного процесса уже даже несколько гипертрофирована. Разве в конце 40-х годов "холодной войны" еще не было? Чем отличаются друг от друга просто "жесткая конфронтация" и "холодная война", которые трактуются как две последовательные фазы исторического процесса?

Нетрудно заметить, что нечеткостей и даже противоречий можно было бы избежать, если бы имелось строго научное определение, что такое "холодная война", чем она отличается от простого состояния напряженности или просто "нормального" режима международных отношений, в котором, конечно, тоже не исключены трудности и конфликты. Неработанность критериев не позволяет точно определить не только начало, но и конец "холодной войны". О таковом говорилось неоднократно, в том числе еще и в 50-е годы, однако верно, что в отношении таких высказываний надо делать "скидку на публицистическую гиперболизацию"<sup>16</sup>. Позднее утвердилась схема: первая "холодная война" – "разрядка" – вторая "холодная война" (на рубеже 70-х и 80-х годов)<sup>17</sup>, имевшая то преимущество, что ею подчеркивался сложный, непрямолинейный характер процесса демонтажа конфронтационной политики и идеологии. К сожалению, эта мысль пока не нашла признания при анализе предыстории "холодной войны", которая в новейших трудах по-прежнему трактуется как процесс хотя и длительный, но прямолинейный, "по нарастающей", без отклонений и зигзагов. Такое представление также весьма затрудняет поиск альтернативных упущенных возможностей послевоенного развития, ибо, понятно, такие альтернативы и возможности возникают на "поворотах" исторического процесса, а если таковых не наблюдалось, то, значит, и пространства для выбора практически не имелось.

Точное определение "траектории" послевоенного развития международных отношений наряду с точным определением самого понятия "холодная война" – таковы, на наш взгляд, две основные, наиболее актуальные для нашей историографии задачи, являющиеся предпосылкой для перехода от проблемы "кто виноват" к проблеме "что было упущено".

Обратимся теперь к западной историографии. Долгое время там приоритетным оставался вопрос об ответственности и до сих пор историки делятся на три большие группы как раз по этому критерию: "ортодоксы" – те, кто считают, что "холодную войну" развязал Советский Союз; "ревизионисты" – те, кто придерживаются противоположного мнения; и, наконец, "постревизионисты", разделяющие эту ответственность между СССР и западными странами. В последнее время, однако, такая ориентированность на одну только проблему считается уже недостаточной. Ведущий франкоязычный журнал историков-международников по<sup>1</sup>

<sup>16</sup>См.: *Тарле Г.Я.* Движение сторонников мира в СССР. М., 1988. С. 129.

<sup>17</sup>См.: *Иванов Р.Ф.* Дуайт Эйзенхауэр. М., 1983. С. 7; Белая книга "холодной войны"/ Сост. Г.Н. Вачнадзе. М., 1985. С. 5-6. Понятие второй "холодной войны" вошло и в словарь политики. См.: *Горбачев М.С.* Перестройка и новое политическое мышление для нашей страны и всего мира. М., 1987. С. 203.

святил недавно два номера (половину годового объема) "холодной войне". И вот какое суждение содержится в статье, подводящей итог предшествующей разработке данной темы: «Вопрос о происхождении "холодной войны" – это прежде всего вопрос об ответственности. Однако в ответах, которые на него будут даваться в будущем, следовало бы так или иначе определить позицию и по вопросу, можно ли было "холодную войну" предотвратить. . . какие были возможны альтернативы»<sup>18</sup>. Налицо, таким образом, уже определенная переориентировка. Можно, конечно, констатировать, что в этой переориентировке советские историки несколько опередили западных, однако в том, что касается необходимых предпосылок решения этой новой задачи, а именно в трактовке проблем понятийных и хронологических рамок "холодной войны", последние располагают богатым и небезынтересным опытом.

В подходе к этой проблематике можно выделить также три школы, или "модели". Первая исходит из той посылки, что между "коммунистическими" и "некоммунистическими" странами вообще в принципе не может быть иных отношений, кроме конфронтационных; аномалией следует считать не "холодную войну", а ее отсутствие.

Вторая рассматривает историю с точки зрения борьбы между различными "центрами силы" и эволюции мира в XX в. от "многополярного" (до второй мировой войны) к "биполярному" и затем вновь к "многополярному"; ситуация "биполярности" – это и есть "холодная война".

Наконец, третья трактует "холодную войну" как продукт "реактивной механики" – продукт враждебной инициативы, с одной стороны, и конфронтационного ответа – с другой, причем и то, и другое обязательно связывается с императивами идеологии или силовой борьбы.

Первая модель (назовем ее "идеологической") датирует "холодную войну" по меньшей мере с 1917 г., доводя до момента "победы" одной стороны над другой. Это, пожалуй, самая фаталистическая, безальтернативная модель. Вторая ("силовая") отводит "холодной войне" гораздо более ограниченный отрезок времени: начало – какой-то момент в диапазоне от 1941 до 1945 г.; окончание или, вернее, поворот к окончанию – от середины 50-х до середины 60-х годов. Что же касается третьей, то начало конфронтации в ней не *дата* а *период* между двумя датами – "инициативы" и "ответа"; проблема окончания "холодной войны" вообще особенно не акцентируется; для этой модели характерна идея минимальной детерминированности не только возникновения, но и исчезновения "холодной войны": логично отсюда вытекает представление не об одной такой "войне", а о нескольких, уже имевших место в прошлом и вполне допустимых в будущем.

Несколько конкретных примеров того, как эти различные подходы воплощались в историографической реальности (последовательность примеров приблизительно соответствует движению от "идеологической" модели к "силовой" и затем – "инициативно-реактивной"): "холодная война" уходит корнями в глубокое прошлое, вытекает из марксистско-

<sup>18</sup>Kreis G. Le debat sur les origines de la guerre froide: etat de la question // Relations Internationales. 1986. N 47. P. 317.

ленинской идеологии и принесет победу ее противникам, хотя и в некоем неопределенном будущем (Э. Нольте, ФРГ); она началась в 1917 г. из-за антикоммунизма и антисоветизма западных лидеров, уже принесла им поражение (Д. Флеминг, США); начало – в 1945 или 1941 г., причины – советская агрессивность и конец американского изоляционизма, конца не видно (Р. Уинкс, США); начало – апрель 1945 г. как неизбежный результат встречи двух армий – Востока и Запада, вряд ли имеет смысл говорить о чьей-либо вине, разве только Гитлера (Г.-А. Якобсен, ФРГ); корни – в XIX в., в англо-русском соперничестве, поворотный пункт к развязыванию – лето 1947 г., к “увяданию” – 1962 г. (Л. Галле, США); период “холодной войны” – 1941–1955 гг., ответственность на обеих сторонах (В. Лот, ФРГ); период ее генезиса – март–апрель 1945 г., все началось с англо-американской попытки сепаратных переговоров с немцами в Швейцарии и соответствующей реакции СССР (Г. Алпровиц, США); февраль–май 1946 г., следствие “западного вызова, советского ответа” (Ф. Харбэтт, США); “примерно с 1944 по 1948 г.”, начал и виноват СССР (Дж. Кеннан, США); примерно с 1941 по 1950 г., виноваты обе стороны, но больше – советская (Дж. Гэддис, США); было три “холодные войны” (1947–1955, 1958–1963, 1964–1975 гг.), все – из-за действий Востока, “непосредственные истоки” первой – еще в 1943 г. (Д. Уотт, Великобритания)<sup>19</sup>.

Пестрота представленной выше историографической палитры (а это лишь ничтожная часть реально существующей) легко как объяснима. Наличие трех подходов к проблеме ответственности и трех – к проблеме понятия и хронологии уже чисто теоретически дает девять различных вариантов их сочетания. На самом деле таких вариантов гораздо больше, ибо большинство авторов используют более чем один подход в своей творческой лаборатории; “монизм” – скорее исключение (из приведенных примеров это, пожалуй, лишь Э. Нольте, последовательный “ортодокс” и “идеолог”, и Г. Алпровиц – и последовательный “ревизионист” и представитель концепции “инициатива – реакция”); к тому же такое направление, как “постревизионизм”, ныне, видимо, доминирующее, само весьма неоднородно: ведь идея “разделенной ответственности” может выглядеть и как равенство в ответственности, и как соотношение двух близких величин, и как значительное превышение одной величины над другой – и, конечно, в каждом случае концепции будут весьма раз-

<sup>19</sup>*Nolte E.* Deutschland und der kalte Krieg. München, 1974; *Fleming D.* The Cold War and Its Origins, 1970–1960. N.Y., 1961; *Winks R.* The Cold War from Yalta to Cuba. N.Y., 1964; *Jacobsen H.-A.* The Division of Germany // Contemporary Germany; Politics and Culture / Ed. Ch. Burdick, H.-A. Jacobsen, W. Kudczus. Boulder, 1985. S. 62; *Halle L.* Cold War as History. N.Y., 1968; *Loth W.* Die Teilung der Welt: Geschichte des kalten Krieges 1941–1955. München, 1980; New York Review of Books. 1966. Sept. 8; *Harbutt F.* American Challenge, Soviet Response: The Beginning of the Cold War, February – May 1946 // Political Science Quarterly. 1981–1982. Vol. 96, N 6; *Witnesses to the Origins of the Cold War* / Ed. T. Hammond. Seattle, 1982. P. 27; *Gaddis J.* The United States and the Origins of the Cold War, 1941–1947. N.Y., 1972; *Idem.* Was the Truman Doctrine a Real Turning Point? // Foreign Affairs. 1974., Vol. 52, N 2; *Watt D.C.* Rethinking the Cold War: A Letter to a British Historian // The Political Quarterly. 1978. Vol. 49, N 4. P.44.

ниться друг от друга. Словом, если в конце 60-х годов в одной из первых монографий, посвященных истории (и историографии) "холодной войны", для характеристики имеющихся в ней концепций и их разнообразия употреблялось слово "какофония"<sup>20</sup>, то, казалось бы, оправдан вывод, что с тех пор она значительно разрослась.

Однако определенные закономерности в развитии этих концепций все же можно уловить. Прочитируем как образец "внутренней" самооценки высказывание одного из авторов, который фигурировал в приведенной выше выборке – Ф. Харбэтта: «В историографии "холодной войны" фокус сдвинулся – от страстной полемики по вопросу об ответственности к терпеливой реконструкции событий. Дефицит концептуальной мысли, однако, остается, что может быть проиллюстрировано на примере судьбы основного еще не решенного вопроса: когда началась "холодная война"? Когда-то существовало широкое согласие, что решающим моментом явился март 1947 г. – "доктрина Трумэна", – но оно держалось лишь до тех пор, пока ревизионисты не привлекли внимание к имевшим место до того фактам американской воинственности в первой половине 1945 г. Но ревизионисты в свою очередь проигнорировали то, что госсекретарь Бирнс в конце 1945 г. предпринял новую попытку достичь соглашения с Москвой. В конечном счете почти что по принципу исключения среди исследователей получила поддержку точка зрения о переориентации американской политики в первой половине 1946 г., хотя ведущий протагонист этой точки зрения (Дж. Гэддис. – А.Ф.) вскоре отошел от нее в пользу датировки июнем 1950 года»<sup>21</sup>.

Можно спорить с данным автором насчет того, действительно ли вопрос о датировке начала "холодной войны" является "основным" из нерешенных вопросов ее истории и насколько верно его собственное решение<sup>22</sup>. Пока заметим лишь, что констатированная в данном случае тенденция к иной периодизации, "растягивающей" этот процесс, а также и гипертрофирование этой тенденции, с исключением даже конца 40-х годов из периода "холодной войны", – все это весьма близко к тому, что мы видели в советской историографии<sup>23</sup>. А ведь это явно свидетельствует о принципиальном единстве (при всей специфике) историографических процессов на Востоке и на Западе, о существовании единого историографического

<sup>20</sup>Seabury P. The Rise and Decline of the Cold War. N.Y., 1967. P. 10.

<sup>21</sup>Harbutt F. Op. cit. P. 623.

<sup>22</sup>Думается, февраль–май 1946 г. – слишком короткий период для этого процесса, а "сверхточное" указание исходного момента – 12 февраля – несколько субъективно: возможно, что этот день был действительно рекордным по числу антисоветских, конфронтационных инициатив администрации США, но, видимо, дело здесь не в количестве, а кроме того, вообще вряд ли проблема времени возникновения "холодной войны" может быть сведена к какой-то определенной дате.

<sup>23</sup>Не прав английский историк Д. Уотт, когда, сравнивая трактовку начала "холодной войны" западными и советскими историками, усматривает принципиальное различие в том, что последние придерживаются более ранней ее датировки; сопоставляются, очевидно, старые советские подходы и новые западные. См.: Die westliche Sicherheitsgemeinschaft 1948–1950. Boppard am Rhein, 1988. S. 348.



процесса – тезис, который мы ранее выдвинули как основополагающий в замысле данного труда.

О том же свидетельствует и другая тенденция – подвижка от моделей "идеологической" и "силовой" к модели "реактивной механики" (действие – противодействие), характерная как для историков Запада, так и для их советских коллег, хотя справедливости ради стоит сказать, что последние все-таки еще отстают в соответствующем переоснащении концептуального аппарата<sup>24</sup>.

С известным основанием на советских историков можно распространить и ту критику, которая адресовывалась западным "ревизионистам" по поводу игнорирования ими факта "нелинейности" западной политики. Конечно, вовсе не обязательно соглашаться с тезисом, что госсекретарь США Бирнс в конце 1945 г. взял курс, противоположный курсу на "холодную войну", как это фактически утверждает Ф. Харбэтт, однако известная "заминка" была, а вот в чем тут было дело и почему это осталось только заминкой – здесь одна из лакун, которую западные историки, возможно, пытаются заполнить не лучшим образом, но советские вообще не спешат исследовать.

Наконец, в чем западные историки явно впереди, так это в попытках наметить основные критерии, отличающие состояние "холодной войны" от других "режимов" международной обстановки.

Приведем хотя бы перечень из шести таких критериев, принадлежащий западногерманскому историку Г.-П. Шварцу: "страх перед скорым началом третьей мировой войны", "отсутствие договоренностей о разоружении и контроле над вооружениями", "войны через представителей" (локальные конфликты. – А.Ф.), "неограниченная пропагандистская война", "ничем не сдерживаемые поставки оружия третьим странам", "полемика о будущем Германии"<sup>25</sup>. Конечно, это далеко не полная и не безупречная характеристика послевоенной конфронтации: в ней нет упоминания о "ядерном факторе", о блоках, требуют уточнения понятия полемики и пропагандистской войны. Однако она, на наш взгляд, выгодно отличается от той, например, что приведена в совместном докладе Института США и Канады АН СССР и Американского комитета по советско-американским отношениям (АКАСО), где фиксируются весьма похожие критерии, но поданы они в "безальтернативной" форме и под явным влиянием "силовой", "биполярной" модели<sup>26</sup>. Между тем и то, и другое воплощает уже вчерашний день науки.

---

<sup>24</sup>Западные историки не реже советских упоминают Фултон как "этапный момент" в развязывании конфронтации, но в отличие от советских всегда "в паре" с теми или иными близкими по времени словами и делами Сталина (см., например: *La Feber W. America, Russia and the Cold War, 1945–1971*. N.Y., 1972. P. 30–31). Отнюдь не со всеми конкретными "увязками" можно согласиться, но одно безусловно: "этапного момента" не получилось бы, если бы Черчиллю с Трумэном не "помог" Сталин.

<sup>25</sup>*Schwartz H.-P. Entspannungspause // Aus Politik und Zeitgeschichte*. Bonn, 1982. 12. Dez.

<sup>26</sup>См.: *Междунар. жизнь*. 1988. № 12. С. 146.

Отсюда важный вывод, касающийся методологии взаимодействия и сотрудничества ученых, принадлежащих к разным методологическим школам. Обмен идеями (а он – в основе такого общения) предполагает точное знание того, что именно полезно взять у партнера. Что касается конкретной проблематики "холодной войны", то уже наш краткий вступительный очерк показывает, что это полезное есть, но далеко не все, иначе бы сами западные историки не жаловались на "дефицит концептуальной мысли". Очевидно, интерес для нашей науки может представлять не то, что воплощает этот "дефицит", не устарелое, уходящее, а новое, воплощающее идею развития. А для этого и необходима "инвентаризация", о которой мы говорили выше, т.е. тщательное исследование имеющихся у наших западных коллег подходов, концепций, их взаимодействия, борьбы, результатов этой борьбы, сравнительной авторитетности и приоритетности этих подходов и концепций, их "плюсов" и "минусов" и т.д.

Наиболее плодотворно и многообещающе в этом смысле изучение историографических процессов, имеющих своим предметом события начального периода, предыстории и становления послевоенного конфронтационного комплекса. Как отмечает итальянский историк Б. Арчидиаконо, «происхождение "холодной войны" – это тот участок современной истории, где расхождения во мнениях зачастую выливаются в оживленную полемику и взаимные обвинения; к массе всего написанного о тех разногласиях, которые разделяли трех великих союзников с 1943 по 1947 г. (налицо, как видим, еще один вариант хронологии генезиса послевоенной конфронтации. – А.Ф.), приближается уже масса работ, где исследуется конфликт между историками, которые об этом пишут»<sup>27</sup>. Возможно, Б. Арчидиаконо несколько преувеличил темп, в котором история исторической науки в данном случае "нагоняет" саму эту науку, однако тенденция бесспорна: в самих трудах по истории "холодной войны" все больший удельный вес занимает историографический аспект: выражение либо согласия, либо несогласия с предшественниками, разбор их взглядов и т.д. Так что и с этой точки зрения подход к истории "холодной войны" через анализ историографической дискуссии вполне оправдан.

Марксистская наука уже располагает солидными традициями такого анализа. Тенденции и концепции западной историографии послевоенных отношений Восток–Запад раскрываются в специальных трудах<sup>28</sup>, посвященных этой теме, и в рамках обобщающих исследований<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup>Archidiacono B. L'Europe balkanique entre guerre et paix: relations interallies et partage en spheres // Relations Internationales. 1986. N 47. P. 348.

<sup>28</sup>Аннаков С.И. По чужих сторінках. Критичний огляд американської буржуазної історіографії походження "холодної війни" США проти СРСР. Київ, 1966; Егорова Н.И. Советско-американские отношения послевоенного периода в буржуазной историографии США. М., 1981; Степанова О.В. "Холодная война" – историческая ретроспектива. М., 1982; Марушкин Б.И. Американская историография "холодной войны": проблема альтернативы // Современная зарубежная немарксистская историография: Критический анализ. М., 1989. С. 419–434.

<sup>29</sup>Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 1968; 2-е изд. М., 1977; Салов В.И. Современная западногерманская буржуазная исто-

Мы ставим целью избежать некоторых типичных недостатков, которые, по нашему мнению, были характерны в прошлом для анализа зарубежной историографии. Первое, чего бы хотелось избежать, — это влияющая схема “союзник–противник”, при которой главным критерием оценки творчества того или иного зарубежного автора служило наличие или отсутствие у него “признаний”, т.е. комплиментарных суждений о советской политике и критических — о западной. Между тем “признания” сами по себе не делают работу объективной или хотя бы приближающейся к объективности (яркий пример — Э. Нольте<sup>30</sup>); и наоборот, даже весьма жестко “ортодоксальная” по основной своей направленности концепция вовсе не обязательно дисквалифицирует ее приверженца как ученого (пример — Г.П. Шварц, ярый сторонник идеологизированного, фаталистического подхода к истории “холодной войны”, но сумевший, как мы видели, дать едва ли не оптимальную из имеющихся понятийную ее характеристику). Картина вообще не соответствует “черно-белой” схеме; возвращаясь к приведенной нами выше выборке высказываний представителей разных течений западной исторической мысли, нетрудно констатировать: положим, прав Г. Алпровиц, отмечая инициативу Запада во враждебных акциях по отношению к советскому союзнику, но его датировка этой инициативы еще “рузвельтовским” периодом преждевременна, а представление о возникновении конфронтации как скороотеченного акта наивно. С другой стороны, Дж. Кеннан, очевидно, не прав, огульно возлагая единоличную ответственность за послевоенное ухудшение советско-американских отношений на СССР (и в этом отношении несправедлива его критика в адрес Г. Алпровица), не прав он и в том, что датирует начало процесса развязывания “холодной войны” еще более ранним временем, чем Г. Алпровиц (1944 г.), но он безусловно прав в том, что это был длительный, занявший несколько лет процесс, а мнение о его завершении в 1948 г. близко к тому, к которому ныне склоняется советская историография. Ориентировка только на Алпровица при игнорировании Кеннана безусловно обеднила бы наше знание.

Здесь имеет смысл в плане самокритики привести один личный пример. Автор этих строк, будучи еще совсем молодым историком, опубли-

---

риография. М., 1968; *Марушкин Б.И.* История и политика. М., 1969; *Реутов Г.Н.* Правда и вымысел о второй мировой войне. М., 1970; *Американская историография внешней политики США.* М., 1972; *Проблемы истории международных отношений и идеологическая борьба.* М., 1976; *Болховитинов Н.Н.* США: проблемы истории и современная историография. М., 1980; *Гаджиев К.С.* Эволюция основных течений американской буржуазной идеологии. М., 1982; *Ржешевский О.А.* Война и история. М., 1984; *Аппатов С.И., Коваль И.Н.* Критический анализ американской буржуазной историографии: Концепции восточноевропейской политики США. Киев; Одесса, 1984; *Тишков В.А.* История и историки в США. М., 1985; *Буржуазная историография второй мировой войны.* М., 1985; *Критика буржуазных фальсификаций истории социалистического содружества в Европе.* М., 1986; *Согрин В.В.* Критические направления немарксистской историографии США XX века. М., 1987; *Попова Е.И.* Внешняя политика США в американской политологии. М., 1987.

<sup>30</sup>См. подробнее: *Филитов А.М.* О некоторых новых направлениях буржуазной историографии советской внешней политики // *Ленинская политика мира и безопасности народов от XXV к XXVI съезду КПСС.* М., 1982. С. 352–353.

ковал рецензию на книгу П. Сибири о "холодной войне"<sup>31</sup>. В ней содержался, в частности, тот упрек, что рецензируемый автор выдвигает на передний план проблему содержания этого понятия, а это, мол, свидетельствует лишь о намерении отвлечь внимание читателя от проблемы ответственности. Весьма вероятно, что такой мотив у П. Сибири был, его книга весьма апологетична. Однако полемический задор помешал рецензенту по достоинству оценить реальную значимость проблемы, которую тогда поставил американский историк и которая до сих пор еще не привлекла должного внимания советских историков. Такой нигилизм, очевидно, не продуктивен.

Другое, чего хотелось бы избежать автору представляемой монографии, — так это превращения ее в сборник рецензий, хотя бы и на самые солидные работы самых солидных западных историков. Даже если предположить, что удалось бы достаточно полно учесть все "шедевры" и всех "лидеров" (задача вряд ли выполнимая и по объективным, и по субъективным причинам), при таком подходе за кадром осталось бы слишком многое и немаловажное. Концептуальные доминанты, отражающие существенные характеристики историографии, наиболее ярко порой проступают не в исследовательских монографиях специалистов, а либо в обобщающих трудах, либо даже в компилятивных, популяризаторских поделках. В то же время новые концепции и факты впервые появляются, как правило, не в монографиях, а в статьях, из которых, опять-таки как правило, вырастают монографии, но, хотя это и происходит в среднем в более короткие сроки, чем у нас, все же ориентация только на книжную продукцию обусловила бы отставание в анализе западной историографии минимум на два-три года. Наконец, очень ценным подспорьем при таком анализе являются рецензии, помещаемые в западной печати, к сожалению очень мало используемые советскими исследователями истории исторической науки. Автор считает наиболее верным ориентацию на "триаду" (книга—статья—рецензия), на столкновение концепций, а не на индивидуальные характеристики того или иного историка или того или иного труда. Такой подход имеет и свои негативные черты, но их пришлось принять как неизбежное зло.

Автор стремился избавиться еще от одного "флюса", образовавшегося в анализе западной литературы по истории "холодной войны", — "американоцентристского". В значительной мере этот анализ был традиционно сосредоточен на трудах историков США. Между тем приоритет в научной разработке темы принадлежит европейской исторической мысли (впрочем, здесь мы уже несколько предвосхищаем содержание основной части книги).

Наш замысел не включает в себя разбор особенностей различных национальных историографий (кроме как при характеристике процесса зарождения научного изучения данной проблемы). Ввиду сильного развития интегративных процессов на Западе имеет смысл, не игнорируя национальных особенностей, сосредоточиться на анализе современной западной историографии "холодной войны" как определенной целостной системы.

---

<sup>31</sup>Новая и новейшая история. 1969. № 2. С. 193—195.

И наконец, автор стремился преодолеть наметившийся отрыв историографического анализа от исторического – ситуацию, при которой мысли и аргументы западного автора попросту сопоставляются (в виде идентификации или противопоставления) с мыслями и аргументами советских авторов, рассматривающих аналогичные сюжеты, но при этом сам "аналитик" не обнаруживает ни вкуса к самостоятельному изучению первоисточников, ни желания выдвинуть собственную, ранее не встречавшуюся точку зрения. До недавнего времени советские историки, впрочем, и не располагали соответствующими возможностями. Ныне они появились. Их следует использовать. Насколько это удалось в данной монографии, судить читателю.

## ГЛАВА 1

# ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"

### ГЕНЕЗИС: ОТ "ОРТОДОКСИИ" К "РЕАЛИЗМУ"

Как мы уже имели возможность убедиться, один из самых спорных вопросов, относящихся к истории "холодной войны", сводится к тому, когда она началась. Пожалуй, не менее спорен и вопрос о том, когда началась ее историография.

Разумеется, и в данном случае ответ зависит от определения критериев, применяемых к тому понятию, временные рамки которого предполагается зафиксировать. Весьма узко эти рамки и весьма жестко соответствующие критерии выглядят в историографическом введении к вышедшему в 1985 г. в ФРГ сборнику, в котором отражены взгляды широкого спектра ведущих западных специалистов по "холодной войне": ее историческое исследование, по мнению автора этого введения Й.Фосепота, только-только начинается – в той мере и поскольку начался процесс рассекречивания архивных фондов, к ней относящихся; ранее имел место "политологический" подход, а еще ранее (до второй половины 60-х годов) вообще господствовала лишь чистой воды публицистика<sup>1</sup>.

Иной, в известной мере противоположной, точки зрения придерживается английский историк Д.Уотт. Открытие архивов, считает он, знаменует лишь начало очередной (четвертой по его нумерации) "фазы" исторического исследования, отнюдь не последней и далеко не оптимальной: историки в этой фазе, торопясь опередить конкурентов в освоении новых массивов документов, выдают работы-скороспелки, не особенно заботясь о глубине; это, как он ее характеризует, "экспресс"-историография, "историография нескафе". Всего Д.Уотт насчитывает шесть таких "фаз" и каждую из них (в том числе и те низшие, которые проникнуты апологетическими искажениями) считает естественным, закономерным и заслуживающим всяческого уважения компонентом развития науки.

---

<sup>1</sup>Kalter Krieg und Deutsche Frage / Hg. J.Foschepoth. Göttingen, 1985. S.13. Этот сборник основан на материалах научной конференции, проведенной в июне 1983 г. Немецким историческим институтом в Лондоне. В конференции и сборнике приняли участие такие "звезды" западногерманской историографии (ее либерального крыла), как В.Моммзен, Д.Гейер, В.Лот, М.Овереш, Й.Фосепот, Р.Штейнингер, а также видные представители исторической науки США, Великобритании и Франции: Дж.Гимбел, М.Белл, М.Макколи, В.Ротуэлл, Р.Пуадевен и др. Организаторы конференции, как отмечает автор предисловия к сборнику В.Моммзен, надеялись и на участие советских историков, но тщетно – штрих для характеристики совсем еще недавнего состояния научных связей Восток–Запад.

Своеобразным вызовом пуризму Й.Фошепота звучит тезис Уотта: "Мифы – это тоже часть единого историографического процесса"<sup>2</sup>.

Есть и средняя линия между крайностями слишком узкого и слишком широкого толкования понятия *историография*. Ее в свое время выразил Э.Нольте: водораздел между исторической пропагандой и исторической наукой проходит там, где начинается критика устоявшейся "официальной" позиции<sup>3</sup>. Этот критерий нам представляется наиболее приемлемым, хотя и требующим некоторого уточнения.

Уточнение это сводится к констатации того, что, очевидно, не всякое выступление против "официальной позиции" автоматически можно включить в рамки научно-исторического анализа. Конкретный пример: основная доктрина конфронтации, "доктрина сдерживания", впервые публично изложенная в известной статье Дж.Кеннана за подписью "X"<sup>4</sup>, почти немедленно нашла острого критика в лице У.Липпмана – корифея американской политической публицистики. Не будучи профессиональным историком, последний широко и эрудированно использовал исторический анализ; он же и ввел в широкое употребление термин "холодная война": именно под таким названием вышел к концу 1947 г. сборник его антикеннановских статей, ставший бестселлером<sup>5</sup>. Но можно ли считать книгу Липпмана началом историографии "холодной войны"? По нашему мнению, нет. Не в последнюю очередь вот почему: то, что У.Липпман определяет тогда, в 1947 г., как "холодную войну", он считал делом прошлого, уже историей, тогда как она еще и не началась! Другими словами, это был прогноз, причем неверный<sup>6</sup>, а никак не труд историка.

<sup>2</sup> Die westliche Sicherheitsgemeinschaft 1948–1950. Boppard am Rhein, 1988. S.343–345.

<sup>3</sup> Nolte E. Deutschland und der Kalte Krieg. München, 1974. S.33. Здесь опять-таки подтверждается та истина, о которой говорилось выше: сами по себе реакционные позиции того или иного автора (а в случае с Э.Нольте можно даже сказать – близкие к правому экстремизму) не оправдывают нигилистического отношения к любому его высказыванию по любому поводу. Некоторые историографические оценки данного историка содержат в себе немало интересного.

<sup>4</sup> "X". The Sources of Soviet Conduct // Foreign Affairs. 1947. July. Vol. 25, N 4. P.566–582; анализ его тогдашних взглядов см.: Попова Е.И. Внешняя политика США в американской политологии. М., 1987. С.61–64.

<sup>5</sup> Lippmann W. The Cold War: A Study in U.S. Foreign Policy. N.Y., 1947. С другой стороны, У.Липпман не был первооткрывателем этого термина. В том же, 1947 г., но еще до появления статьи Дж.Кеннана и соответственно книги У.Липпмана, словосочетание "холодная война" употребил в одном из своих публичных выступлений американский банкир и общественный деятель Б.Барух. А еще раньше, в 1945 г., оно появилось на страницах английского журнала "Трибюн", выйдя из-под пера Дж.Оруэлла. Самый же первый случай использования этого определения, согласно новейшим исследованиям, относится к совсем иной эпохе: его обнаружили в немецкой социал-демократической публицистике конца XIX в. – в комментарии Э.Бернштейна по поводу милитаристской политики тогдашних коронованных и некоронованных правителей Европы.

<sup>6</sup> Основанием для такого чрезмерно оптимистического прогноза послужила неверная оценка У.Липпманом "плана Маршалла": его он рассматривал как неконфронтационную альтернативу "доктрине Трумэна", тогда как на деле это было ее развитием. Впрочем, этот вопрос и ныне остается дискуссионным (мы еще к этому вернемся).

Если спор Липпмана с Кеннаном нельзя, таким образом, считать началом исторической дискуссии о "холодной войне", то, может быть, таким началом был другой спор – между "официальными" и "ревизионистскими" историками, разгоревшийся в США – и не только там – в конце 40-х – начале 50-х годов? Опять-таки ответ будет отрицательным.

Во-первых, спор этот касался в основном событий начала и хода второй мировой войны, послевоенные события рассматривались "по касательной". Во-вторых, что еще более важно, в той мере, в какой они рассматривались, речь шла о позициях, диктовавших исключительные политизированными попытками исказить историю, а не исследовать ее.

"Официальные" историки рисовали такую картину: пока была война и СССР нуждался в помощи Запада, он сдерживал либо маскировал свою "враждебность" и свой "экспансионизм", шел на заключение соглашений, главная суть которых заключалась в принятии "западных ценностей", т.е., по сути довоенного статус-кво; но как только война кончилась, СССР встал на путь отказа от них, что вызвало естественную реакцию со стороны западных держав. Получалось, что "холодная война" – естественная реакция на действия "нарушителя".

"Ревизионисты", наоборот, утверждали, что не было и не могло быть никаких изменений в политике СССР. Изменения были в поведении Запада. Во время войны его лидеры проявили прискорбную либо преступную слабость и наивность: они занимались "умиротворением" советского союзника путем "распродажи" интересов "свободного мира". Соглашения, заключенные с Советским Союзом, были абсолютно не выгодны Западу, а выгодны лишь "советским агрессорам", выдавая им на съедение

---

К счастью, неверным оказался и чрезмерно пессимистический прогноз Дж.Оруэлла, который рассматривал "холодную войну" как всего лишь прелюдию к тоталитарной войне тоталитарных государств – сценарий, который он воплотил в антиутопии "1984".

Трудно согласиться с мнением Н.И. Егоровой о том, что труды У.Липпмана 40-х годов "заложили основы" либерально-критического направления в американской историографии, противостоящего "официозному", которое представлял Дж.Кеннан. Скорее прав историк бывшей ГДР К.Дрекслер, когда рассматривает позиции Кеннана и Липпмана того времени как различные варианты обоснования и поддержки политики "холодной войны". В этом смысле спор между ними, поскольку он касался исторических сюжетов, не самых важных для них, был спором в рамках одного и того же, "ортодоксального" направления (хотя в плане политических рекомендаций У.Липпман был "гибче"). К середине 50-х годов оба они отошли от прежней ортодоксии, так что и в этом отношении противопоставлять их друг другу вряд ли обоснованно. См.: *Егорова Н.И.* Советско-американские отношения послевоенного периода в буржуазной историографии США. М., 1981. С.27, 33; *Drechsler K.* Die USA zwischen Antihitlerkoalition und Kaltem Krieg. В., 1986. S.292–293.

<sup>8</sup>Такова точка зрения К.Дрекслера. См.: *Drechsler K.* Op. cit. S. 330–331.

<sup>9</sup>См.: *Марушкин Б.И., Яковлев Н.Н.* Историки американской "новой школы" об участии США во второй мировой войне // *Вопр. истории.* 1956. №7; *Они же.* Вопрос о взаимоотношениях СССР и США в период второй мировой войны в американской буржуазной историографии // *Новая и новейшая история.* 1957. №3; *Марушкин Б.И.* История и политика. М., 1969. С. 359–361; *Ржешевский О.А.* Война и история. М., 1984. С. 51–53.



Восточную Европу, значительную часть Азии, а потенциально и весь мир! Лишь благодаря бдительности "твердых" антикоммунистов реализация этих соглашений была приостановлена, а затем постепенно удалось побудить западные правительства пойти по пути их демонтажа – разве только слишком робко. Другими словами, еще бы пораньше и побольше "холодной войны"!

Конструкции подобного рода – и "официальные", и "ревизионистские" – давно уже не пользуются кредитом доверия. "Довоенный мир не мог быть реставрирован: радикальные экономические и политические изменения были неизбежны. Рузвельт понимал эту ситуацию и в Ялте попытался подойти к ней с позиций реализма. Трумэн, к несчастью, нет", – пишет американский историк леволиберального толка А.Теохарис<sup>10</sup>, тем самым подводя к выводу, что стремление восстановить статус-кво было попыткой сдержать не "советский вызов", а сам ход истории и именно в этом кроются корни "холодной войны". Его коллега У.Лафйбер, имея в виду "официальный" тезис о советских "нарушениях" союзнических соглашений и тезис "ревизионистов" о "просоветском" характере последних, иронически замечает: "Критикам нелегко доказывать эти тезисы вместе, тем более что они не в состоянии сколь-нибудь убедительно доказать каждый из них в отдельности"<sup>11</sup>. Но в обстановке идеологической истерии эти тезисы "проходили" – даже невзирая на то, что попытки совместить их противоречили элементарной логике<sup>12</sup>.

Примитивности концепции соответствовала и примитивность источниковой базы. Дело даже не в том, что архивы в то время были герметически закрыты и для историков оставались, помимо текущей прессы, только "свидетельства очевидцев". Беда была в том, что "свидетели" уже заранее подгоняли свои показания либо под официальный, либо под "ревизионистский" тезис. Официальные лица, достаточно долго стоявшие у руля послевоенной политики, естественно, представляли первый вариант. Те же, кого политическая судьба рано отстранила от власти, и как раз из-за слишком поспешного и откровенного отмежевания от духа союзничества, – те, естественно, обыгрывали "ревизионистский" вариант.

Разработка первого варианта началась мемуарами Дж.Бирнса, занимавшего пост государственного секретаря США с июля 1945 по январь 1947 г., была продолжена в мемуарах долголетнего военно-политического советника Рузвельта и Трумэна адмирала У.Леги, американского военного губернатора в Германии (до 1949 г.) Л.Клея и самого президента Г.Трумэна<sup>13</sup>. "Вспоминали" они примерно одно и то же: вначале – свои

<sup>10</sup> *Theoharis A. The Yalta Myths: An Issue in U.S. Politics, 1945–1955. Columbia, 1970. P. 219.*

<sup>11</sup> *La Feber W. America, Russia and Cold War, 1945–1971. N.Y., 1972. P. 16.*

<sup>12</sup> См.: *Филитов А.М. Основные тенденции развития буржуазной историографии Потсдамского соглашения // Проблемы истории международных отношений и идеологическая борьба. М., 1976. С. 182–183.*

<sup>13</sup> *Byrnes J. Speaking Frankly. N.Y., 1947; Leahy W. I Was There. N.Y., 1950; Clay L. Decision in Germany. N.Y., 1950; Truman H. Memoirs. Year of Decisions. N.Y. 1955.*

"искренние" попытки поладить с русскими, затем – "разочарование" и, наконец, – буквально "выстраданный" период к "жесткости".

Самым ярким примером второго варианта были мемуары У.Черчилля, но крайней мере в той их части, где он повествовал о событиях последних месяцев войны и первых месяцев мира, преподнося себя в качестве Кассандры, тщетно предупреждавшей насчет "советской угрозы" и тщетно призывавшей к возможно более ранней и интенсивной конфронтации<sup>14</sup>.

Любопытно сравнить высказывания всех этих деятелей в их печатных трудах и публичных выступлениях с теми, что зафиксированы в документах и материалах, не предназначавшихся для оглашения и лишь ныне становящихся достоянием общественности. Тот же Черчилль в доверительной беседе с Иденом признавал, что в Европе никто не хочет возвращения к прошлому, что, следовательно, страшившие его изменения вовсе не плод советских "интриг" и, напротив, единственная надежда на то, чтобы удержать процесс под контролем, не в конфронтации, а в ... *соглашении* со Сталиным<sup>15</sup>. Или что касается Л.Клея: в мемуарах он писал о советской "нелояльности" в выполнении потсдамских решений по Германии, а в своих секретных донесениях руководству – прямо обратное; он уверял читателей, что раньше, чем кто-либо другой, решил применить "репрессии" по отношению к советскому союзнику, приостановив по собственной инициативе репарационные поставки ему из американской зоны еще в мае 1946 г., и затем уже никогда не отклонялся от этой "жесткой" линии, а ныне выясняется, что майская акция 1946 г. последовала по телефонному звонку от Дж.Бирнса, а Л.Клей был лишь исполнителем, причем и тогда, и впоследствии он не раз протестовал против неуступчивости и негибкости позиции Запада в германском вопросе<sup>16</sup>.

В данных случаях документ или незаинтересованное свидетельство позволяют обнаружить субъективные искажения, но в некоторых случаях конфликтующие версии мемуаристов в отсутствие аутентичных доказательств создавали ситуации своеобразных исторических загадок, не разгаданных до сих пор. Например, в мемуарах Трумэна подробно описана та "выволочка", которую он-де задал Бирнсу в начале января

<sup>14</sup>Как известно, деятельность У.Черчилля в качестве главы английской делегации на Потсдамской конференции была, по воле английских избирателей прервана и он на долгое время отправился на скамью оппозиции. И вот в мемуарах Черчилль взял "реванш" заявлением, что, если бы не этот акт неблагодарности со стороны народа, он в Потсдаме ни за что не пошел бы на тот компромисс, на который пошел преемник, а скорее устроил бы там "скандал". Как следовало понимать, "холодная война", может быть, началась бы и раньше, но зато была бы выиграна в стиле "блицкрига" (*Churchill W. The Second World War. Vol. 6. Triumph and Tragedy. L., 1953. P. 566*). Позднее по этому поводу даже в кругах консервативных английских историков выражались недвусмысленно: "Здорово сказано, но это не история" (*Cecil R. Potsdam and Its Legends // International Affairs. L., 1970. Vol. 46, N 3. P.456*).

<sup>15</sup>*Gilbert M. Winston S. Churchill. Vol. 7. Road to Victory, 1941–1945. L., 1986. P.1000.*

<sup>16</sup>Ср.: *Gimbel J. The American Occupation of Germany. Stanford, 1968; Kindleberger Ch. Marshall Plan Days. Boston, 1987.*

1946 г. за якобы слишком большие уступки, которые тот допустил на переговорах с СССР, и вообще за "умиротворенчество". Во многих исторических трудах воспроизводится трумэновская фраза "Я устал нянчиться с русскими", которую, конечно, в данном контексте следует понимать как "Я, президент, устал от того, что Вы, госсекретарь, нянчитесь с русскими"<sup>17</sup>. Бирнс в мемуарах, вышедших семью годами раньше, ничего об этом эпизоде не сообщил. Фигура умолчания? Не вполне. В 1958 г., через три года после откровений Трумэна, Бирнс публикует вторую версию своих мемуаров и в них начисто отрицает факт получения подобного выговора от президента<sup>18</sup>. Кто же прав? Историки до сих пор разводят руками; общий знаменатель просматривается в предположении, что Трумэн, вероятно, готовясь к беседе с Бирнсом, набросал некоторые мысли на бумаге... и вставил текст этой записки в мемуары в виде прямой речи.

Эти несколько примеров позволяют проследить еще одну любопытную закономерность: чем позже в условиях нарастания "холодной войны" появлялись мемуары, тем сильнее в них проступало желание автора разыскать вокруг себя (либо среди подчиненных, либо среди начальников, либо среди других западных политиков<sup>19</sup>) "капитулянтов" и "мягкотелых" и, наоборот, отвести от себя подобные подозрения. Тенденция, следовательно, шла в направлении все большего превращения мемуаристики в серию оговоров и даже самооговоров<sup>20</sup>. Соответственно, в исторических трудах, базировавшихся на таких источниках, усиливались тенденции к "ревизионизму", который приобретал уже черты "полицейской историографии"<sup>21</sup>. Естественно, что это были не то время и не та обстановка, в которых могла родиться научная историография "холодной войны". Если таким началом нельзя считать ту критику "слева", которую У.Липпман направлял против Дж.Кеннана, тем более нельзя считать даже

<sup>17</sup> Truman H. Op. cit. Vol. 1. P. 549.

<sup>18</sup> Byrnes J. All in One Lifetime. N.Y., 1958. P. 420.

<sup>19</sup> Мемуары американских политиков и дипломатов почти всегда имели определенный антианглийский акцент (помимо, естественно, антисоветского). Но вот что интересно: в мемуарах У.Леги, вышедших в 1950 г., англичане подвергались критике скорее за чрезмерно жесткие позиции на переговорах с СССР, а в мемуарах Р.Мэрфи, вышедших в 1964 г., напротив, за излишнюю "мягкость", причем в обоих случаях говорилось об одних и тех же лицах и об одном и том же эпизоде — поведении новой английской делегации после отставки Черчилля на Потсдамской конференции. См.: Leahy W. Op. cit. P. 420; Murphy R. Diplomat among the Warriors. N.Y., 1964. P. 275—276.

<sup>20</sup> В конкретной обстановке первых послевоенных лет никто не мог позволить себе при всем желании столь "ястребиных" позиций, как это стало изображаться задним числом, а с другой стороны, "зигзаги" в проведении курса на конфронтацию вовсе не свидетельствовали о "голубиной" сущности тех, кто вынужден был такие маневры осуществлять. История в мемуарах искусственно "упрощалась". Не эта ли упрощенная трактовка послужила основой для изображения генезиса "холодной войны" как равномерного, однонаправленного и скоротечного процесса.

<sup>21</sup> Так не слишком почитительно, но справедливо охарактеризовал ультраправый "ревизионизм" Г.Фейс — американский историк далеко не радикальной ориентации. См.: Марушкин Б.И. История и политика. М., 1969. С.361.

**приступом к нему ту разносную критику справа, которую воплощал в себе "ревизионизм" конца 40-х – начала 50-х годов.**

Но критика критике рознь. Видимо, наиболее точный критерий, отличающий историографию в подлинном смысле слова от маскирующейся под нее апологетики, сводится к тому, насколько отмежевание от официальной линии ведет к отказу от идей "игры с нулевой суммой", "образов врага", от сценария "хорошие парни против плохих парней" (этот образ употребил недавно Дж. Гэддис для характеристики того, как обе стороны, вовлеченные в "холодную войну", и политики, и историки, определяли свои взаимоотношения)<sup>22</sup>.

В данном случае Дж. Гэддис вполне разумно фиксирует взаимосвязь между отмежеванием от этой примитивной схемы и окончанием – в наше время – "холодной войны". Но это уже конец длительного процесса. Где же было его начало? Вполне логично предположить: там и тогда, где и когда обнаружались первые признаки отхода от "ортодоксии" в политике. Проблема эта малоисследованная; из западных авторов над ней серьезно размышлял, пожалуй, только все тот же Э. Нольте. Вот каковы плоды его размышлений: что касается первых сдвигов в сфере политики, то это Великобритания, год 1951-й; именно тогда «Уинстон Черчилль, который согласно распространенному мнению стал после произнесения речи в Фултоне 5 марта 1946 г. крестным отцом "холодной войны", поставил требование ее окончания в центр избирательной кампании, которая вновь привела его к власти»<sup>23</sup>. Что же касается соответствующих сдвигов в историографии, то это тоже Великобритания, год 1955-й: именно тогда там появилась первая, по мысли Нольте, "с претензией на научность" книга по истории "холодной войны"; первый ее историк – англичанин К. Ингрэм<sup>24</sup>.

На наш взгляд, Э. Нольте в данном случае был на правильном пути, хотя он и не объяснил суть "парадокса Черчилля" и слишком далеко унес во времени феномены политики и историографии. Попытаемся дать свою, корректирующую трактовку.

Если поискать в цепи исторических событий послевоенного мира первое звено, откуда пошел процесс "переоценки ценностей" политической и историографической "ортодоксии", то, как представляется, речь пойдет об инциденте, начавшемся 30 ноября 1950 г., в разгар войны в Корее, заявлением президента США Трумэна о том, что "активно рассматривается" вопрос о применении там атомного оружия. Заявление было сделано без каких либо консультаций с союзниками по НАТО, и это вызвало первый кризис в их отношениях с США. Особенно острой была реакция в Великобритании: там имелась самая высокая концентрация баз стратегической авиации США в Европе и в случае развязывания атомной войны именно ее территория стала бы первой мишенью ответного удара.

Тогдашний госсекретарь США Д. Ачесон, свидетель, если не организа-

<sup>22</sup> Gaddis J. Cold War Endings and Cold War Origins: Some Preliminary Historiographical Observations // Seminar on the Origins of the Cold War. Moscow, 1990. June 25–28. P. 1.

<sup>23</sup> Nolte E. Op. cit. S. 31.

<sup>24</sup> Ibid. S. 33. См. также: Ingram K. History of the Cold War. L., 1955.

тор этого кризиса, так описывает бурю, разразившуюся впервые за много лет в британском парламенте: "Крики об опасности раздавались со всех сторон – наряду с требованиями, что прежде, чем жребий будет брошен, англичане должны получить возможность участвовать в решении своей судьбы". Премьер-министр К.Эттли заявил, что он немедленно вылетает в Вашингтон для получения разъяснений от американского президента. В ходе визита он столкнулся с серией инцидентов и "шуток", которые недвусмысленно говорили о том, что английского союзника рассматривают за океаном как простого вассала, с которым можно поступать как заблагорассудится – все стерпит!<sup>25</sup>

Урок не прошел даром: английские руководители стали все чаще задумываться о последствиях, к которым могли привести бездумная лояльность в отношении США и "твердый" курс на форсирование конфронтации. Наиболее опытные из них, Черчилль в их числе, почувствовали, что на идее деэскалации конфликта можно нажать политический капитал. Именно в этом разгадка "парадокса Черчилля", и именно этим можно объяснить тот факт, что именно он, герой Фултона, в 1953 г., первым после смерти Сталина выступил за переговоры на высшем уровне, что затем и привело к встрече в Женеве в 1955 г.

Тогда же, в 1953 г. (а не в 1955 г!), вышла и первая книга, которую, по нашему мнению, можно считать открывающей в подлинном смысле историографию "холодной войны". Имеется в виду монография У.Макнейла "Америка, Британия и Россия: их сотрудничество и конфликт в 1941–1946 гг."<sup>26</sup>.

Кандидатура У.Макнейла на роль первого историка "холодной войны" может показаться крайне спорной и противоречащей ранее выдвинутому нами тезису о том, что эта историография возникла в рамках европейской научной мысли: Макнейл – американец, профессор Чикагского университета, а данная его работа, хотя и упоминается очень часто, обычно фигурирует в рубрике "ортодоксального" направления в американской историографии, т.е. должна вроде быть отнесена к донаучному периоду в изучении послевоенных международных отношений.

Однако не все так просто. У.Макнейл писал эту монографию не сам по себе, а по контракту с Лондонским королевским институтом международных отношений (Чатам-хауз) в рамках престижной серии "Обзоров международных дел", начатой под эгидой А.Тойнби еще в 20-е годы и ставшей своего рода символом именно *английской* историографии, чисто *английского* видения мира<sup>27</sup>. Контракт этот начался как раз в конце 1950 г., когда имел место упомянутый нами кризис в англо-американских отношениях. Когда контракт был завершен и появилась книга, ей, разумеется, была предпослана стандартная оговорка, что высказанные в ней идеи отражают личные взгляды автора, а отнюдь не мнение инсти-

<sup>25</sup> Acheson D. Present at the Creation. N.Y., 1970. P. 618–619.

<sup>26</sup> McNeill W.H. America, Britain and Russia: Their Cooperation and Conflict, 1941–1946. Oxford, 1953.

<sup>27</sup> Издание этой серии было прервано войной и возобновлено обзором за 1947–1948 гг. См.: Calvocoressi P. Survey of International Affairs 1947–1948. L., 1952.

туда. Но в данном случае сомнение особенно уместно. Дело не только в известной истине "кто платит, тот и заказывает музыку". Сам автор отметил по крайней мере два момента, которые говорят об особо тесной связи между содержанием его труда и линией Чатам-хауза.

Первый касался источниковой базы. Доступа к архивам Макнейл не имел, писал на основе материалов прессы и появившихся к тому времени мемуаров, однако же, по его словам, перепроверенных и скорректированных в результате бесед с некими анонимными "видными фигурами политической и дипломатической жизни Великобритании", бесед, которые организовал для него Чатам-хауз. Конечно, отсюда вовсе не следовало, что речь шла о диктовке или подсказке, однако определенный настрой это не могло не создавать.

Сюда добавлялся и второй момент – никак не менее важный, который касался идейной стороны труда. И здесь автор похвально откровенен. "Всякий, кто умеет читать между строк, – писал он, – заметит мое интеллектуальное заимствование у А.Тойнби, научного директора Чатам-хауза"<sup>28</sup>.

Здесь, видимо, имеет смысл сделать небольшое отступление, чтобы хотя бы вкратце раскрыть то, что Макнейл выразил в понятии "интеллектуальное заимствование". Взгляды корифея британской и мировой историографии А.Тойнби на проблемы современных международных отношений, как и международных отношений вообще, заслуживают, конечно, специального подробного анализа (в советской историографии его нет, единственный известный нам американский труд на эту тему представляет собой простой нарратив<sup>29</sup>), однако такая задача превышает рамки нашей книги. Ограничимся поэтому самыми общими моментами.

В основе общеисторической концепции А.Тойнби лежала, как известно, идея "вызова – ответа". Она в принципе годилась и для стандартной схемы объяснения причин "холодной войны": "коммунистическая агрессия" (вызов) – "оборона свободного мира" (ответ). Такую терминологию использовал Д.Ачесон, сравнивая ситуацию в Европе после второй мировой войны с периодом, когда "ислам бросил угрожающий вызов христианской цивилизации".

Между тем концепция Тойнби была сложнее и допускала отнюдь не только такую интерпретацию. Дело в том, что у него "вызов" не всегда "агрессия", не всегда даже нечто само по себе порочное, так же как и "ответ" не обязательно воплощение справедливости и мудрости. Лишь комбинация "плохого" вызова с "плохим" ответом ведет к "плохим" последствиям, и напротив, при адекватном ответе "вызов", даже если он носит разрушительный, неконструктивный характер, может утратить эти отрицательные качества, может наступить плодотворный "синтез". Словом, решающую роль в истории Тойнби отводил как раз "ответу", а не "вызову".

Здесь-то и содержалось рациональное зерно; корни послевоенных бед следовало искать не только и не столько в советском "вызове", сколько

<sup>28</sup> McNeill W.H. Op. cit. P. IX.

<sup>29</sup> Mason H. Toynbee's Approach to World Politics. New Orleans, 1955.

в западном "ответе", причем отвечать-то следовало не на вопросы о "силе" или "слабости" последнего, а на вопросы: была ли западная позиция вообще адекватна? Оказывала ли она сдерживающее или, наоборот, провоцирующее воздействие? Не было ли альтернативных, более конструктивных подходов?

Собственные высказывания Тойнби по конкретным проблемам послевоенного мира, содержащихся в 9-м томе его "Науки истории", вышедшем в 1954 г., весьма противоречивы, однако среди них есть и такие, которые абсолютно однозначно свидетельствуют о неприятии им "идеологии" НАТО: «В системе союзов, которую возглавляют Соединенные Штаты, имеется конституционный порок... В ней имеет значение только американский голос... Проблемы, важные для всех, решаются одними Соединенными Штатами. Другие нации не имеют институционных средств участвовать в процессе выработки решений, и для неамериканского Запада реальна угроза "уничтожения без согласия"»<sup>30</sup>. По сути – это то же самое, что отразилось в реакции английского парламента на провокационное заявление президента США о возможности применения атомной бомбы в Корее, а затем и в действиях нового правительства У. Черчилля: определенное отмежевание от крайнего авантюризма, который был тогда характерен для политики США. Это несомненный признак того, что известное "образумление" захватывало и сферу истории и историков.

Впоследствии эти тенденции в творчестве Тойнби получили дальнейшее развитие. К концу творческого пути он пришел к весьма неприятным оценкам американского империализма, отнеся США (наряду с Израилем) к числу "самых опасных для мира государств Земли". Но и в 50-е годы апологеты американского гегемонизма видели в А. Тойнби своего врага и не скрывали этого. Одним из мотивов расстроившегося в начале 50-х годов сотрудничества между Чатам-хаузом и американским его аналогом – Советом по международным отношениям (СМО) было как раз нежелание руководителей последнего иметь дело с А. Тойнби, о котором во внутренней переписке они отзывались не иначе как о личности "с незаслуженной репутацией великого мыслителя"<sup>31</sup>.

Вернемся к У. Макнейлу. Как же отразилось в написанной им книге все то, о чем мы говорили в отступлении, все то, что сделало его идейного ментора "персоной нон грата" для американских международныхников, шедших по пути прогрессирующей иррациональности?

Во-первых, У. Макнейл впервые сделал то, что в принципе должен был делать любой историк, но упорно не делали предшествующие авторы, писавшие о возникновении "холодной войны": он попытался заняться *критикой источников*. Результат получился смешанный. И все же нельзя не заметить, что автор ведет критику на "два фронта" – и против фантастических заявлений "ревизионистов", и против непоследовательностей, умолчаний и искажений "официальных" историков и мемуаристов.

Во-вторых, в работе Макнейла образ Советского Союза весьма далек от

<sup>30</sup> *Toynbee A. Study of History. L., 1954. Vol. 9. P. 518.*

<sup>31</sup> *Schulzinger R. The Wise Men of Foreign Affairs: the History of the Council on Foreign Relations. N.Y., 1984. P. 129.*

того образа "империи зла", если пользоваться терминологией, которая тогда была стандартной. Дело не только в том, что автор недвусмысленно признает героические усилия и великие достижения советского народа во время Великой Отечественной войны и тот факт, что "русская промышленность оказалась способной обеспечить Красную Армию вооружением, в котором она нуждалась"<sup>32</sup> (и по тону, и по сути эти суждения отличались от тезиса, будто СССР во время войны отчаянно нуждался в американской помощи и лишь она принесла ему победу, за что он-де заплатил черной неблагодарностью и неисполнением взятых обязательств). И не в том только, что автор посчитал своим долгом высказать по меньшей мере сомнение в отношении особо одиозных выдумок о советской политике – будто СССР планировал сепаратный мир с немцами или, зная заранее о немецких планах наступления в Арденнах, утаил это от союзников, рассчитывая использовать их ослабление, чтобы добиться уступок в Ялте<sup>33</sup>. В работе Макнейла раскритикован тот подход, согласно которому в послевоенной истории стран Восточной Европы не было ничего, кроме советского "экспорта революции": "Красная Армия вовсе не привезла революцию в своем обозе" (о ситуации в освобожденной Румынии)<sup>34</sup>; "развитие событий отражало внутривосточные политические импульсы, а не было следствием каких-либо директив, присланных болгарским коммунистам из Москвы"<sup>35</sup>.

Наконец, в-третьих, характеристика собственного лагеря далека от "официозной" апологетики, но и критика совсем не та, что у правых экстремистов. Если последние всюду бичевали Рузвельта за "аморальность", заключающуюся в том, что он-де "бросил на произвол судьбы" довоенную "элиту" в восточноевропейских странах, то Макнейл, наоборот, подвергает критике излишний "морализм", выразившийся, по его мнению, в никому не нужной поддержке этих утративших понятие о реальном мире политиков (для характеристики действий польских эмигрантских лидеров он не находит других слов, кроме как "национализм и глупость"<sup>36</sup>). Можно возразить Макнейлу, что в поддержке этих деятелей не было ни грана "морализма", так же как в осуждаемой им западной риторике – ни грана "демократизма", но, в конце концов, дело не в терминологии. Основная мысль ясна и не может не вызвать одобрения: он против, говоря современным языком, переноса идеологических противоречий в сферу межгосударственных отношений, против иллюзорных представлений о возможности насаждения во всем мире западных "ценностей", особенно американских. Очень осторожно, почти незаметно выражает он сомнение в идее коренной и всегдашней противоположности и несовместимости интересов Востока и Запада – идее, основной в "ортодоксии"<sup>37</sup>. Наконец, примечательна авторская трактовка начала

<sup>32</sup>McNeill W.H. Op. cit. P. 441.

<sup>33</sup>Ibid. P. 412, 531.

<sup>34</sup>Ibid. P. 472.

<sup>35</sup>Ibid. P. 469.

<sup>36</sup>Ibid. P. 421.

<sup>37</sup>Ibid. P. 484.



послевоенной конфронтации: «доктрина Трумэна, план Маршалла, наступление китайских коммунистов в Азии – вот что превратило в "холодную войну" ранее имевшие место спорадические столкновения политических курсов»<sup>38</sup>. О советской "инициативе" здесь речи нет, идея же о том, что наличие различных, даже противоположных и "сталкивающихся", политических установок еще не равнозначно понятию "холодной войны", содержит в себе явный намек, что в послевоенной ситуации имелись, но не были использованы неконфронтационные альтернативы.

Правда, в монографии У. Макнейла слишком многое и так осталось на уровне намеков... Причины порочной неадекватности западной политики в отношении СССР остались нераскрытыми. С одной стороны, автор критикует "иррациональность" общественного мнения на Западе, будто бы "сужавшего" набор альтернатив для политиков, – здесь проявилось весьма скептическое отношение к демократии вообще (это же характерно и для общей исторической концепции А. Тойнби). С другой – справедливо отмечаются антисоветские предубеждения, характерные для представителей внешнеполитической элиты Запада, но были ли соответствующие позиции и акции следствием "невежества или злой воли" – это у Макнейла фигурирует в виде вопроса, который он оставляет своим последователям и на который сам предпочитает не отвечать<sup>39</sup>.

Как видим, альтернативность концепции монографии У. Макнейла нельзя переоценивать. Но нельзя и недооценивать – особенно в сравнении с тем, что ей предшествовало и соседствовало. В США, напомним, в то время все исчерпывалось бесплодным спором "официальных" и "праворевизионистских" историков, отражавшим, по сути, разные подходы к тому, как вести политику "холодной войны". В Европе, напротив, уже задумывались о том, *стоило ли* эту политику вообще вести, чем ее заменить. Отражением этих первых сомнений и поисков как раз и стала концепция Макнейла (или Макнейла–Тойнби, как ее по справедливости можно назвать)<sup>40</sup>.

\* \* \*

Разумеется, процесс формирования новой, неконфронтационной идеологии не ограничивается только Великобританией. Франция не в меньшей степени ощущала на себе последствия бездумного равнения на американского гегемона, и соответствующая реакция не заставила себя ждать. Воплотивший впервые эту реакцию эксперимент "мендесизма" оказался сравнительно скоротечным<sup>41</sup>, однако вскоре те же тенденции не

<sup>38</sup>Ibid. P. 562.

<sup>39</sup>Ibid. P. 699.

<sup>40</sup>Такая ее характеристика (признание ее "двойного авторства") может, на наш взгляд, снять либо уменьшить сомнения относительно правомерности включения ее в рамки европейской, британской (но никак не тогдашней американской) историографии. Впрочем, национальная атрибуция творчества того или иного автора или тем более группы авторов – ныне очень сложная проблема.

<sup>41</sup>См.: Наринский М.М. Борьба партий и классов во Франции, 1944–1958. М., 1983 С. 200–227.

менее ярко, хотя и весьма противоречиво проявились в феномене голлизма. И так же как и в Великобритании, сдвигам в политическом менталитете сопутствовали сдвиги в историческом сознании – естественно, в национально-специфичной форме.

Для умов и сердец французов, переживших на протяжении одного столетия три немецких вторжения, самым, пожалуй, чувствительным аспектом "холодной войны" был германский. В этом смысле проблема перевооружения ФРГ, поставленная логикой конфронтации Востока и Запада, несла в себе для них не меньший эмоциональный заряд, чем для англичан проблема размещения иностранных военных баз и связанная с ней угроза стать объектом ядерного контрудара. Понятно, что и историография "холодной войны" возникла во Франции в тесной увязке с историографией послевоенной германской проблемы.

Роль, аналогичная той, которую в Великобритании сыграла монография У. Макнейла, во Франции выпала на долю серии работ по германской тематике, написанных в 50-е – начале 60-х годов видным международником А. Гроссером. Уже в первой книге этой серии (она была опубликована тогда же, когда и книга У. Макнейла, в 1953 г.) французский историк нарушил немало официальных табу. Он подверг серьезной критике то, что пропагандой преподносилось как чуть ли не "расцвет демократии" в Западной Германии<sup>42</sup>. Он выступил против коварного довода адвокатов западногерманского перевооружения, утверждавших будто оно, будучи осуществлено под лозунгами антикоммунизма и антисоветизма, будет способствовать дальнейшей "либерализации" ФРГ и предотвратит появление реваншистских устремлений. И ныне актуальным остается предупреждение А. Гроссера: "Политика военизированного антикоммунизма стимулирует национализм и ирредентизм в Германии"<sup>43</sup>. Наконец, А. Гроссер едва ли не первым из западных историков констатировал причинно-следственную связь между "холодной войной" во внешнеполитической сфере и консервативными тенденциями во внутривнутриполитической жизни вовлеченных в нее государств – притом в откровенно осуждающем тоне: "Мы сожалеем о реставрации, которая происходит в Германии, но можно ли, по совести говоря, считать ее единственной западной страной, познавшей ретроградную эволюцию?"<sup>44</sup> А в книге, изданной двумя годами позже в Англии, он формулирует ту же мысль еще точнее – в плане характеристики и явлений, и временных рамок: «Мы сожалеем о том, что в

<sup>42</sup>При этом А. Гроссер опирался как на личный опыт (в первые послевоенные годы он был одним из руководителей французской пропаганды на Германию), так и на разоблачительные материалы, преданные гласности прогрессивно настроенными – и за это довольно быстро уволенными – сотрудниками американской военной администрации. В обстановке, когда маккартизм имел отзвуки и по эту сторону Атлантики, даже простое упоминание этих "еретиков" было актом известного гражданского мужества. Уважительное отношение к их трудам А. Гроссер сохранил и позднее – например, в монографии написанной им в 1970 г., где он уже отошел от прежних радикальных позиций. См.: *Grosser A. L'Allemagne de l'Occident. P., 1953; Idem. Deutschlandbilanz: Geschichte Deutschlands seit 1945. München, 1970. S. 544.*

<sup>43</sup>*Grosser A. L'Allemagne de l'Occident. P. 309.*

<sup>44</sup>*Ibid. P. 305.*

Германии торжествует *реакция*, но можно ли, по совести говоря, считать, что другие страны не идут по пути реакции *начиная с 1947–1948 гг.* (выделено – А.Ф.)»<sup>45</sup>. Заметим, кстати, что тут же он одним из первых употребляет выражение “разрядка между Востоком и Западом” и дает хотя и осторожный, но оптимистический прогноз о том, что она “представляется возможной”<sup>46</sup>.

Такой актуализированный, даже “политизированный” подход может вызвать вопрос: не размывает ли это грань между историком и политическим публицистом – тем более, что в трудах А. Гроссера практически отсутствует дистанция между фактом и интерпретацией (о Парижских соглашениях, ратифицированных в конце 1954 г., он пишет в книге, опубликованной уже в следующем году!), отсутствуют и ссылки на какие-либо новые, ранее неизвестные материалы (по части доступа исследователей к архивам Франция традиционно была позади других западных стран)? Вопрос законный, но ответ на него следует дать однозначно отрицательный. Тогдашние труды А. Гроссера – это труды настоящего добросовестного историка-исследователя. Их разоблачительный пафос покоился на солидном фундаменте научной критики источников.

Интересный факт: задолго до того, как де Голль бросил вызов президенту США как политику, А. Гроссер бросил его экс-президенту Трумэну как мемуаристу. Разоблачительный эффект, конечно, не ограничивался сферой “чистой науки”: политика, в основе которой, как показал французский историк, лежала явная ложь, вовсе не ушла в прошлое с уходом президента, который эту политику начал. Это объясняет ту нервозность, с которой против А. Гроссера – открыто или замаскированно – ополчились американские официальные историки: речь шла не просто о защите чести их бывшего президента, а о спасении существенного элемента внешне-политического “имиджа” США. Именно они, а не А. Гроссер проявили здесь политическую “ангажированность”, ведущую к искажению истории ради интересов политики<sup>47</sup>.

Как раз вкус А. Гроссера к “злобе дня” способствовал, а не мешал более объективному историческому анализу. Он способствовал и “самокоррекции”. Характерный пример: А. Гроссер, критикуя легенды американской пропаганды, сам далеко не всегда был свободен от их влияния. В частности, он в значительной степени воспринял шедший еще от Бирнса фальшивый тезис, согласно которому в Потсдаме якобы не было принято окончательного решения о западной границе Польши. Но вот следует яркое эпохальное для политической жизни Франции событие – оконча-

<sup>45</sup>Grosser A. *Western Germany: From Defeat to Rearmament*. L., 1955. P. 241.

<sup>46</sup>Ibid. P. 243.

<sup>47</sup>Snell J.L. *War-Time Origins of the West-East Dilemma over Germany*. New Orleans, 1959. P. 200. Контраргументация в защиту Трумэна носила довольно беспомощный характер. Позднее опубликованные американские документы, относящиеся к Потсдамской конференции (а именно о ее событиях шла речь в самоополгии Трумэна), подтвердили правоту А. Гроссера. См.: Филитов А.М. Антигитлеровская коалиция и проблема будущего Германии // Ежегодник германской истории, 1985. М., 1986. С. 56.

ние войны в Алжире. И А. Гроссер тут же в изданную на следующий же год новую книгу вводит актуальную параллель: называть Вроцлав "немецким" городом — это то же самое, что Алжир или Оран — французским!<sup>48</sup>

С другой стороны, нельзя не отметить, что степень пересмотра у того же А. Гроссера антисоветской догматики гораздо ниже. В этом аспекте и лучшие его работы значительно уступают даже уровню того ограниченно-го реализма, который свойствен, положим, У. Макнейлу.

Конечно, фигура А. Гроссера не определяла лицо французской официальной историографии. Его вес в ней, видимо, нельзя сравнивать, положим, с весом того же А. Тойнби в английской. Но если говорить о характерных тенденциях именно французского подхода к оценке послевоенных событий, то позиция (вернее, позиции) А. Гроссера отразила как раз такие тенденции и с ними — французский вариант идеологии либерального "европеизма"<sup>49</sup>.

Этот идейный феномен означал отрицание догмата о непогрешимости политики "военизированного антикоммунизма", означал попытку найти некую приемлемую альтернативу полной инкорпорации Западной Европы в "пакс американа", альтернативу не приносившей дивидендов политике "холодной войны".

\* \* \*

В США процесс осознания реальностей набрал обороты позднее. Соответственно запоздали с поисками реалистических альтернатив и американские историки. Но и там стала обнаруживаться тенденция к отходу от догматики, от бесплодных позиций и бесплодного спора "официальных" и "ревизионистских" историков.

В советской историографии уже отмечалась временная грань этого поворота — рубеж 50-х и 60-х годов<sup>50</sup>, указывалось в этой связи на характерную эволюцию в творчестве такого видного "официального" (и даже "придворного") историка, как Г. Фейс<sup>51</sup>. Его работа о Потсдамской конференции, опубликованная в 1960 г. и получившая тогда Пулицеровскую премию, стала наиболее ярким образцом американского варианта поисков нового, "сбалансированного" подхода к проблеме генезиса "холодной войны". По Г. Фейсу, в позиции как западных держав, так и СССР на Потсдамской конференции были свои слабые и сильные стороны. Делались взаимные уступки, но их результатом стало принятие в качестве общих как раз "неправильных" точек зрения каждой из сторон. Общая согласованная позиция стала "хуже" той, которой придержива-

<sup>48</sup> Grosser A. La Republique Federale d'Allemagne. P., 1963. P. 120—121.

<sup>49</sup> Напротив, труды такого историка и политолога, как Р. Арон, активно выдвигавшего на роль "оригинального" и "выдающегося" мыслителя, по сути, представляют собой довольно стандартное изложение проамериканской "ортодоксии". Очень ярко они отразились в его труде, посвященном внешней политике США. См.: Aron R. La republique imperiale. P., 1972.

<sup>50</sup> Егорова Н.И. Указ. соч. С. 38—39.

<sup>51</sup> См.: Трофименко Г.А. Теория "баланса сил" и реальное противоречие капитализма и социализма на мировой арене // История СССР. 1972. № 1.

лась каждая из сторон до переговоров! Поэтому, хотя "Потсдамские соглашения не являлись – ни по замыслу, ни по воплощению – ни несправедливыми, ни жестокими", они все же оказались неподходящими для того, чтобы перекинуть мост "между войной и миром" (так гласил заголовок книги)<sup>52</sup>. К этому добавилось еще и то обстоятельство, что согласованные решения в их практическом исполнении стали сразу же искривляться каждым из их участников в соответствии с его приоритетами и симпатиями (заметим, что упрек этот автор обращает ко всем сторонам, а не только к советской, как это стандартно практиковалось раньше). Конечный вывод: начало "холодной войны" – это своеобразная трагедия, в которой виноваты обе стороны либо не виноват никто, разве только несовершенство человеческой природы!

Мы изложили своего рода экстракт рассуждений Г. Фейса, "очищенный" от мути старых концепций. Реальная ткань повествования содержит многочисленные сетования на советскую политику и оправдания западной, так что порой трудно уловить отличие от стандартной, официальной историографии. Собственно, книга и отразила официальную линию – с учетом того, что эта линия уже достигла некоего поворота, точки, где наиболее реалистически мыслящие политики уже начинали думать о некоторой модификации политики "холодной войны".

Напомним, что книга Г. Фейса вышла в год избрания Дж. Кеннеди президентом США. Объемленные этим политиком "новые рубежи" не следовало понимать, конечно, как лозунг коренного пересмотра политики конфронтации. Таковая порой усиливалась, достигая опасных пиков (берлинский кризис 1961 г., карибский кризис 1962 г.). Но за этими кризисами последовала речь в Американском университете, содержавшая уже призыв к диалогу с СССР во избежание ядерного взаимоуничтожения. Конечно, нельзя напрямую связывать идейную эволюцию президента с чтением книги Г. Фейса (поскольку можно говорить о воздействии исторических книг на любившего историю Дж. Кеннеди, скорее следует указать на книгу Б. Тачмэн "Августовские пушки"<sup>53</sup>). Однако нельзя и отрицать "линию соответствия" между теми направлениями, которые отражали изменения политического менталитета в Вашингтоне, и историческими подходами, нашедшими отражение у Г. Фейса.

Было бы, очевидно, ошибочно усматривать здесь призыв к кардинальному улучшению отношений с СССР, к далеко идущим широким соглашениям: мы видели, как хитроумно Г. Фейс вернул предупреждение против "компромисса ради компромисса". Но в то же время вполне здоровой была идея о том, что переговоры вовсе не должны сводиться к тому, чтобы лишь требовать "уступок" от партнера. Обращалось внимание на то, что партнер (даже если это Советский Союз) может быть и кое в чем прав, что заставлять его отказываться от кое-каких позиций не всегда разумно и желательно. Это была как раз та "философия переговоров", которая сделала возможным заключение Московского договора о частичном запрещении ядерных испытаний.

<sup>52</sup>Feis H. *Between War and Peace: The Potsdam Conference*. Princeton, 1960. P. 272.

<sup>53</sup>См.: Яковлев Н.Н. *Преступившие грань*. М., 1970. С. 210–211.

Концепция Г. Фейса возникла не на пустом месте. Похожие взгляды развивал еще раньше – наряду с обычной апологетикой – Дж. Снелл<sup>54</sup>. В плане источников эти модернизированные подходы опирались уже не только на материалы прессы, мемуары и анонимные “свидетельства”, как это было до тех пор, а на новую документальную базу: с 1955 г. в США стали публиковаться ранее закрытые дипломатические акты, касающиеся союзнических переговоров периода войны, а затем – и послевоенных международных отношений (серия FRUS): Как правило, близкие к официальным кругам историки (типа Снелла и Фейса) получали возможность использовать документы еще до их опубликования, но читатель имел возможность сравнить интерпретацию с фактами – конечно, в том виде, как факты подавались в этих сборниках<sup>55</sup>.

\* \* \*

В теоретическом плане эти новые подходы опирались на те идеи, которые были сформулированы к концу 50-х годов отошедшими к тому времени от прежней догматики У. Липпманом, Дж. Кеннаном и их единомышленниками. Идеи эти получили наименование “реализма”.

Этому течению давалась весьма неоднозначная оценка и в советской, и в западной историографии. Приведем одну из них, принадлежащую американскому историку Б. Бернштейну, стороннику гораздо более радикаль-

---

<sup>54</sup>Snell J.C. War-Time Origins...; The Meaning of Yalta / Ed. J.C. Snell. Baton Rouge, 1956.

<sup>55</sup>Трудно избавиться от впечатления, что по крайней мере некоторые высказывания западных политиков воспроизводились в “приглаженном” виде. Так, согласно американскому сборнику документов Потсдамской конференции, Трумэн говорил там об отказе признать правительства Болгарии, Венгрии и Румынии до тех пор, “пока они не будут организованы на демократических основах”. В советской же записи Трумэн сказал нечто иное: “...пока они не будут организованы так, как мы считаем нужным”. Такое своеобразное понимание демократии – как синонима того, что “считалось нужным” американской стороне, – отражалось, впрочем, в некоторых внутренних документах американской делегации, где не стеснялись себя дипломатическими тонкостями. В одном из них, например, говорится, что следует стремиться создать в Польше “свободное и демократическое правительство в том смысле, как мы интерпретируем это понятие” (см.: Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг. М., 1984. Т. 6; Берлинская (Потсдамская) конференция. С. 170; Foreign Policy of the United States (далее – FRUS): The Conference of Berlin. Wash., 1961. Vol. 2. P. 359; Vol. 1. P. 716).

Кстати, тексты этих внутренних документов – это, пожалуй, самая ценная часть американских публикаций дипломатических документов военного и послевоенного времени (в аналогичных советских изданиях они, к сожалению, отсутствуют). Что же касается записей переговоров, то здесь американские сборники ниже качеством; те, кто их анализирует, часто фиксируют неоговоренные пропуски, а то и прямые искажения.

См.: Neumann W After Victory: Churchill, Roosevelt, Stalin and the Making of Peace. N.Y. 1967. P. 119; Cuggisberg H. Dokumente zur amerikanischen Aussenpolitik von 1940 bis 1950 // Historische Zeitschrift, 1978. Bd. 226, H. 3. S. 634–635.

ного, чем у "реалистов", разрыва с догматикой ортодоксии: «Реалистическая школа критиковала неспособность американских руководителей осознать границы силы, понять опасности морализма и легализма и определить государственные интересы. Эти критики предприняли некоторые модификации в объяснении событий начала "холодной войны", выдвинув следующие тезисы: Соединенные Штаты могли бы в 1944–1945 гг. создать для себя сферу влияния в Восточной Европе; свободные выборы в этом регионе не были жизненной необходимостью с точки зрения американских интересов; администрация провозгласила в 1947 г. доктрину Трумэна в слишком экстремистских выражениях и в слишком идеологизированном виде; ей следовало бы больше доверять методам дипломатии при урегулировании спорных вопросов». Общий вывод Б.Бернштейна: "Реалисты выступили с такой критикой, которая стесывала сучки ортодоксии, не задевая самого ее ствола"<sup>56</sup>.

Возможно, этот приговор слишком суров. Но следует отметить, что то сжатое (и в общем точное) перечисление новых моментов, которые принес с собой "реализм", действительно демонстрирует крайнюю противоречивость этого течения. В самом деле, выступление против экстремизма, идеологизированности, призыв "осознать границы силы" – это все вполне разумно. Но как совместить с этим идею создания американской "сферы влияния" в Восточной Европе? Для этого явно ведь требовалось либо опередить советские войска, либо "вытеснить" их оттуда *силой*. Но ведь это означало еще больший отход от реализма в оценке соотношения сил, чем это было даже присуще сверхидеологизированной и склонявшейся к экстремизму администрации США! Как понимать критику "морализма и легализма"? Если в том духе, как это понимал У.Макнейл, т.е. как отказ от ориентации на реакционные эмигрантские круги и вообще от легитимистской ориентации на "довоенный мир", то все опять-таки вполне разумно и реалистично в подлинном смысле слова (кстати, У.Макнейла как раз и можно считать первым "реалистом"). А если в духе того, что политики не должны связывать себя никакими моральными нормами, никакими международными соглашениями? Тогда это уже возвращение к правозэкстремистскому "ревизионизму"! Наконец, что касается проблемы "свободных выборов" или, вернее, рекомендации игнорировать ее: это можно было истолковать и как отказ от назойливой опеки над другими народами, но можно было это понять и как курс на "раздел сфер влияния", а в этом случае возникал вопрос: приемлема ли и реалистична ли эта альтернатива как основа прочного мирного порядка?

По всем этим вопросам между самими "реалистами" не было единства, бушевали весьма острые споры, в ходе которых наблюдались даже рецидивы "ортодоксии", и в довольно крайних формах. Примером такого рецидива может служить рецензия, написанная Дж.Кеннаном на упомянутую книгу Г.Фейса, где в разносном духе было раскритиковано как раз то новое, что там содержалось<sup>57</sup>. В защиту Г.Фейса выступил с краткой

<sup>56</sup>Bernstein B. Les Etats-Unis et les origines de la guerre froide // Revue d'histoire de la 2<sup>e</sup> guerre mondiale. 1976. Juillet. N 103. P. 50–51.

<sup>57</sup>The American Slavic and East-European Review. 1961. Apr. P. 284–294.

репликой Дж.Снелл. Имеет смысл воспроизвести основные моменты этой реплики, ибо она многое говорит о содержании конфликта в среде "реалистов" и о содержании самого этого направления, в частности почему в его названии слово "реализм" все-таки должно быть поставлено в кавычки. Вот она, эта реплика:

«Г-н Кеннан утверждает: "Имеются веские доказательства того, что еще в 1943 г. он [Сталин] уже принял решение использовать поражение Германии по возможности для целей изгнания англичан и американцев из Европы и скорейшей коммунизации континента" (риторика, напоминавшая 1946–1947 гг. – А.Ф.). Г-н Кеннан значительно обогатит наше знание истории второй мировой войны и поможет нашей политической оценке тогдашнего американского руководства, если сможет изложить для читателя эти "веские доказательства"...

Если принять, что его [Сталина] целью был полный и тотальный контроль над "Европой" (а не только лишь контроль над Центральной и Восточной Европой), тогда с его стороны было, конечно, большой ошибкой призывать к открытию второго фронта; ведь это к концу войны привело к англо-американскому контролю над Францией, Бенилюксом, Италией, индустриальным центром Европы в Западной Германии, выходом из Балтики в Атлантический океан и Скандинавией. С его стороны было также колоссальной ошибкой признавать итальянскую монархию, навязанный Западом режим де Голля, а также Грецию в качестве британской сферы влияния.

Если г-н Кеннан сможет привести доказательства, на которые он намекает, и еще докажет, что они в 1943–1944 гг. были известны западным лидерам, которые предпочли их игнорировать, тогда я с готовностью присоединяюсь к его выводу, что западная политика тех лет отличалась "пугающей, почти граничащей с произволом, наивностью" (а это уже нечто в духе "ревизионизма". – А.Ф.). Но пока я не увижу таких доказательств, я по-прежнему буду придерживаться сравнительно позитивной оценки западного руководства»<sup>58</sup>.

В ответ Дж.Кеннан прислал классическую отписку: обязанности посла в Югославии лишают его возможности заняться сбором доказательств. Исход дискуссии Фейс–Кеннан–Снелл вроде бы не вызывал сомнений: Кеннан ее явно проиграл. Но выиграла ли ее другая сторона?

Дж. Снелл справедливо упрекнул Дж.Кеннана, что тот лишь намекает на наличие неких доказательств безграничного советского экспансионизма, но не приводит таковых. Но и сам он бездоказательно объявляет "режим де Голля" попросту навязанным, а с другой стороны, молчаливо признает вполне нормальным и законным установление советского "контроля над Восточной и Центральной Европой". Проблема свободы выбора для народов Европы, таким образом, фактически исключается из рассмотрения, считается неважной, как бы и не существующей. Европа для Дж.Снелла и его единомышленников – это в послевоенный период нечто вроде "вакуума", который заполнили (и не могли не заполнить) "сверхдержавы" – США и СССР.

<sup>58</sup>Slavic Review. 1961. Oct. P. 551-552.



Эта идея – идея вакуума – при всей ее, мягко говоря, недипломатичности в отношении европейцев<sup>59</sup> на какое-то время стала господствующей в американской историографии послевоенных международных отношений и, более того, стала предметом экспорта, в том числе и в Европу.

\* \* \*

Во всяком случае, именно с представления и обсуждения этой концепции началась первая из известных нам международных научных конференций историков “холодной войны” (Лондон, октябрь 1967 г.) – форум, открывший, по сути, новую стадию ее изучения – *международную*. Представил там эту концепцию бывший американский дипломат, бывший коллега Дж.Кеннана по работе в госдепартаменте Л.Галле.

Рассуждения его являли собой странное сочетание внешне “сбалансированных”, подчеркнуто дистанцированных от стандартной антисоветской риторики посылок с крайне фаталистическими, пессимистичными и никак не соответствовавшими “духу времени” выводами. Л.Галле говорил: “Держава (давайте, в виде гипотезы, скажем – Советский Союз) может и не хотеть сама заполнить вакуум, но она видит, что, если она этого не сделает или даже если создаст впечатление, что она не хочет этого делать, тогда это сделает соперничающая держава, а это, разумеется, покажется ей неприемлемым с точки зрения собственной безопасности. У меня сложилось достаточно твердое впечатление, что Сталин в 1945 г. не стремился к экспансии... Но мне представляется совершенно ясным, что динамика ситуации толкала его в вакуум силы дальше того, чем он хотел... Греция, к примеру, могла добавиться к его империи против его воли”. Предотвратить такую “неустойчивую” ситуацию можно было западной “контрсилы”: для этого нужно было сохранить гитлеровский вермахт(!) плюс армии США и Англии на уровне численности военного времени. Но этому варианту мешало общественное мнение. Его надлежало “обойти”, а это, в свою очередь, требовало “сверхгениальных” качеств политиков от западных государственных деятелей, каковыми престарелые и больные Рузвельт и Черчилль, неопытный Трумэн не обладали. В пример им Галле поставил английских политиков XIX в.:они-де умели “сдерживать” русских<sup>60</sup>!

Перед нами типичный пример цинично-холодной философии: нет ни нападающих, ни обороняющихся, ни врагов, ни союзников, ни морали, ни права, не играют роли ни намерения лидеров, ни настроения народов;

<sup>59</sup> Возможно, именно эта ее “недипломатичность” вызвала негативную реакцию вступившего тогда вновь на дипломатическую стезю Дж.Кеннана. Другим мотивом могло быть его желание “умиротворить” крайне правые круги, которые тогда рассматривали Кеннана уже как отступника. Во всяком случае, этот его рецидив в сторону “ортодоксии” остался эпизодом, не отражавшим основного направления развития его творчества. Поэтому неправомерно зачислять его в “ревизионисты” правого толка, как это делают В.Н.Новоселов и А.С.Орлов (Буржуазная историография второй мировой войны. М., 1985. С. 192).

<sup>60</sup> Journal of Contemporary History. L., 1968. Vol. 3, N 2. P.222-225.

все – пустые сентименты, кроме заповеди ”хватай, пока не захватили другие, хочешь мира – готовься к войне”.

Но философия эта была не только циничной. Она звучала как анахронизм, и на это было достаточно ясно указано другими участниками конференции. Г.Спиро (Пенсильванский университет) язвительно отметил, что ”г-н Галле забрался в XIX век и, если бы позволило время, очевидно, дошел бы до войн периода Реформации, а в то же время упустил такой фактор, как создание атомной бомбы и ее применение Соединенными Штатами против двух японских городов”<sup>61</sup>. Это был меткий удар: рушилась вся конструкция ”силового вакуума”, ибо при наличии у США ядерного оружия, конечно, нельзя было говорить о ”беззащитности” Запада. Да и вообще в условиях атомного века аналогии с прежними веками не проходили.

Л.Галле довольно беспомощно отреагировал на критику: мол, об атомной бомбе он не упомянул из-за ”недостатка времени”. Концепция ”силового вакуума” в общем не получила поддержки.

На том же форуме была опробована и другая модификация концепции ”вакуума”. Ее изложил американский же историк. П.Сибери (присвоивший себе, кстати, роль неофициального руководителя дискуссии). Если Л.Галле апеллировал к ”старым добрым временам”, то его коллега, напротив, не видел в них ничего хорошего. Для него вся история Европы до 1945 г. – это история непрерывной ”гражданской войны” между европейцами, междоусобиц и ”хаоса”. Именно этим ”хаосом” пришлось заняться после войны США, СССР и Великобритании, и если они использовали собственную ”технику” его преодоления, то, во-первых, потому, что другой и не знали, а во-вторых, потому, что сами-то европейцы ничего предложить не могли: вакуум был, но не столько ”силовой”, сколько *идейный*. Сибери и не думал отрицать ”руку Америки” во всех важных послевоенных политических решениях в Западной Европе (и, естественно, ту же ”руку СССР” в отношении Восточной Европы). Но, задавал он вопрос, был ли ”новый порядок”, базирующийся на наличии двух противостоящих военных группировок, более искусственным, чем предыдущие? По его мнению, вовсе нет: вероятность войны между двумя ”крупными агрегатами” меньше, чем между множеством мелких, а потому и не надо считать ”холодную войну” чем-то плохим, какой-то дегенерацией международных отношений<sup>62</sup>.

Нетрудно видеть массу натяжек в этих построениях: наряду с США ”неевропейскими” державами объявляются и Советский Союз, и даже Великобритания. Признаются только ”западные интеграционные действия” в качестве первопричины ”раскола Европы”, а вина за это (правда, в его концепции – заслуга!) приписывается обеим сторонам. Никак не соответствовала ни историческому опыту, ни настроениям мировой общественности идея о военных блоках как гарантах мира. Наконец, П.Сибери предпочел оставить без ответа и напрашивающийся вопрос: чем же

<sup>61</sup>Ibid. P.240.

<sup>62</sup>Ibid. P. 217-220.

заполняли США ту "вакуумированную Европу", существование которой он постулировал? Обычно говорилось об идее "свободного мира", но в сочетании с идеей "руки Америки" это звучало как плохой анекдот. Во всяком случае, когда Х.Сетон-Уотсон с прямотой, на которую порой способны британские консервативные историки, отрубил: "Свободный мир – да это же бессмысленное выражение, абсурдная фраза!" – П.Сибери, посетовав на такую резкость, по сути, ничего не мог возразить. Робкое его положение говорить вместо "свободного мира" об "открытом обществе" особого энтузиазма не вызвало.

\* \* \*

Концепция "вакуума" во всех ее разновидностях имела отчетливо американоцентристский, антиевропейский акцент. Она изображала европейцев в виде "малых детей", нуждавшихся в опеке и "организующих идеях" извне (в отношении Западной Европы, естественно, из США!), и ярко отразила американскую озабоченность, как бы их западноевропейские партнеры не вырвались из-под контроля, не пошли своим путем<sup>63</sup>.

Тяжеловесные попытки США усмирить своих союзников, как мы знаем, не привели к желаемым результатам в политике. Однако в области историографии, судя по материалам той же конференции, "европейский ответ" оказался довольно невнятным, а то и вовсе не адекватным.

Самым большим, на что решились западноевропейские участники форума 1967 года, остались саркастические замечания Х.Сетон-Уотсона (вышеприведенная его диатриба по поводу "свободного мира" была не единственной). Правда, и английские, и французские историки (иных не было) выступили в общем против идеи "вакуума" в Европе, но оригинальным образом: они доказывали либо, что не американцы, а западноевропейцы первыми осознали "советскую угрозу" (английский историк Д.Уотт), либо, что имела место гармоничная кооперация между теми и другими в подготовке "отпора" Востоку (французский историк Ж.Лаула).

Это был уже совсем не тот европеизм, который можно было считать реалистичной альтернативой примитивной "ортодоксии". В духе такого внешне "нового" (а на деле возрождавшего старые штампы идеологии "холодной войны") "атлантического европеизма" были написаны две крупнейшие работы по истории послевоенных международных отношений конца 60-х – начала 70-х годов – двухтомник по истории "холодной войны" французского историка и публициста А.Фонтэна<sup>64</sup> и монография по истории послевоенного мирного урегулирования двух английских историков – Дж. Уилер-Беннета и А.Николлса<sup>65</sup>.

<sup>63</sup>Напомним тогдашнюю ситуацию: в 1966 г. де Голль посетил СССР и получила развитие концепция европейской разрядки, весной того же года Франция заявила о выходе из военной организации НАТО.

<sup>64</sup>Fontaine A. Histoire de la guerre froide. P., 1965, 1967. Т. 1-2.

<sup>65</sup>Wheeler-Bennet J., Nicholls A. The Semblance of Peace: The Political Settlement after Second World War. L., 1972. (Paperback ed. N.Y., 1974).

Весьма активно именно такого рода подход был взят на вооружение и консервативной историографией ФРГ. Следует сказать, что на протяжении довольно длительного периода вклад западногерманских историков в разработку проблематики "холодной войны" оценивался их коллегами из других стран не слишком высоко. Характерно, что на упомянутой конференции 1967 года в Лондоне не присутствовало ни одного их представителя, не упоминалось и о каком-либо оригинальном труде или концепции какого-либо западногерманского автора. Западногерманские международники и сами признавали свое безнадежное отставание в данной области, ограничиваясь лишь попыткой найти какую-либо более или менее подходящую аргументацию в обоснование и оправдание такого отставания<sup>66</sup>. Оно вело к эпигонству. Если взять книги по послевоенной истории, написанные виднейшими представителями цеховой исторической науки ФРГ, то без труда можно обнаружить в них все те же концепции, что мы уже встречали, разве лишь доведенные до крайности. Это и правомерно-ортодоксальная, ультрапроамериканская концепция К.-Д. Брахера<sup>67</sup>, и концепция "вакуума силы" с робкой, сомневающейся критикой экспансионизма США у Т.Шидера<sup>68</sup>, и концепция "вакуума идей" с откровенными признаниями вмешательства США во внутренние дела западноевропейцев и оправданием такового доводом о "неспособности" последних самим решать свои дела (А.Хильгрубер)<sup>69</sup>.

Особый отклик среди правоконсервативных историков ФРГ вызвала, естественно, идея о том, что основой всех бед в послевоенной Европе была демилитаризация Германии, создавшая пресловутый "вакуум силы"<sup>70</sup>. А уж концепция "идейного вакуума" и вообще была повернута в сторону прославления "немецкого духа": мол, не американцы, не англичане и не французы, а только западные немцы проявили твердость в отношении коммунизма, заполнили "вакуум" и спасли Запад от "Восточ-

<sup>66</sup>На страницах ведущего органа международников ФРГ объяснялось, что занятие историей "холодной войны" — это признак "тыловых" настроений, которые могут себе позволить американцы или французы, но никак не западные немцы "в их выдвинутом фронтовом положении". Впрочем, говорилось и о "феномене исторического запаздывания немцев". Точнее было бы — не немцев, а германского империализма, что передалось и его западногерманскому наследнику, длительное время обрекая Федеративную республику, ее господствующую политическую и идеологическую элиту на пребывание в мире бесплодных иллюзий реваншистского толка, на отрицание политики разрядки тогда даже, когда на ее рельсы уже вставали ее союзники. См.: *Schütze W. Zur Geschichte des Kalten Krieges // Europa-Archiv. 1968. F. 1. S.37.*

<sup>67</sup>*Bracher K.-D. Europa in der Krise: Innengeschichte und die Weltpolitik seit 1917. Frankfurt a/M. etc., 1979.*

<sup>68</sup>*Handbuch der europäischen Geschichte / Hg. T.Schieder. Stuttgart, 1979. Bd. 7. 1. Teilband.*

<sup>69</sup>Сибири писал "о руке Америки, которая заявила о себе во время выборов в Италии в 1948 г. и обеспечила правильный (!) их исход", а Хильгрубер даже и соответствующий раздел озаглавил: "Вмешательство США в выборы в Италии". См.: *Hilgruber A. Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit 1945—1963. München etc., 1981.*

<sup>70</sup>*Wettig G. Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung in Deutschland 1943—1955. München, 1967.*

ной экспансии". Эта концепция, ярче всего выраженная в книге Э.Нолте<sup>71</sup>, явилась своего рода апогеем политизированного антинаучного подхода к проблематике генезиса "холодной войны", показателем того, что ни время само по себе, ни накопление новых фактов, ни применение новых методик еще не гарантируют от возврата к примитивной "ортодоксии", да еще сугубо националистического толка. На гребне "консервативной волны", поднявшейся с середины 70-х годов<sup>72</sup>, наряду с работами, клеймящими разрядку, появились и "неортодоксальные" труды по генезису "холодной войны". Образцом таковых можно назвать книгу эмигранта из Чехословакии, осевшего в США, В.Мастны<sup>73</sup>.

Впрочем, мы несколько забежали вперед, упустив один важный момент. Дело в том, что уже к середине 60-х годов ситуация в немарксистской историографии послевоенных международных отношений отнюдь не исчерпывалась взаимодействием и комбинациями "ортодоксальной" (в "официальном" и "праворевизионистском" вариантах) и "реалистической" концепции. На сцену с начала 60-х годов выступило новое течение, которое пошло в демонтаже мифов о "холодной войне" гораздо дальше даже самых последовательных "реалистов". Основной тезис всей предшествующей официальной историографии, будто в возникновении послевоенной конфронтации виновен Советский Союз либо невиновен никто, а лишь некие не поддающиеся человеческому влиянию силы, был подвергнут коренной ревизии. Течение это получило наименование "нового ревизионизма" в отличие от маккартистского – того, что процветало в конце 40-х – начале 50-х годов. Впрочем, поскольку последнее как особое сколь-нибудь влиятельное направление быстро сошло на нет, о новой системе взглядов стали говорить просто как о "ревизионизме".

### "РЕВИЗИОНИЗМ": ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

В СССР появление нового течения встретило оперативную и доброжелательную реакцию. Один из основополагающих трудов этого направления был переведен и издан у нас спустя всего год (!) после его выхода в США. Советскому изданию была предпослана обстоятельная вводная статья, ставшая, по сути, первым марксистским анализом этой школы<sup>74</sup>. Тепло отозвался о "новых историках", выступивших против "лжецов", американский историк-марксист Г.Аптекер<sup>75</sup>.

Советские и зарубежные историки-марксисты, отмечая сильные стороны "ревизионистов", их научную и общественную смелость в атаке на

<sup>71</sup>Nolte E. Op. cit.

<sup>72</sup>См.: Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем: О социальных корнях консервативной волны. М., 1987.

<sup>73</sup>Mastny V. Russia's Road to the Cold War: Diplomacy, Warfare and Communism, 1941-1945. N.Y., 1979.

<sup>74</sup>Вильямс В. Трагедия американской дипломатии. М., 1960. Позднее была переведена еще одна книга этого направления: Алпровиц Г. Атомная дипломатия: Хирозима и Потсдам. М., 1968.

<sup>75</sup>Aptheker H. Cold War Liars and New Historians // Political Affairs. 1971. N 8.

сложившуюся мифологию, не замалчивали вместе с тем и очевидные их слабости: недостаточное знание, а отсюда и порой искаженные трактовки советских реалий, односторонность в трактовке политики западных держав (преуменьшение сил противников конфронтации и соответственно тезис о фактической безальтернативности курса экстремистских кругов), пессимизм в оценке международной политики в целом (тезис о фатальной предопределенности конфликтных ситуаций и "разделе мира")<sup>76</sup>.

В рамках этого общего имелись и существенные различия: "ревизионистов" трактовали как историографов "новых левых" (историк бывшей ГДР Р.Хорн), как приверженцев идеологии "баланса сил" (О.В.Степанова), говорилось и о том, что «некоторые представители "неоревизионизма" в своих высказываниях фактически оказываются на одной идейной платформе с представителями троцкистских, а то и правозкстремистских течений» (автор этих строк)<sup>77</sup>. Высказывались сомнения – не лишённые оснований – в правомерности применения самого термина "ревизионизм" к данному направлению.

Еще более разнообразен спектр высказываний о нем со стороны коллег по западной науке. Его суть определяли как "заимствование старого коммунистического тезиса", да еще "огрубленного неомарксистским движением" (историк из ФРГ К.-Д.Брахер)<sup>78</sup>, как выражение "маоизма" свойственного-де американскому характеру (советолог А.Улам)<sup>79</sup>. Довольно широко была распространена идея о близости его к идеологии ультраправых<sup>80</sup>. Наконец, имелся и тезис, согласно которому вообще ничего нового в "ревизионизме" нет и его самого нет<sup>81</sup>. Историков, придерживавшихся столь различно трактуемых взглядов, объявляли шарлатанами, подгоняющими факты под схему.

Правда, критика "разгромного" типа была атрибутом в основном начальной реакции на инакомыслие. То, что среди упомянутых отзывов есть и отзыв (К.-Д.Брахера) конца 70-х годов, – это скорее анахронизм, признак все того же отставания историографии ФРГ. Но там раздавались и иные голоса. В специальном историографическом эссе В.Лота мы видим более модернизированный и более близкий к реалистическому подход. Если, положим, ультраконсерватор Э.Нольте называл В.Вильямса "марксистом", да еще "известнейшим"<sup>82</sup>, что должно было сыграть роль жупела, то В.Лот отметил, что американский профессор был движим духом "демократического идеализма". Далее В.Лот иронически отозвался о

<sup>76</sup>По-видимому, впервые со всей четкостью это было сформулировано в работах О.В.Степановой.

<sup>77</sup>Филипов А.М. Основные тенденции... С. 172–173.

<sup>78</sup>Bracher K.-D. Op. cit. S. 282.

<sup>79</sup>Ulam A. The Rivals: America and Russia since World War II. N.Y., 1971. P. 94.

<sup>80</sup>Holsti O.R. The Study of International Politics Makes Strange Bedfellows: Theories of Radical Right and Radical Left // American Political Science Review. 1974. Mar. Vol. 68. P. 217-242.

<sup>81</sup>Leight M. Is There a Revisionist Thesis on the Origins of the Cold War? // Political Science Quarterly. 1974. Vol. 89. P. 101-116.

<sup>82</sup>Nolte E. Op. cit. S. 34.

тезисе, объявлявшем "ревизионизм" несуществующим: это, мол, вывод "несколько поспешный". Наконец, им был отмечен и факт распространения этой школы за пределы США: "первую немецкоязычную адаптацию ревизионистского мотива" он усмотрел в появившейся в 1970 г. книге известного западногерманского историка Э.Криппендорфа; насчет первенства можно и поспорить, но сам факт несомненен. В остальном, правда, сохраняется обычный набор претензий. Но по крайней мере автор довольно четок в своих оценках<sup>83</sup>.

По-иному, размыто двусмысленно выглядит эта оценка в труде английского историка В.Ротуэлла, автора весьма консервативной направленности: «Ревизионисты в своем большинстве – это американцы, пишущие об американской же внешней политике. Расцвет их приходится на 60-е годы. Под сильным влиянием недавних или современных событий (особенно войны во Вьетнаме) они разоблачили как фарс идею о том, будто альтруистские или либеральные мотивы играли реальную роль во внешней политике США в 40-е годы. В качестве определяющих мотивов они брали те, что связаны с влиянием "капитализма", или большого бизнеса, на внешнюю политику, отрицать существование которых могут лишь близорукие, неспособные увидеть капиталистического леса за деревьями дипломатических актов. Печально: некоторые из них были даже готовы обвинить своих оппонентов не просто в дефектах зрения, но и в нечестности. Однако они сами проявляли близорукость и ограниченность, отказываясь понять сущность советской системы при Сталине, которая в ревизионистской литературе крайнего толка представлялась в виде мирного марксистского ягненка, обороняющегося против американского капиталистического волка. Несомненно, они дали кое-что и полезное, но данный автор считает критику их школы ... полностью убедительной, а их описание советских мотивов (или отсутствие такового) заслуживающим особого сожаления»<sup>84</sup>.

Скажем прямо, формулировки эти скорее могут вызвать больше вопросов, чем дать ответов. Что можно счесть приемлемым у "ревизионистов"? В чем нужно их упрекать? Положим, постановка вопроса о личной честности или нечестности автора, с которым полемизируешь, действительно не может быть признана корректной. Но снимает ли это проблему "леса" и "деревьев"? Положим, сравнение СССР с "ягненком" действительно можно охарактеризовать как признак "близорукости", хотя скорее речь идет о нелепости образа: ягненок вообще не обороняется. Здесь удачно подмечена некорректность "ревизионистской" трактовки СССР как "слабака". Но при чем тут советские мотивы? Логика, очевидно, такая: государство, любое государство, будучи сильным, не может быть мирным. Спяť-таки у многих представителей "критической" историо-

<sup>83</sup>Loth W. Der "Kalte Krieg" in der historischen Forschung // Der Westen und die Sowjetunion / Hg. G.Niedhardt. Paderborn, 1983. S. 159, 161, 162. См. также: Krippendorf E. Die amerikanische Strategie. Entscheidungsprozess und Instrumentarium der amerikanischen Aussenpolitik. Frankfurt a/M., 1970. "Ревизионистский мотив" прозвучал в ФРГ уже в 1962 г. См.: Bestandaufnahme. Eine deutsche Bilanz. München, 1962.

<sup>84</sup>Rothwell V. Britain and the Cold War, 1941–1947. L., 1982. P.2.

графии такие идеи, роднящие их с "реалистами", имеются. Но за это ли критикует их В.Ротуэлл? Понять сложно.

Ясно одно: вокруг течения "ревизионистов" нагромождено уже столько обвинений, недоразумений и неясности, что в этом надо наконец ра-  
зобраться<sup>85</sup>.

Проблема *первая*. Само название. Оно дано течению его противниками. (Оно неточно. Акцентируя момент новизны этого направления, его отличия от старой, стоявшей, традиционной школы, термин этот никак не говорил о том, в каком направлении шел пересмотр, "ревизия". Учитывая же, что ранее "ревизионистами" называли фашиствовавших историков ультраправого толка, применение того же ярлыка к новому направлению содержало в себе хитроумный намек: это, мол, такая же крайность, выражение того же "экстремизма", что и у прежних "ревизионистов", только что с обратным знаком, а значит, и относиться к нему надо как к аномалии, отклонению.

Характерно, что те, к кому обычно относят это название, решительно выступают против него и если употребляют, то только в кавычках, подчеркивая тем самым, что речь идет о чуждой им терминологической формулировке. Сами они определяют себя по-иному: «Критически-прогрессивистская школа, которую называют "ревизионизмом" приверженцы обывательской мудрости»<sup>86</sup>. В этой связи обоснована критика этого термина советскими авторами<sup>87</sup>. Однако вывод о неправомерности употребления его даже в кавычках (А.Н. Мерцалов выступает и против термина "критический") кажется излишне категоричным. Возможность смешения критики "справа" и "слева" малореальна, учитывая различные периоды деятельности различных "ревизионистов". Ведь по этой логике неправомерно называть "ревизионистами" и ультраправых историков 40–50 годов: их можно спутать с "ревизионистами" 30-х годов. Еще менее реальна возможность спутать их с теми, кто пытается подвергнуть ревизии марксистско-ленинское учение.

Здесь мы уже подошли ко *второй* проблеме – социально-политическому лицу "ревизионизма". Вот одно из типичных высказываний: «Америка хочет, чтобы... мир управлялся ее бизнесменами. Дело, однако, в том, что другие этого не хотят. На Востоке они взяли власть и сопротивляются. Отсюда – борьба Востока и Запада, в наше время получившая название "холодной войны"»<sup>88</sup>. Это из манифеста "новых левых", появившегося в конце 60-х годов, где, кстати, американский капитализм получает характеристику системы "социально нерациональной".

Пассажи такого рода и давали основания для постановки знака равенства между понятиями "ревизионист" – "новый левый" – "неомарксист"

<sup>85</sup>Вместе с тем многие основные черты этого направления достаточно глубоко освещены в работах, знакомых советскому читателю, и потому автор не будет на них останавливаться.

<sup>86</sup>American Historical Review. 1985. Febr. Vol. 90, N 1. P. 516.

<sup>87</sup>Мерцалов А.Н. В поисках исторической истины. М., 1984. С. 149; Ржешевский О.А. Указ. соч. С. 297.

<sup>88</sup>Oglesbey C., Shaul R. Containment and Change. N.Y., 1968. P. 71.



(хотя неясно, что означало это "нео"). Однако если проанализировать хотя бы тот же манифест поглубже, нетрудно заметить, что его "антибуржуазность" весьма относительна: и исторические, и программные его компоненты не выходят за рамки дюжинного мелкобуржуазного реформизма. К тому же "новые левые" не были монополистами на принципиальную критику американской внешней политики. Если можно говорить о связи В. Виллмса с этим течением (хотя и это вызывает порой сомнения<sup>89</sup>), то вряд ли можно установить ее для, положим, Д. Флеминга — сотрудника "мозгового центра" банкира Б. Баруха, сохранившего к нему личную лояльность и позднее. А ведь совершенно справедливо замечание Б.И. Марушкина, что именно книга Д. Флеминга вызвала "наибольший резонанс в западном мире"<sup>90</sup>.

В.В. Согрин, на наш взгляд, правильно говорит о том, что "в так называемой ревизионистской школе" можно выделить два крыла, одно из которых он определяет как "радикальное", а другое — как "леволиберальное". За первым признаются "ведущие позиции"<sup>91</sup>, что, правда, требует специального анализа, так же как и названия этих двух течений (того же Д. Флеминга трудно отнести к "левым"). Что же касается западноевропейской ветви "ревизионизма", то там несомненна ее "подпитка" от социал-демократических корней. Во всяком случае, историческая часть написанного двумя идеологами СДПГ программного труда "Социалистическая политика для Европы" читается как типичное произведение "ревизионистов"<sup>92</sup>. В общем, если говорить о них как о международном феномене, то есть основания утверждать, что они вобрали в себя три идеологических компонента, представленных либеральной критикой, "новыми левыми", социал-демократией. Сложность "ревизионизма" отразила неоднородность сил, воплощавших собой разрядочную идеологию.

Мы только что упомянули о международном характере "ревизионизма". Но здесь есть тоже проблема — третья по счету. Было ли это явление универсальным? Или оно присуще некоторым странам и нетипично для других? Общеизвестно, что колыбелью его явились США, что оно было воспринято (хотя и с запозданием) в ФРГ. Но вот, например, насчет Великобритании В. Ротуэлл почти с торжеством заявляет, что там "не создано своей школы ревизионистов". И это действительно так.

И не то чтобы официальные стереотипы не вызывали там протеста. В конце 60-х годов против "ортодоксальных" точек зрения, представленных П. Сибири (по общим проблемам генезиса "холодной войны") и Ф. Спенсером (по германскому аспекту), с хорошо аргументированной критикой ярко выступили соответственно Б. Томас<sup>93</sup> и Б. Кэклик<sup>94</sup>. Но

<sup>89</sup> Степанова О.В. "Холодная война" — историческая ретроспектива. М., 1982. С. 94.

<sup>90</sup> См.: Критика буржуазной историографии советского общества. М., 1972. С. 398—399.

<sup>91</sup> Согрин В.В. Критические направления немарксистской историографии США XX века. М., 1987. С. 241.

<sup>92</sup> Möller W., Vilmar F. Sozialistische Friedenspolitik für Europa. Hamburg, 1972.

<sup>93</sup> Это была одна из первых дискуссий такого рода. См.: Journal of Contemporary History. 1968. Vol. 3, N 1. P. 169—198.

<sup>94</sup> См.: International Affairs. 1968. Apr. P. 410—412.

это были изолированные выступления. Б. Кэклик издал, правда, одну из самых убедительных книг "ревизионистского" направления, но... в США. В Великобритании места для такого рода критиков не оказалось. Тому были причины. Основная, думается, – это умелое применение приема *перехвата критики*.

Шла ли речь о прямой дискуссии с "мятежником" или о безадресной борьбе с легендами<sup>95</sup>, каждый раз проявлялось именно это: претензия на роль сверхсмелого критика всех и вся, критика, для которого не существует табу, который воюет со всеми легендами – и "западными", и "восточными". Естественно, что при этом "мятежник" оказывался посрамленным, как недостаточно смелый, а на смену старым легендам, обветшавшим и уже негодным, выдвигались новые<sup>96</sup>.

Впрочем, даже более характерным для английской официальной историографии являлся и является перехват не просто критики, но и *критической инициативы*. Вспомним: в то время как в США бушевал маккартизм, в Великобритании Королевский институт международных отношений издал "сбалансированно" критическую работу У. Макнейла. А вспомним высказывания ультраконсервативного Х. Сетон-Уотсона на форуме 1967 года! Подобного рода критика, даже "сверхкритика", направляется на то, чего уже не защитить, играла и играет роль "предохранительного клапана", дабы не допустить "взрыва". Как мы видели на примере творчества А. Гроссера во Франции, там тоже достаточно эффективно действовала эта превентивная система. А вот в США и Западной Германии, где контроль над инакомыслием был более жестким, негибким, где "реализм" оказался обремененным изрядной, а иногда и подавляющей дозой "ортодоксии", – там такой взрыв в виде "ревизионизма" и произошел. Отсюда вывод: данное течение – международное, но не универсальное.

Система жесткого контроля над мыслями, "охоты за ведьмами", ведет, как правило, не только к усилению в конечном счете настроений протеста, но и к появлению в них тенденций экстремистского, левацкого толка. В свою очередь, "леваки" зачастую оказываются в опасной близости к правоэкстремистским силам и лозунгам. Эти соображения и дают основу для решения *четвертой* проблемы, связанной с "ревизионизмом":

---

<sup>95</sup>Пример 1-го варианта – дискуссия Спенсера–Кэклик, 2-го – статья Р. Сесила о Потсдаме в том же журнале два года спустя.

<sup>96</sup>Пример дискуссии Спенсера–Кэклик показывает, что английский "традиционалист" может гораздо резче (даже грубее) высказываться насчет личных качеств, положим, Трумена или Бирнса, насчет политики, положим, Франции, представив, таким образом, оппонента конформистом и "франкофилом" (что для английского обывателя, видимо, ненамного лучше, чем "агент Кремля"). Но зато там, где есть серьезная угроза испытанному антисоветскому мифу, там от дискуссии поспешно уходят. Из 15 возражений, которые Кэклик выдвинул против Спенсера, самое серьезное касалось традиционного противопоставления Запада – "благодетеля" немцев – и СССР – "злодея", возжелавшего чуть ли не уморить всех немцев с голоду; "ревизионист" высказал обоснованные сомнения; "ортодокс" ответил очень просто: "эти замечания имеют побочный интерес" (International Affairs. 1968. Apr. P. 414).

случайны или нет некоторые черты сходства отдельных его разновидностей с ультраправым его предшественником?

Обратимся к фактам. На первом же студенческом "тич-ине" в Беркли, посвященном осуждению войны во Вьетнаме, свои представления о "холодной войне" изложил троцкист И. Дейчер. Он выразил согласие с тем, что не было никакого советского заговора с целью завоевания и "коммунизации" Западной Европы, но тут же выдвинул идею, будто Советский Союз вступил в заговор... с западными державами (!) с целью... реставрации капитализма в Западной Европе (!!)"<sup>97</sup>. И. Дейчер согласился с тем, что Советский Союз с крайней щепетильностью относился к соблюдению принятых на себя договорных обязательств, но охарактеризовал это как нечто, свойственное традициям... византийской политики! Из области византиноведения он перешел затем в область психоанализа, обнаружив, что на Западе стали испытывать "комплекс вины" по отношению к отданным на поток и растерзание "русским варварам" народам Восточной и Центральной Европы, отсюда политика, вернее, риторика "отбрасывания" коммунизма. Как видим, невероятно много "учености" (обращался он все-таки к интеллектуалам, хотя и недоучившимся). Немало и громких обвинений в адрес Запада. Но очень нелегко понять, за что же все-таки больше И. Дейчер ругает западных политиков – то ли за "контрреволюционность" (он хорошо учитывал, что без этого его на "тич-ине" просто не стали бы слушать), то ли за соглашения с СССР, как это делали канувшие к тому времени в Лету ультраправые "ревизионисты".

Кстати сказать, апологеты официальной линии проявляли завидное чутье в том, кого из "диссидентов" раскритиковать, а кого и "поддержать". Казалось бы, если выбирать между далеким от всяких идеологических "измов" либералом и леваком, объявляющим себя "марксистом", то представитель истеблишмента должен был бы главный огонь сосредоточить на последнем. Ан нет! Американский историк П. Сибири в одной из первых дискуссий по поводу "ревизионизма" буквально "под орех" разделал Д. Флеминга, зато рассуждения И. Дейчера охарактеризовал как "дуновение свежего ветерка в пустыне"<sup>98</sup>.

Отсюда с очевидностью вытекает, что левацкий компонент был крайне выгоден "контрревизионизму" – и потому, что он позволял сблизить движение протеста в глазах публики в правым экстремизмом<sup>99</sup>, и потому, что обрекал тех, кто его усваивал, на догматические подходы к истории, а в целом компрометировал критическое направление.

С этим непосредственно связана пятая проблема: пропагандисты или ученые? Эскапады "леваков", естественно, не сопровождались сколь-нибудь серьезным анализом источников, и это служило лишним доводом для дисквалификации "ревизионистов" в целом как ученых. Но тут была логическая натяжка: далеко не все из них были "леваками" и даже не у

<sup>97</sup>*Deutscher I. The Myth of the Cold War // Containment and Revolution. Boston, 1967. P. 17.*

<sup>98</sup>*Journal of Contemporary History. 1968. Vol. 3, N 1. P. 178.*

<sup>99</sup>Заметим, что "новые левые" порой сами выдвигали лозунг объединения со "старыми правыми".

всех из тех, кто испытывал влияние тех или иных догм, это вело к атрофии профессионального мастерства. Только два примера. Первый – Д. Флеминг. Критикуя его, П. Сибири не смог найти ни одного неверного факта в его книге. Оставалось лишь упрекнуть его в том, что он пользовался в основном материалами прессы и опубликованными документами. Но ведь это была не его вина, а его беда! Второй – упоминавшийся выше Б. Кэклик. Его подверг резкой критике западногерманский историк Г.-П. Шварц (начав как "умеренный реалист", он вскоре стал одним из единомышленников Э. Нольте). За что? Отнюдь не за игнорирование архивов и не за искажение фактов. Напротив, рецензент признал, что автор широко использовал новые архивные материалы, факты верны и они подтверждают наличие "антисоветского мотива" в американской политике (в конкретной сфере репарационных дел, которые разбирает Б. Кэклик). Но, оказывается, "ввиду сложности процесса выработки решений, крайне невероятно, чтобы дело обстояло тогда так просто. Очевидно, Кэклику следовало бы поменьше поддаваться писаниям корифеев ревизионистской школы и побольше заимствовать из методологических взглядов сэра Л. Нэмира. Там он нашел бы подходящий рецепт: надо наблюдать исторические события и предоставить *интуитивному* чутью (подчеркнуто нами. – А.Ф.) разобраться в том, как все происходило"<sup>100</sup>.

Получается, что если факты настойчиво говорят об одном и том же, то делать из них напрашивающийся вывод – это "упрощение", а вот следовать "интуитивному чутью" – так это действительно достойно историка! А если такое "интуитивное чутье" подсказывает как раз то, что диктуется пропагандой? Спрашивается, кто же пропагандист и кто ученый: кто идет за фактами или за "интуицией"? Конечно же, серьезные "ревизионисты", т.е., кто проявляли должное внимание и уважение к факту, кто не довольствовался абстрактной схемой, – такие, как упомянутые нами Д. Флеминг и Б. Кэклик, как Г. Алпровиц, Г. Колко, Л. Гарднер, У. Лафибер, М. Фриленд, Б. Бернштейн и многие другие, – демонстрировали куда более высокие стандарты академизма, чем те, кто их критиковал<sup>101</sup>.

Разумеется, были и другие – тот же И. Дейчер, многое воспринявший от него Д. Горовиц. Но чаще догма и здравый смысл сосуществовали в творчестве одного и того же автора, в одной и той же книге. У Д. Флеминга сильно чувствовалось влияние идеи "баланса сил", у Г. Колко – идей "сверхдержав" и "экономического материализма", у Г. Алпровица – личностного подхода, "подхода Дрю Пирсона", как его метко определил гарвардский профессор Э. Мей – один из умеренных критиков "ревизионизма"<sup>102</sup>.

<sup>100</sup>Historische Zeitschrift. 1974. Aug. Bd. 219, N. 1. S. 180.

О взглядах упомянутого английского историка – одного из корифеев западной исторической мысли – см.: *Ерофеев Н.А.* Льюис Нэмир и его место в буржуазной историографии // *Вопр. истории.* 1973. № 4.

<sup>101</sup>Как справедливо отмечал Б. Бернштейн, долгое время противники нового течения, ругая его, не противопоставляли ему никаких новых фактов. "Первую антиревизионистскую работу, основанную на архивах", он датирует 1972 г. См.: *Bernstein B.* *Les Etats-Unis...* P. 58.

<sup>102</sup>Journal of Contemporary History. 1968. Vol. 3, N 2. P. 238.

Возникает проблема – *шестая*: можно ли при таком разнообразии взглядов и концепций внутри "ревизионизма" говорить о нем как о каком-то особом направлении? Или речь шла о конгломерате точек зрения, имеющих больше общего с другими течениями, чем друг с другом? Во всяком случае, противники "ревизионистов" охотно использовали этот довод. Э. Нолте, например, исходя из принятой классификации критиков на "жестких" и "мягких", сводил это к антиномии "догматики" – "прагматики", а таковые, мол, есть и у "традиционалистов", так что "линия раздела" смещалась коренным образом<sup>103</sup>. Да и сами "ревизионисты" порой проявляли сектантство, искусственно ограничивая круг "своих". Например, Б. Бернштейн в обширном историографическом очерке ни словом не обмолвился о Д. Флеминге (В. Лот относит его почему-то в промежуточную категорию между "либеральной критикой" и "научным ревизионизмом")<sup>104</sup>.

Есть и обратная тенденция: искусственно расширять круг "ревизионистов", зачисляя в него тех, которые вряд ли могут быть к ним отнесены, например А.Дж.П. Тейлора (это делает В. Ротуэлл, считая его одним из исключений из правила, говорящего об отсутствии этого течения в Англии).

На наш взгляд, при всех различиях в концепциях, интерпретациях, глубине и качестве работ речь все-таки идет о достаточно четко очерченном направлении, противостоявшем прежним направлениям и представлявшем собой несомненный прогресс немарксистского историзма. Основная идея "ревизионизма" – признание ответственности Запада за "холодную войну" – является достаточно четким критерием определения круга его представителей.

Это суждение имеет один недостаток – оно рассматривает проблему в статике. Между тем диалектика требует рассматривать все в динамике, развитии. Отсюда последняя, *седьмая* проблема: о тенденциях развития и судьбах этого течения. Ее решение позволит нам ответить и на вопрос: что же в конечном счете явилось определяющим в творчестве того или иного историка – догма или стремление к истине, а значит, и окончательно решить проблему классификации. Сама разрядка представляет собой феномен перехода от "холодной войны" к полному и безраздельному воплощению в международных отношениях принципа мирного сосуществования. Соответственно такие же переходные, лабильные моменты были характерны и для "ревизионизма", являвшегося своеобразным историографическим провозвестником разрядки.

Перед ним было в принципе три пути.

Первый – путь упрочения его как определенного *единства*. Это предполагало в первую очередь устранение вопиющего противоречия между общей направленностью в сторону осуждения "холодной войны" и частной аргументацией, допускавшей толкования ее как "*неизбежного*" явления, принижавшей силы, противостоящие политике конфронтации.

<sup>103</sup>Nolte E. Op. cit. S. 35.

<sup>104</sup>Loth W. Die Teilung der Welt. München, 1980. S. 14

Второй – путь дальнейшего увязания в левацкой догматике, усиления мелепостей о “сговоре сверхдержав” и т.п.

Третий – путь практического возвращения к той манере “сбалансированной критики” обеих сторон – и Запада, и Востока – как якобы равновиновных (или равновинных) в развязывании “холодной войны”, которая уже была в зачатках своих характерна для умеренно консервативного “реализма”.

На практике в той или иной мере были реализованы все три пути.

*Первый путь* – по нему пошли как раз наиболее яркие и глубокие представители критического течения. Самый показательный пример – Г. Колко. Отдав значительную, а если верить некоторым аналитикам его творчества, самую значительную среди прочих “ревизионистов” дань ошибочным стереотипам о “сверхдержавной опеке” над Европой<sup>105</sup>, он во второй части своей дилогии, написанной в соавторстве с Дж. Колко, сумел пересмотреть свои взгляды в сторону большей объективности, изживания штампов антисоветизма. Если ранее он практически не усматривал принципиальной разницы в подходе СССР и западных держав к послевоенным проблемам, то затем он уже признает, например, что “советская стратегия в Восточной Германии была гораздо ближе к тому, чего желал немецкий народ и что было согласовано между союзниками, чем любая программа в западных зонах”<sup>106</sup>. Подобную же эволюцию проделал Б. Кэклик, избавившийся от многих антисоветских штампов, которые еще имелись в его первых статьях.

Особый случай представляет собой то течение в западногерманской историографии, которое обычно называют “марбургской школой” и гланой которого долгое время оставался В. Абендрот. Об этом течении много писалось<sup>107</sup>, но в основном о его концепции истории германского рабочего движения. Между тем выдвинутая историками этой школы (Э. Шмидт, Ф. Дeppe, Г.-Ю. Акст, Э.-У. Хустер, Г. Фюльберт, Ю. Харрер, А. Кюнль и др.) концепция “реставрации” в применении к истории послевоенной Западной Германии имеет прямое отношение к интересующей нас проблеме.

На первый взгляд речь идет о теме, далекой от международной: о возможностях, “шансах” на коренное преобразование социально-экономической структуры общества в западных оккупационных зонах и о том, почему такового не произошло. Однако этот вопрос, по существу, явился частью более общего: имелась ли в послевоенной Западной Европе возможность для широких демократических сил утвердить свою волю перед лицом тех сил, которые хотели возвращения к статус-кво? А это уже был вопрос и о возможности предотвращения “холодной войны” – тот воп-

<sup>105</sup>History and Theory. 1973. Vol. 12, N 1. P. 149.

<sup>106</sup>Kolko J., Kolko G. The Limits of Power. N.Y., 1972. P. 149.

Нам представляется, что К. Дрекслер недостаточно учитывает этот момент эволюции в творчестве виднейшего представителя “ревизионизма”. Ср.: Drechsler K. Op. cit. S. 362.

<sup>107</sup>См., например: Борозняк А.И. Прогрессивная историография ФРГ // Марксизм-ленинизм и развитие исторической науки в странах Западной Европы и Америки. М., 1985. Т. 2.

рос, который стал камнем преткновения для "ревизионистов" США. И характерно, что, базируясь на достижениях последних<sup>108</sup>, их западногерманские последователи пошли дальше, дав на указанный вопрос в принципе положительный ответ.

Далеко не во всем с ними можно согласиться: порой они переоценивали степень зрелости сознания западногерманских рабочих, порой недооценивали роль западных оккупационных властей, слишком акцентируя и абсолютизируя деятельность собственных монополистов и их приспешников (что, впрочем, можно было интерпретировать как реакцию на обычную трактовку немцев в качестве простых "объектов" политики союзников). Да и сам образ "реставрации" нес в себе некую неясность, как бы подразумевал до того наличие революции.

Однако в отличие даже от самых "жестких ревизионистов" (типа Г. Колко), которые говорили о "готовности" всей Европы к социалистической революции, чему-де помешал только "консерватизм" СССР, западногерманские их единомышленники таких выводов не делали, искали причины неудач демократических сил больше во внутренних факторах – и соответственно больше приближались к исторической истине. Таким образом, западногерманская историография, которую реакционные авторы обрекли на отсталость и эпигонство, благодаря творчеству историков "реставрации" сразу вышла на передовые позиции.

*Второй путь* – левацко-догматический. И здесь наиболее далеко зашли западногерманские авторы. Традиции "левизны" восходили там еще к деятельности тех "левых коммунистов", о которых писал В.И. Ленин, и не случайно, что примкнувший в конечном счете к их организации ренегат КПГ А. Тальгеймер стал, видимо, первым, кто после второй мировой войны начал проповедовать идеи о том, что союзническая оккупация Германии... помешала свершению там социалистической революции, что СССР выступил в "разоружении" ее вместе с западными державами и т.д. С одной стороны, Советский Союз упрекали за то, что его войска так далеко продвинулись на территорию Германии ("прорыв русских до Эльбы усилил контрреволюцию в Западной Германии", как глубокомысленно заявлялось в анонимной брошюре "Русские и мы", отличавшейся к тому же замаскированным восхвалением "миссии германского оружия"<sup>109</sup>). С другой – за то, что, остановившись на Эльбе, советские люди "поставили интересы своей национальной безопасности выше принципа пролетарского интернационализма"<sup>110</sup> (У. Шмидт, Т. Фихтер; их книга была издана в Западном Берлине). Наконец, "первый" (по счету В. Лота) "ревизионист" ФРГ Э. Криппендорф возглавил небольшую, но активную международную группу (с участием представителей Италии и Великобритании, с филиалами издательства в ФРГ и США), которая принялась выпускать одни за другим описи о внешней политике

<sup>108</sup> Такое идейное родство прямо признает один из историков этой школы, Г. Фюльберт. См.: *Blätter für deutsche und internationale Politik*. 1983. Н. 10. S. 1369.

<sup>109</sup> *Die Russen und Wir: Analyse und Dokumente*. Berlin [West], 1962.

<sup>110</sup> *Schmidt U., Fichter T. Der erzwungene Kapitalismus*. Berlin [West], 1972.

СССР с претензией чуть ли не на первое "марксистское" их освещение. На деле речь шла о типично леворевизионистских (ревизионизм в данном случае – без кавычек) попытках ее искажения<sup>111</sup>.

Разумеется, и авторов, пошедших по такому пути, нельзя всех стричь под одну гребенку. Левацкие элементы присутствуют, например, в книге Ю. Бруна<sup>112</sup>, отражающего взгляды определенных кругов СДПГ; но в раскрытии основной темы – экспансионизма США – автор проявляет и неплохую эрудицию, и уместный разоблачительный пафос. Порой к интересным результатам приводит сотрудничество левых и "ультрале-вых" историков и публицистов. Примером может служить популярное издание "Горячо и холодно. Годы 1945–1969", представляющее собой попытку создания истории послевоенного 25-летия для массового читателя (основное название как раз передает характер колебаний международного климата в тот период). Отдельные статьи этого коллективного труда написаны разными авторами из ФРГ и Западного Берлина<sup>113</sup>, они неравноценны по своему качеству и даже замыслу, но в целом – налицо доказательство, что "ревизионизм", неоднократно уже похороненный противниками, живет и при всех своих слабостях все же способен выдвигать "образ истории", альтернативный всем прочим течениям.

Наконец – третий путь. По нему пошли "умеренные", "мягкие" ревизионисты, встретившись на нем с новым течением немарксистской историографии – "постревизионизмом", к анализу которого мы и переходим.

### ИСТОРИКИ В ПОИСКАХ "БАЛАНСА": "ПОСТРЕВИЗИОНИЗМ"

"После того как сперва ответственность (за "холодную войну". – А.Ф.) односторонне возлагалась на СССР, а потом ревизионистами – на другую сторону, ныне американская научно-историческая мысль достигла уровня солидных и сбалансированных исследований" – так охарактеризовал в появившейся в 1978 г. книге новое течение французский историк А. Гроссер, приведя в качестве примеров монографии Дж. Гэддиса, Л. Дэвис, М. Шервина<sup>114</sup>. Спустя два года в качестве "теоретика" нового

<sup>111</sup> Критику см.: *Филитов А.М.* Современная буржуазная историография советской внешней политики // *Вопр. истории.* 1979. № 3. С. 29–30. См. также: *Sozioökonomische Bedingungen der sowjetischen Aussenpolitik* / Hg. E.Jahn. Frankfurt a/M., 1975; *Rothermundt R., Becker-Panitz H., Schmiederer U.* Die Sowjetunion und Europa. Gesellschaftsform und Aussenpolitik der UdSSR. Frankfurt a/M., N.Y., 1979; *Schmiederer U.* Die Aussenpolitik der Sowjetunion. Stuttgart etc., 1980.

<sup>112</sup> *Bruhn J.* Schlachtfeld Europa oder Amerika's letzte Gefecht. Gewalt und Wirtschaftsimperialismus in der US-Aussenpolitik seit 1840. Berlin [West], 1983.

<sup>113</sup> Ключевой раздел – о развитии Западной Германии "от Великогерманской империи к малой Америке" – написан "марбургцем" Г. Фюльбертом; целый ряд глав – об Италии, Франции, Греции – "леваками" и близкими к ним (Э. Криппендорф, Г.-И. Найер, С. Эндлих и др.). См.: *Heiss und Kalt: die Jahre 1945–1969.* Berlin [West], 1986.

<sup>114</sup> См.: *Grosser A.* Les Occidentaux: Les pays d'Europe et les Etats-Unis depuis la guerre. P., 1978, P. 79; *Gaddis J.L.* The United States and the Origins of the Cold War. N.Y., 1972; *Davis L.E.* The Cold War Begins: Soviet-American Confrontation over Eastern



течения выступил западногерманский историк В. Лот. Он уже широко использовал термин "постревизионизм" и очертил более широкий круг его приверженцев, добавив к нему из европейцев норвежского историка Г. Лундестада (и, разумеется, себя самого), а из американских – Дж. Херринга и Д. Ергина. Особо выделив творчество последнего, он тем самым высказал мнение (небезосновательное) о том, где искать "образец", наиболее полное и адекватное выражение нового подхода<sup>15</sup> (по справедливости эту характеристику можно было бы отнести и к его собственной книге<sup>16</sup>, хотя она и уступает монографии Д. Ергина по насыщенности новым источниковым материалом, представляя, по сути, историографическое обобщение предшествующих исследований).

Мы остановимся позднее на теоретических новациях "постревизионизма". Пока отметим такие моменты: в отличие от "ревизионистов", которых так называли их противники, представители нового течения сами себе придумали название и ничего против него не имели; течение это очень быстро стало международным и, более того, универсальным для немарксистской науки; время его генезиса и созревания – десятилетие 70-х годов (если датировать его начало книгой Дж. Гэддиса, как это обычно делается, то речь пойдет о 1972 г.).

Специфика нового направления не сразу нашла отражение в марксистской историографии. В появившейся в 1981 г. книге Н.И. Егоровой упоминаются и Д. Ергин, и Дж. Гэддис, но первый – очень бегло, а второй преподносится фактически как один из "ортодоксальных" авторов<sup>17</sup>. Имелась и иная точка зрения, в известном смысле противоположная. По мнению Г.А. Трофименко, посвятившего – вполне заслуженно – обширную статью разбору концепции Д. Ергина, она "находится в русле так называемой ревизионистской школы американской исторической науки"<sup>18</sup>. Автор этих строк назвал "типично ревизионистской" работу американского автора У. Ми о Потсдаме – на деле скорее типично "постревизионистскую"<sup>19</sup>. Кстати, в этих работах еще не встречается термин "постревизионизм".

Впервые и сам этот термин, и характеристика специфики выражаемого им историографического феномена появились в книге О.В. Степановой. Там

---

Europe. Princeton, 1974; *Sherwin M.J. A World Destroyed: The Atomic Bomb and the Grand Alliance*. N.Y., 1975.

<sup>15</sup> *Loth W.* Die Teilung der Welt. S. 19; *Lundestad G.* The American Non-Policy towards Eastern Europe 1943–1947. Trömse, 1975; *Herring G.C.* Aid to Russia 1941–1946: Strategy, Diplomacy, the Origins of the Cold War N.Y., 1973; *Yergin D.* Shattered World: The Origins of the Cold War and the National Security State. Boston, 1977.

<sup>16</sup> В короткий срок она выдержала четыре издания в серии "карманных книг", став одной из самых читаемых по данной тематике не только в ФРГ, но и во всей Западной Европе.

<sup>17</sup> *Егорова Н.И.* Указ. соч. С. 81–83.

<sup>18</sup> *Трофименко Г.А.* Американский подход к мирному сосуществованию с Советским Союзом (история и перспектива) // США: экономика, политика, идеология. 1978. № 6. С. 18.

<sup>19</sup> *Филитов А.М.* Современная буржуазная историография советской внешней политики // Вопр. истории. 1979. № 3. С. 28.

точно были названы его корифеи – Д. Ергин и Дж. Гэддис, отмечено их главное отличие от “ревизионистов”: те «никогда не делили ответственность за “холодную войну” поровну между США и СССР»; именно это делали представители нового направления. При этом не отрицалась генетическая связь между тем и другим: “постревизионисты” в ее интерпретации – это были те же “ревизионисты”, но уже “прирученные”, “инкорпорированные” в рамки официальной доктрины<sup>120</sup>.

К. Дрекслер тоже разделяет эту идею о “преемственности”, но приходит к выводу прямо противоположному. Он считает, что в 70-е годы направление “новых левых” (в его терминологии) исчезло, но представленные им концепции продолжают действовать, хотя и в “ослабленной форме”, в рамках того, что он называет “гибким направлением”. Это последнее (в нем объединяются не только Дж. Гэддис и Д. Ергин, но и “ортодоксы” А. Шлезингер и Л. Роуз) “средствами историографии поддерживает реалистическое крыло господствующих классов США в его борьбе против антизрядочных сил”<sup>121</sup>.

Наконец, автор этих строк, корректируя прежнюю свою точку зрения, выделил группу авторов (в их числе Дж. Гэддиса и Р. Леверинга) как “не относящихся к ревизионистам, но тем не менее пытающихся отойти от догматики”<sup>122</sup>. Это было близко к идее “гибкого направления”, как ее сформулировал К. Дрекслер, но в отличие от него – без идеи генетической связи его с “ревизионизмом”.

Примерно в таких же параметрах протекала дискуссия о новом течении в зарубежной историографии. Мнения высказывались весьма разные. “Ревизионисты” увидели уже в первых “постревизионистах” своих противников: именно к книге Дж. Гэддиса Б. Бернстайн отнес приведенную выше характеристику “первой *антиревизионистской* (выделено нами – А.Ф.) работы, основанной на архивных материалах”, и подверг ее резкой критике еще в 1976 г. С другой стороны, книги, положим, Д. Ергина или В. Лота со стороны “ортодоксов” однозначно характеризуются как “ревизионистские”. Формула, употребленная Б. Арчидиаконо для характеристики творчества Дж. Гэддиса и его последователей (“воспроизведение в миниатюре контрастов, имевших место раньше, а не их примирение, разрыв между душой неотрадиционалистов и разумом неоревизионистов”<sup>123</sup>), близко подходит к сути дела, но не отвечает на вопрос, что же все-таки является определяющим: “душа” или “разум”?

Думается, отмеченная противоречивость в оценках – следствие недостаточного дифференцированного анализа нового течения. Выражается это, во-первых, в подходе к нему как чему-то монолитному, без учета существенных различий во взглядах различных его представителей, а во-вторых, в подходе к нему как к простому продолжению (или

<sup>120</sup> Степанова О.В. Указ. соч. С. 8–9.

<sup>121</sup> Drechsler K. Op. cit. S. 366, 368, 374.

<sup>122</sup> См.: Ленинская политика мира и безопасности народов от XXV к XXVI съезду КПСС. М., 1982. С. 353.

<sup>123</sup> Relations internationales. 1986. N 47. P. 348.

отрицанию) предшествующих концепций – без учета специфики его как их комбинации и вместе с тем как чего-то принципиально нового.

Коснемся вначале первого момента. Если говорить о двух крупнейших фигурах "постревизионизма" – Дж. Гэддисе и Д. Ергине, то нетрудно заметить, что первый гораздо ближе к "ортодоксии", чем второй. Сам Д. Ергин в общем избегал прямой полемики с Дж. Гэддисом, особенно по принципиальным вопросам. В этом отношении его западногерманский поклонник В. Лот более принципиален и четок. Он пишет (уже не в книге, а в историографическом эссе): "В многоцветной палитре Гэддиса размыт вопрос об ответственности... Сознательно заостряя свою интерпретацию против ревизионистов, Гэддис даже высказывает ту мысль, что *большую* меру ответственности надо отнести за счет советского руководства, ибо оно в отличие от американского могло не обращать внимания на внутриполитические соображения при формулировании своей внешней политики – тезис, который абсолютно игнорирует фактор давления на советское руководство тех проблем, которые стояли перед ним в конце войны"<sup>124</sup>.

Собственная трактовка проблемы ответственности в книге В. Лота выглядит на первый взгляд неотличимой от того, что говорилось "ревизионистами": «Поворот 1945 г. был поворотом в американской политике, а не в советской... Американское правительство рассчитывало, что все конфликты могут быть решены только путем уступок с советской стороны... Советское же правительство вплоть до осени 1947 г. пыталось наладить отношения сотрудничества с США... В методах обеспечения советских интересов в Восточной Европе господствовали прагматизм и гибкость... Центральный для позиции "традиционных" историков тезис о принципиально неограниченном советском экспансионизме недоказуем... Тем, что американское правительство не признало де-факто советскую сферу безопасности и попыталось, хотя и тщетно, использовать атомное и экономическое превосходство для ревизии создавшегося в Восточной Европе положения, оно, и именно оно, запустило механизм... эскалации конфликта»<sup>125</sup>.

Наконец, весьма здравый подход В. Лот проявляет в трактовке проблемы, неизбежна ли была конфронтация, блоковое противостояние, словом, все, что связано с понятием "холодная война". Он отмечает: "Структурная противоположность двух мировых держав говорит лишь о том, что неминуемой должна была быть конкуренция и борьба между [представляемыми ими] системами, но это вовсе не говорит о том, что эта борьба должна была привести к созданию блоков".

Упрек в "сверхдетерминированном", или, точнее, фаталистическом, отношении к трактовке возникновения "холодной войны" обращается не только к правоконсервативному Э. Нольте, заявлявшему, что "холодная война" была настолько неизбежна, "насколько вообще может быть неизбежным историческое событие", но и к "ревизионистам". И это тоже верно. Неверна лишь характеристика такого фаталистического подхода

<sup>124</sup>Loth W. Der "Kalte Krieg" in der historischen Forschung. S. 169 (выделено нами – А.Ф.).

<sup>125</sup>Loth W. Die Teilung der Welt. S. 118.

как "основного тезиса" последних: можно считать это их основным *ошибочным тезисом*. Но этот ошибочный тезис действительно имел место и послужил одним из аргументов в пользу проведения параллелей между "правыми" и "левыми". Критика В. Лота здесь, повторим, вполне оправдана.

Процитированные нами фрагменты могут дать основания полагать, что "постревизионизм" (или, во всяком случае, та "левая" его разновидность, которая в данном случае представлена) не только не уступает "ревизионизму" в критике ортодоксальной мифологии, но и превосходит его в позитивном освещении альтернативных возможностей послевоенного развития. И однако, такой вывод был бы преждевременным. Дело в том, что приведенные цитаты далеко не исчерпывают концепции автора. Более того, вырванные из контекста, они дают о ней несколько однобокое представление.

Если же восстановить контекст, то обнаружатся следующие "оговорки": зловещий поворот в американской политике был все-таки следствием определенных черт политики *советской*, которая все-таки была "экспансионистской", хотя и "ограниченно"; зато никакого американского империализма *вовсе-де* не существовало и в природе; наконец, конфронтация, не будучи сама по себе неизбежной, уже к 1945 г. стала именно таковой – причем не из-за чьего-либо империализма или экспансионизма, а в силу "взаимных неверных оценок", да еще "иллюзий американского общественного мнения".

Получается парадоксальная картина: если прочесть в тексте одно, получится, что "холодную войну" развязали США, а ее можно было предотвратить; если другое – получится, что первопричиной конфронтации был Советский Союз и избежать ее было делом нереальным. Налицо элементарная эклектика.

Упрек в эклектизме сами "постревизионисты" в общем принимают. Вместе с тем этот недостаток, по их мнению, более чем искупается достоинствами, характерными для нового течения: во-первых, кардинально новая источниковая база, возникшая в результате начавшегося с начала 70-х годов процесса рассекречивания архивных фондов послевоенного времени в ведущих западных странах; во-вторых, появление новых, деидеологизированных "моделей", подходов к анализу событий международной жизни; в-третьих, антиэкстремизм, позиция, обеспечивающая "равноудаленность" от крайностей, возможность критики "на два фронта" – и против правых, и против леваков – и как результат популярность у самых широких кругов, которой не могли добиться ни "ортодоксы", ни "ревизионисты".

Довольно развернутая аргументация в плане доказательства этих достоинств содержится в историческом вступлении к монографии В.Лота – одного из первых теоретиков нового течения. Чувствуется, что данного автора весьма заделали те критические стрелы, которые направлялись в адрес "постревизионистов" слева – со стороны "ревизионистов" – и сводились к тезису, что "постревизионизм" – это "антиревизионизм", а значит, и ретроградное, антиразрядное течение (вспомним соответст-

вующее высказывание Б.Бернштейна, приведенное выше). Напротив, по Лоту, концепции его единомышленников – это продолжение "ревизионизма" в научном аспекте, а в политическом – порождение разрядки, ее ярчайшее воплощение и даже необходимая предпосылка развития. Вообще слово "разрядка" едва ли не самое часто встречающееся в упомянутой вводной главе его книги. В общем речь идет о том, чтобы не только выделить "постревизионизм" как новое и оригинальное явление в историографии (что справедливо), но и определить его как единственно и абсолютно адекватный инструмент исторического анализа "холодной войны" в условиях ее окончания (вот это, на наш взгляд, есть явное преувеличение). Разберем, впрочем, подробнее теоретическую аргументацию в пользу этого течения.

Начнем с первого аргумента, касающегося источниковой базы. Тот же В.Лот формулирует это так: "постревизионизм" – это "эмпирически насыщенный анализ вместо односторонней партийности". Такое противопоставление, если его понимать как подразумевающее, что до "постревизионистов" фактами никто особенно не интересовался, выглядит несколько обидно и несправедливо не только для "ревизионистов" типа Г.Колко или Б.Кэклика, но и для таких "реалистов", как Г.Фейс или У.Макнейл. Очевидно, речь идет о новых принципиально более благоприятных возможностях доступа к документам, которых ранее, до разрядки и, естественно, до наступления эры "постревизионизма" историки не имели и не могли иметь.

Но оправдан ли тезис об эре тотального рассекречивания? Если судить по внешней стороне дела, можно, пожалуй, прийти именно к такому выводу: в научном аппарате новейших работ западных авторов фигурируют ссылки даже на такие, казалось бы, сверхсекретные документы, как "меморандумы" руководства американской разведки и донесения агентов с мест, телеграммы, которыми обменивались руководители Пентагона со своими подчиненными, не говоря уже об обычной дипломатической переписке (доклады послов, директивы центра и т.д.). Но вот что написал по поводу положения историка в США У.Лафивер, отнюдь не самый бескомпромиссный из «ревизионистов»: «чиновники госдепартамента и Национального архива после десятилетия либерального подхода к проблеме допуска к документам все больше и больше суживают возможность использовать источники, относящиеся к недавнему прошлому . . . Некогда великолепная серия FRUS низведена до уровня, лишь ненамного превышающего уровень печально апологетических "белых книг", – ввиду изъятий и сокращений . . . производимых чиновниками из заграничной службы, которые не являются учеными, а порой и занимают позицию, направленную против интересов научного исследования»<sup>126</sup>.

Это написано примерно тогда же, когда обнародовал свое похвальное слово рассекречиванию В.Лот – о том же периоде и о той же стране, которую он ставил в пример. А вот написано по-иному и ближе к истине.

<sup>126</sup>Diplomatic History. 1981. Vol. 5, N 4. P. 364.

Может быть, У.Лафибер несколько преувеличивает достоинства ранних томов FRUS, но вряд ли можно отрицать, что тогда, когда западные правительства поворачивали в сторону разрядки, и имел место "либеральный подход к проблеме допуска", чем и воспользовались "ревизионисты". Наступление на разрядку и тем самым на "ревизионистов" положило этому конец. Н.Лот попросту проглядел этот простой факт.

Впрочем, даже и в лучшие времена западные историки отнюдь не имели сколь-нибудь открытого доступа к необходимым источникам. Вот с чем столкнулся американский же историк, кстати "постревизионист", Дж.Гимбел, попытавшийся "освоить" фонд Объединенного комитета начальников штабов США (ОКНШ), работая над книгой о роли армии в формировании внешнеполитического курса: "Исследователь не имеет никакого надежного способа определить, что исчезло из дел во время процесса рассекречивания. Он может, конечно, видеть карточки изъятия в открытых для него фондах. Но эти карточки содержат лишь краткие обозначения – типа номера и даты изъятого документа, да фамилии лица, осуществившего эту операцию. Имеется в виду, что изъятое в конце концов тоже будет рассекречено и возвращено в соответствующие фонды . . . Однако, насколько нам известно, такой работой никто не занимается. Во всяком случае, некоторые единицы хранения почищены довольно основательно . . . Если открытые ныне для исследования фонды ОКНШ использовать для того, чтобы узнать, что же это учреждение делало в 1945 – 1948 гг. . . . то можно прийти к выводу, что его аппарат посвящал основное время игре в теннис"<sup>127</sup>. Словом, то, что в отношении архивных процедур на Западе подавалось как операция "раскрытие", обернулось на деле операцией "изъятие". Пока такое изъятие не произведено, фонд остается закрытым, "приводится в порядок", как это официально называется (это относится не только к государственным, но и к личным архивам)<sup>128</sup>.

По сути дела, речь идет о целенаправленном препарировании источников, далеко не всегда, мягко говоря, облегчающем непредвзятый научный поиск. Это не значит, что материалы, полученные таким образом, не имеют никакой ценности. Просто к ним нужно относиться как к любым источникам; и задача их критики и интерпретации остается в принципе такой же, как при анализе мемуаров или прессы. Во всяком случае, какой бы гриф секретности ни стоял ранее на рассекреченном ныне документе, одно это не делает его автоматически аутентичным отражением исторического контекста и автоматически не повышает уровень основанного на нем исследования, как это утверждают "постревизионисты".

Что касается новых, деидеологизированных подходов, то для "постревизионизма" характерны четыре специфические "модели" объяснения

<sup>127</sup> *Gimbel J. The Origins of the Marshall Plan. Stanford, 1976. P. 284.*

<sup>128</sup> О довольно сложном положении с личными фондами Г. Гопкинса, С. Уэллеса, Дж. Маршалла рассказал на одной из международных конференций работавший в архивах США западногерманский историк П. Херде (*Kriegswende Dezember, 1941. Koblenz, 1984. S. 37*).

генезиса послевоенной конфронтации. Первая – “организационная”, или модель “бюрократической политики”; согласно ей, движущие силы курса на конфронтацию следует искать не в социально-политическом контексте, а в законах “бюрократии”. Вторая – модель “общественного мнения”: именно оно, а не политики сыграло решающую роль. Третья – модель “неверного восприятия”: не из-за чего-нибудь, а лишь в силу неправильных представлений друг о друге рассорились прежние союзники. Наконец, четвертая – “европеистская”, согласно которой импульс к “холодной войне” исходил не от СССР, и не от США, а от . . . “европейцев”.

“Постревизионисты” 70-х годов не были их первооткрывателями. Уже У.Макнейл в 1953 г., объясняя причины обострения отношений между союзниками, обращал внимание на антисоветизм как весьма яркую черту менталитета чиновников внешнеполитических ведомств Запада, он же ставил вопрос, что сыграло решающую роль: их “злая воля” или просто “невежество”. Как видим, это уже были подходы к “первой” и “третьей” моделям. На упоминавшейся конференции по “холодной войне” в 1967 г. американский международник Э.Мей кратко, но четко изложил основные положения “первой” и “второй” моделей, а французский историк Ж.Лалуа – “третьей” и “четвертой”.

Верно, однако, что в 50 – 60-е годы не эти “модели” играли главную роль. Ситуация изменилась с началом разрядки. Как именно? На этот вопрос достаточно точно ответил один из родоначальников нового течения Э.Мей. В 1973 г. вышла его методологическая работа, значение которой отнюдь не соответствовало ее скромному объему<sup>129</sup>. Там, в частности, говорилось: “Поворот в официальной американской позиции в отношении Советского Союза лишь в незначительной степени следует объяснять предрассудками лидеров США; в большей – событиями в Восточной и Центральной Европе и, видимо, еще в большей – тем ракурсом, в котором эти события описывались и интерпретировались американской бюрократией”<sup>130</sup>. Иначе говоря, ответственность за обострение советско-американских отношений несут меньше всего американские политики, побольше – советские (“события в Восточной и Центральной Европе” – это эвфемизм для понятия “экспорта революции”), но больше всего – американские *бюрократы* (в другом месте автор прямо отмечает, что информация о странах “за железным занавесом”, подаваемая “наверх”, была искажена в таком духе, чтобы вызвать конфронтационную реакцию<sup>131</sup>).

В духе сформулированного Э.Меем варианта критики *политики* (но не *политиков*) “холодной войны” выдержаны, пожалуй, наиболее яркие и интересные “постревизионистские” труды. Среди их авторов участники семинара Э.Мейя в Гарварде Л.Дэвис, Д.Ергин, М.Вейль, не связанные прямо с его школой, но писавшие в том же ключе Дж.Херринг, Л.Мартелл,

<sup>129</sup> May E. “Lessons” of the Past: The Use and Misuse of History in American Foreign Policy. N.Y., 1973.

<sup>130</sup> Ibid. P. 22.

<sup>131</sup> Ibid.

Лж.Гимбел, Г.Херкен (США), Б.Китчен (Канада), Г.Райан, Р.Фрейзер (Великобритания), И.-А.Нуайя (Франция), В.Лот, К.Клессман, М.Кнапп, Ф.Пингель (ФРГ), Ю.Невакиви (Финляндия) и многие другие.

Но это был не единственный вариант модели "бюрократической политики" (или "организационной модели", как ее можно называть, имея в виду, что основной ее постулат сводится к идее, что политику определяет организационная структура). Английский историк В.Ротуэлл, его коллега Ш.Гринвуд, французский историк Р.Пуадевен также исходят из противопоставления "политиков" и "бюрократов", но это уже противопоставление не жертв дезинформации и дезинформаторов, а прекраснодушных дилетантов и трезвых профессионалов; если последние "просвещали" своих государственных деятелей насчет "советской угрозы", то это не вина их, а заслуга!

Самые различные адреса и самую различную дозировку критики допускает и вторая "постревизионистская" модель. Иногда соотношение между общественным мнением и "холодной войной" подавалось как пример образцового функционирования демократии: народ-де не захотел мириться с советской политикой, политики всего лишь выполнили его волю (А. Шлезингер); иногда роль общественного мнения во внешней политике вообще сводилась к нулевой отметке (Т. Патерсон); иногда она получала скорее негативную оценку, причем определенная доля ответственности возлагалась и на политическое руководство – за то, что не смогло "просветить" общественность (Дж. Гэддис), или за то, что не только не желало просветить, а скорее пыталось, и не без успеха, затемнить ее сознание (Д. Ергин). Интересно, что в работах, специально посвященных влиянию общественного мнения на политику, выводы наименее вняты, наблюдается попытка "примирить" все точки зрения (Р. Леверинг).

Все обозначенные в скобках авторы – историки США. Это не означает, разумеется, что данная модель – американская монополия. Если говорить о первооткрывателях проблемы соотношения общественного мнения и политики, в частности международной, то их следует искать в Европе XVIII в.: это Руссо, Мирабо, Кант. В применении к международной политике нашего времени одним из создателей методологии и методики анализа этого соотношения (путем опросов) был французский историк Ж.-Б. Дюрозель<sup>132</sup>. Вместе с тем трудно отрицать, что в применении к исследованию истории "холодной войны" приоритет здесь принадлежит американским историкам, причем наибольшее число последователей привлекла субмодель, предложенная Дж. Гэддисом.

Примерно такое же положение и с третьей "постревизионистской" моделью. В общей форме проблема возникновения и роли неадекватных, искаженных образцов, стереотипов и предрассудков ставилась в европейской научной и общественной мысли еще со времен Бэкона, Вольтера и Шопенгауэра, однако в конкретном аспекте послевоенной внешней политики она впервые была поставлена американскими и английскими уче-

<sup>132</sup> Duroselle J.-B. De l'utilisation des sondages d'opinion en histoire et en science politique // *Insoc.* 1957. N 1. P. 1–66.



ными (причем не историками, а политологами) и наиболее глубоко исследовалась историками США (хотя, как упоминалось, впервые данная модель интерпретации "холодной войны" была представлена на Лондонской конференции 1967 года французским историком Ж. Лалуа).

Опять-таки данная модель существует в двух диаметрально противоположных вариантах. Согласно одному, западная сторона "сверхпрореагировала" на политику СССР и, наоборот, СССР "сверхпрореагировал" на политику Запада, в результате чего ситуация вышла из-под контроля и началась "холодная война", которой в принципе никто не хотел (наиболее яркий представитель этой точки зрения – американский советолог У. Таубман). Согласно другому, оба участника конфронтации упустили возможность "выиграть" в ней – причем скорее из-за того, что "недопрореагировали" на акции противника (эту точку зрения выражает, к примеру, другой американский советолог – А. Улам).

Четвертая "постревизионистская" модель наиболее активно разрабатывается западноевропейскими историками. Один ее вариант – плод развития того "атлантического европеизма", который проявился в высказываниях Ж. Лалуа и Д. Уотта на Лондонской конференции 1967 года, в монографиях А. Фонтена, Дж. Уилер-Беннета и А. Николлса, Э. Нольте (впрочем, у последнего "атлантизм" в значительной степени потеснен кондовым немецким национализмом).

Эта модель получила мощный импульс с выходом фундаментальных трудов английских историков А. Буллока<sup>133</sup> и Х. Томаса<sup>134</sup> (первый формально является завершением трехтомной биографии Э. Бевина, по сути же это первая основанная на первоисточниках история послевоенной внешней политики Великобритании; второй – это вводный том запланированной автором многотомной истории "холодной войны"; проект сам по себе уникален). Спецификой этих работ следует считать необычайно резкий тон критики в адрес США. Заокеанскому союзнику достается и за гегемонизм, и за шантаж по отношению к партнерам, и за лицемерие пропагандистской риторики. Некоторые пассажи из книги А. Буллока в этом плане весьма напоминают то, что писалось радикальными "ревизионистами" в 60-е годы. Однако направленность критики скорее близка к той, что была свойственна для "ревизионистов" начала 50-х; это критика за "медлительность", которую якобы проявили США в "отпоре" Советскому Союзу, за "колебания" в деле создания антисоветского блока.

Если говорить о книге Х. Томаса, то там можно найти уже явную параллель с маккартистским "ревизионизмом": это муссирование темы "советских агентов" в странах Запада и "недостатка бдительности" к советским козням со стороны достаточно высокопоставленных западных политиков. Если же не удастся обнаружить "советский след", то автор находит иной – "ирландский": по его мнению, лишь после того, как из трумэнновской команды ушли потомки ирландских эмигрантов типа Дж. Бирнса или У. Леги и возросло влияние безупречного по чистоте английской крови Д. Ачесона, только тогда Запад получил некоторые шансы на спасе-

<sup>133</sup> *Bullock A.* Ernest Bevin: Foreign Secretary 1945–1951. Oxford, 1985 (1st ed. – 1983).

<sup>134</sup> *Thomas H.* Armed Truce: The Beginnings of the Cold War, 1945–1946. L., 1986.

ние<sup>135</sup>. Если уж искать сравнения, то великобританский шовинизм Х. Томаса можно сопоставить разве что с великогерманским у Э. Нольте. "Европеизм" здесь явно деградирует до уровня самого низкопробного национализма.

Правда, это не единственное направление в рамках "европеистской" модели. Альтернативу демонстрирует, например, В. Лот. Его основной тезис состоит в том, что европейцы имели, но не использовали возможность остановить эскалацию напряженности в первые послевоенные годы (вообще говоря, это не единственный его тезис; он широко использует и другие "постревизионистские" модели, но оригинальность его как исследователя именно в нем). Содержание самого понятия "европейцы" у В. Лота весьма лабильно, меняется от одной трактовки к другой, но речь всегда идет о критике, а не апологии "жесткого курса".

В отличие от В. Лота его соотечественник Р. Штейнингер не колеблется в ответе на вопрос, кто должен нести стигму главного виновника – это канцлер ФРГ К. Аденауэр. В середине 80-х годов много шума наделала книга "Упущенный шанс", где Р. Штейнингер выдвинул сенсационный тезис, будто американцы были почти готовы принять компромиссные советские предложения по германскому вопросу 1952 года и лишь вмешательство Аденауэра предотвратило соглашение, которое могло бы обеспечить Европу без блоков и воссоединение Германии почти на 40 лет раньше, чем оно в действительности произошло<sup>136</sup>. Налицо яркое выражение "европеистской" модели, но диаметрально противоположное по выводам, чем то, что дают А. Буллок и Х. Томас, не говоря уже о том, что не англичане, а немцы оказываются главными актерами послевоенной драмы (собственно речь идет скорее об одном актере). Впрочем, и те, кто разделяет точку зрения о Великобритании как главном центре, где выработывался и откуда распространялся менталитет "холодной войны", во все не обязательно эту ее роль одобряют (например, американский историк Т. Андерсон).

Есть, наконец, и "промежуточные" варианты в данной модели. Их представляет, в частности, норвежский историк Г. Лундестад. Своеобразный "средний путь" между критикой США за "недостаток" воинственности (тезис правых "европеистов") и критикой в тот же адрес за ее избыток (тезис левых "ревизионистов") он нашел в суждении, что у США вообще не было *никакой* политики! Здесь, конечно, налицо такая же крайность, как и у тех, кто видит в американской политике лишь одномерность, лишь одну, всегда одинаковую, линию – либо на конфронтацию, либо против; но во всяком случае в той первой своей книге, где Г. Лундестад представил данную концепцию, он в общем стоит на позициях сторонника идеи альтернативности.

Эти позиции оказались существенно подорванными, когда Лундестад выдвинул новую концепцию – "империи по приглашению"<sup>137</sup>. Согласно

<sup>135</sup>Ibid. P. 547.

<sup>136</sup>Steininger R. Eine vertane Chance. Bonn, 1985.

<sup>137</sup>Lundestad G. Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945–1952 // Journal of Peace Research. 1986. Vol. 23. P. 263–277.

этой концепции, США после второй мировой войны установили что-то вроде протектората над Западной Европой, но не по своей воле, а по воле самих западноевропейцев. Таким ли "безвольным" было поведение американцев, таким ли "единодушным" желание западноевропейцев отдаваться под заокеанскую опеку, да и вообще применима ли "имперская модель" (метрополия – колонии) к отношениям между США и странам Западной Европы даже в разгар "холодной войны" – это лишь некоторые вопросы, которые возникают в связи с этой концепцией и на которые Г. Лундстад, по нашему мнению, не дает достаточно убедительного ответа.

Впрочем, более подробно мы рассмотрим "постревизионистские" модели, и аргументы их сторонников, и мнения критиков позднее. Пока же констатируем после первого знакомства с ними, что, во-первых, они не столь уж новы, а во-вторых, весьма противоречивы – и в научном, и в идеологическом плане. Это еще далеко не вершина историографии, а лишь этап в ее развитии.

Наконец, относительно сбалансированности и равноудаленности от правых и левых крайностей как признаках "постревизионизма". Прежде всего хотелось бы отметить, что, считая такие характеристики этого течения слишком амбициозными, следует отвергнуть и обратное суждение, к сожалению бытующее среди его радикальных критиков: что оно является простым возвратом к ортодоксии, отступлением от высот, достигнутых "ревизионистами", однозначным выражением сдвига вправо. Такое представление грешит огульностью подхода. Можно понять Б. Бернштейна, когда он резко критиковал "постревизионизм" в середине 70-х годов: тогда еще не появились книги ни Д. Ергина, ни В. Лота. Можно понять и "марбургца" Г. Фюльберта, когда он в 1983 г. отозвался о "постревизионистах" как представителях "просвещенного консерватизма"<sup>138</sup>. Во-первых, за некоторыми исключениями он имел в виду действительно весьма консервативных, если не прямо правозэкстремистских историков (типа, например, А. Хильгрубера), а во-вторых, сама эта формула была достаточно гибкой. Все зависело от того, где ставить ударение – на существительном или на прилагательном. Гораздо труднее понять и принять тезис Н. Марковица, когда он определил весь "постревизионизм" как, по существу, воплощение идеологии "новой холодной войны"<sup>139</sup>.

Но и там, где на вооружение берется дифференцирующий подход, результат получается не всегда удовлетворительный. Так, например, уже известный нам Г. Лундстад в опубликованном в 1989 г. историографическом эссе разделил "постревизионистов" на две группы: для одной характерны "морализм, презентизм, приверженность идее национальной исключительности и провинциализм", а другая, как следует из его классификации, этих пороков лишена; первая группа – это американские историки, вторая – европейские<sup>140</sup>. Но здесь ли проходит линия раздела?

<sup>138</sup>Blätter für deutsche und internationale Politik. 1983. H. 10. S. 1369.

<sup>139</sup>American Historical Review. 1985. Febr. Vol. 90, N 1. P. 516.

<sup>140</sup>Lundstad G. Moralism, Presentism, Exceptionalism, Provincialism and Other Extravagancies in American Writing on the Early Cold War Years // Diplomatic History. 1989. Vol. 13, N 4. P. 527–546.

Эсе-таки начало националистической волне положила книга немца Э. Нольте, а с критикой ее выступили не только его соотечественники Т. Нитхаммер и В. Лот, не только француз А. Гроссер, но и один из ведущих американских "постревизионистов" (кстати, еще один участник гарвардского семинара Э.Мея) – Ч.Майер<sup>41</sup>. Националистические выпады К. Томаса (ныне уже лорда Томаса) получили достойную отповедь со стороны американского историка Ф. Харбэтта<sup>42</sup>. В тех случаях, когда в США наблюдается ренессанс примитивной ортодоксии, это находит аргументированный отпор и со стороны самих американских историков (к примеру, книга У. Таубмена о "сталинской политике" в период второй мировой войны и первые послевоенные годы, вышедшая в 1982 г., представляет собой критический ответ на опубликованную тремя годами раньше книгу Э. Мастны; его исторический обзор, помещенный в "Проблемс оф коммунизм", есть уничтожающий удар по "ультра" Р. Пайпсу и Э. Бжезинскому<sup>43</sup>).

Приведенные примеры, показывая, что водораздел проходит не по линии США–Европа, свидетельствуют скорее о противостоянии между правыми "ортодоксами" и основной массой ("центром") приверженцев "постревизионизма" вне зависимости от национальности.

Как же складываются отношения "центра" с теми, кого можно считать продолжателями радикально-критического крыла? Нельзя сказать, что в 70–80-е годы, которые можно считать "эрой постревизионизма", оно исчезло. Сформировались, напротив, новые направления критики. Назовем то крайней мере три сюжета, которые в последние годы стали предметом такого критического внимания: "атомная дипломатия" (Г. Херкен, Д. Розенберг, Б. Бернстайн, М. Трахтенберг в США, Б. Грайнер, Ю. Брун в ФРГ и др.); "тайная холодная война" (под этим названием английский историк Т. Барнс опубликовал исследование, в котором впервые на основе рассекреченных архивов американских спецслужб была проанализирована их деятельность в Европе в первые послевоенные годы; аналогичные сюжеты отражены в коллективном труде под редакцией западногерманского историка Х. Ладемахера, в эссе американского автора Ф. Дженкина, опубликованном в английском журнале, и ряде других публикаций<sup>44</sup>); наконец, пропагандистская война против СССР (стандартную ригорику о "советских нарушениях" союзнических соглашений вслед за упоминавшимися выше У. Лафибером и А. Теохарисом подвергли критике американские историки У. Кимбалл, Э. Марк и в наиболее острой фор-

<sup>41</sup>Historische Zeitschrift, 1975. Okt. Bd. 221; Loth W. Die Teilung der Welt; Grosser A. Les Occidentaux... P. 80; Central European History. 1978. Dec. Vol. 11, N 4.

<sup>42</sup>Harbutt F. Cold War Origins: An Anglo-Soviet Perspective // Diplomatic History. 1989. Vol. 13, N 1. P. 123–133.

<sup>43</sup>Taubman W. Stalin's American Policy: From Entente to Detente to the Cold War. N.Y., 1982; Idem. Sources of Soviet Foreign Conduct // Problems of Communism. 1986. Sept.-Okt. Vol. 35, N 5.

<sup>44</sup>Barnes T. The Secret Cold War // Historical Journal. 1981. Vol. 24, N 2–3; Gewerkschaften in Ost-West Konflikt / Hrsg. H. Lademacher. Melsungen, 1983; Jenkins Ph. Policing the Cold War: the Emergence of New Police Structures in Europe, 1946–1953 // Historical Journal. 1988. Vol. 31, N 1.

ме – М. Леффлер<sup>145</sup>, а тезисы о советской "военной угрозе" – английские историки, кстати далеко не левой ориентации, М. Бальфур и М. Говард; этот список можно легко расширить).

Отметим в качестве выдающегося образца научно-критического подхода монографию Л. Уитнера о разработке и практическом осуществлении "доктрины Трумэна". Ему же принадлежит и ценная монография о движении за мир в США – этот фактор относится к числу "забытых", когда речь идет о послевоенном периоде и возможных его мирных альтернативах<sup>146</sup>.

Такие историки, как В. Отт (ФРГ) и М. Леффлер (США), представили новые интерпретации "плана Маршалла", далекие как от ортодоксальной апологетики, так и от характерного для некоторых "ревизионистов" стиля "разоблачительства", заимствованного из коминформовской риторики.

Критическое направление сумело отстаивать свое право на существование. Но сумело ли оно нейтрализовать "консервативную волну", сыграл ли "центр" ту "балансирующую" роль, которая представляется как одно из основных достоинств "постревизионистского" подхода? Ответ, видимо, будет отрицательным.

Основной канал влияния того или иного направления на читателя – это все же не статьи в журналах или сборниках узкопрофессиональной ориентации (здесь "критики" еще имеют определенную нишу), а книги – как обобщающего характера, так и научно-популяризаторские. Вот тут-то позиции "критиков" значительно слабее<sup>147</sup>. Что касается серьезных попыток "центристского" синтеза, то можно назвать лишь монографию В. Лота, вышедшую в 1980 г., да совместную работу двух канадских историков Л. Аронсена и М. Китчена<sup>148</sup>, которая характерна явными уступками "ортодоксии", а по эклектичности превосходит тоже эклектичную концепцию западногерманского автора – тенденция не из лучших. Что же касается исторической литературы по "холодной войне", рассчитанной на массовую аудиторию, то здесь царит монополия "ортодоксии". Типичны компиляции вроде той, что представил английский историк-популяризатор

<sup>145</sup>Kimball W. *Naked Reverse Right: Roosevelt, Churchill and Eastern Europe from TOLSTOY to Yalta and a Little Beyond* // *Diplomatic History*. 1985. Vol. 9, N 1. P. 1–24; Mark E. *American Policy Toward Eastern Europe and the Origins of the Cold War, 1941–1946: An Alternative Interpretation* // *Journal of American History*. 1981. Sept. Vol. 68; Leffler M. *Adherence to Agreements. Yalta and the Experiences of the Early Cold War* // *International Security*. 1986. Vol. 11, N 1. P. 88–123.

<sup>146</sup>Wittner L. *American Intervention in Greece, 1943–1949*. N.Y., 1982; *Idem*. *Rebels Against War. The American Peace Movement, 1933–1983*. Philadelphia, 1984.

<sup>147</sup>Л. Уитнер, продолжатель радикальной традиции в американской историографии, отмечая известный "застой", "истощение" в историографии "холодной войны", видит выход в том, чтобы перейти от "макрокосма" к "микрокосму", т.е. от широкомасштабных фундаментальных трудов к изучению отдельных эпизодов, "case studies". Его работа как раз хороший пример такого "case study", но целесообразно ли откладывать обобщения на "потом", как предлагает этот историк? См.: Wittner L. *American Intervention...* P. IX.

<sup>148</sup>Aronsen L., Kitchen M. *The Origins of the Cold War in Comparative Perspective: American, British and Canadian Relations with the Soviet Union, 1941–1948*. L., 1988.

Р. Мейн<sup>149</sup>, или той, что опубликовал в западногерманском издательстве, специализирующемся на выпуске учебников, швейцарский профессор К. Шпильман<sup>150</sup>.

Кстати, и в сфере научной периодики позиции "критиков" не всегда и не везде можно считать прочными. Более или менее благоприятные возможности для столкновения мнений, в том числе и далеких от "ортодоксальности", имеются в США (особенно на страницах сравнительно новых изданий, таких, как "Интернэшнл секьюрети" или "Дипломатик истори") и в Великобритании (особенно в "Хисторикал джорнэл"). В ФРГ же, например, даже робкая попытка "диссента" сулит "преступившему грань" обвинение чуть ли не в профессиональной непригодности. Был там крайне редкий случай, когда историки, стоящие на левых позициях, получили возможность по дискутировать "на равных" с коллегами, придерживающимися иных взглядов, но изложение этой дискуссии дошло до читателя с запозданием на 10 лет (!)<sup>151</sup>. Беглый взгляд на французские исторические журналы позволяет обнаружить другой метод обращения с "диссентом": его тщательное "дозирование"; о том, какова эта "доза", определенное представление может дать такой факт: в материалах журнала "Реласьон энтернасьональ", посвященных истории "холодной войны", из представленных там авторов лишь И.-А. Нуайя может быть отнесен к умеренным критикам западной политики "холодной войны", остальные же склоняются к "ортодоксии".

Своеобразным индикатором тенденций в западной историографии "холодной войны" может служить и тот факт, что целый ряд корифеев критического направления как из числа "ревизионистов" типа Колко, так и из числа "постревизионистов" типа Ергина в последнее время отошли от активной исследовательской деятельности по этой тематике. Есть и более парадоксальные примеры: некоторые из самых ультралевых "ревизионистов" типа Д. Горовица оказались ныне в рядах крайне правых. Наконец, и самые последовательные из числа радикальных критиков считают целесообразным как-то "разбавить" свою концепцию отдельными "поклона-

<sup>149</sup>Maune R. Postwar: The Dawn of Today's Europe. L., 1983. Подзаголовок "Рассвет современной Европы" свидетельствует, что автор оценивает "холодную войну" в почти романтических тонах.

<sup>150</sup>Spillman K. Agressive USA? Amerikanische Sicherheitspolitik 1945-1985. Stuttgart, 1985. Само название ("США - агрессор?") дает основание расценить этот опус как некий "контрпропагандистский" памфлет в защиту американской невинности. Содержание - соответствующее.

<sup>151</sup>Речь идет о публикации в 1986 г. материалов состоявшейся в 1977 г. в Эссене конференции на тему "План Маршалла и европейские левые". В ней приняли участие такие "звезды" школы "постревизионизма", как Дж. Гимбел, Ч. Майер (США), Г. Лундстад (Норвегия), Л. Нитхаммер, В. Лот, М. Кнапп (ФРГ), а также несколько историков-"марбургцев": Э. Шмидт, Г.-Ю. Акст, Ф. Дeppe, Г. Кайзер. Долгое время для сборника материалов конференции не удавалось найти издателя; в конечном счете публикация стала возможной благодаря поддержке профсоюзов ФРГ. Как видим, "гласность" была проблемой и для Запада; то, что в данном конкретном случае решение было наконец найдено, - факт обнадеживающий. См.: Der Marshall-Plan und die europäische Linke / Hrsg. von O.-N. Haberl und L. Niethammer. Frankfurt a/M., 1986.

ми” в адрес ”ортодоксии” или по крайней мере имитациями таких ”поклонов”<sup>152</sup>.

Однако главный тревожный симптом – даже не столько в ”притуплении” критики, сколько в ее недифференцированности. В послевоенном мире имелись, с одной стороны, силы, заинтересованные в ухудшении международного климата и добившиеся этого; с другой – силы, потенциально способные воспрепятствовать этому, но не сумевшие реализовать этот потенциал; критиковать можно и тех, и других, но за разное и по-разному. Если же, например, по описанию Л. Аронсена и Б. Китчена, все так было монотонно беспросветно (либо цинизм, либо глупость) и в США, и в Великобритании, и в Канаде, не говоря уже о ”Востоке”, то теряет всякую убедительность вполне корректный тезис авторов о том, что ”холодная война не была неизбежной и она всерьез началась не ранее 1948 г.”<sup>153</sup>. Кто же, спрашивается, мог ее предотвратить или даже задержать<sup>154</sup>?

Впрочем, еще сильнее идея альтернативности подрывается теми, кто представляет консервативно ”центристское” направление в ”постревизионизме”. Сграничимся лишь примером творческой эволюции бесспорного лидера среди американских специалистов по истории ”холодной войны” (и бесспорно, ”центриста”) Дж. Гэддиса. В его эволюции есть и позитивные моменты. Этот историк не оказался ни ослепленным похвалами, ни глухим к критическим замечаниям, которые вызвала его первая книга 1972 г., ставшая своего рода ”библией” школы ”постревизионизма”. Довольно быстро он пересмотрел свою точку зрения на завершающий момент в генезисе конфронтации: в книге он ставил точку на 1947 г., а через два года передвинул ее на 1950 г. (как отмечалось выше, тенденция была верная, хотя и гипертрофированная). Довольно быстро он отошел от преимущественной ориентации на тему ”иллюзий американского общественного мнения” как главной причины курса на конфронтацию; теперь он уже оперирует всеми четырьмя ”постревизионистскими” моделями, что, конечно, придает его методике большую гибкость. Его упрекали в игнорировании ”ядерного фактора” в послевоенных международных делах

<sup>152</sup> Вот как ”сбалансированно” характеризует свою книгу об американской интервенции в Греции Л. Уитнер: «...она в принципе подкрепляет точку зрения ”ревизионистов”, ибо в ней фиксируется, что американские лидеры вели политику ”открытых дверей”, а амбиции советской дипломатии были ограничены. Однако некоторые ее выводы могут удовлетворить и тех, кто придерживается традиционного подхода, поскольку в ней показывается, что в Вашингтоне искренне боялись экспансии советской мощи, искренне считали греческих левых советскими ставленниками и мало интересовались экономической эксплуатацией Греции». На наш взгляд, материал книги свидетельствует о чем угодно, только не о американской ”искренности”, и если одним из результатов интервенции была ”экономическая зависимость” Греции, то не есть ли это предпосылка для эксплуатации? См.: Wittner L. Op. cit. P. XI, 191.

<sup>153</sup> Aronsen L., Kitchen M. Op. cit. P. 211.

<sup>154</sup> К такой же манере критики эволюционировал крупный американский историк Т. Патерсон. Касаясь этой эволюции, Г. Лундестад справедливо отмечает, что она привела к полной ”обтекаемости” его выводов и оценок, в результате чего он оказался в ”мертвой точке” дебатов о ”холодной войне”. См.: Lundestad G. Moralism... P. 532; Paterson Th. On Every Front. N.Y., 1979.

(тот же Б. Бернштейн<sup>155</sup>) – и вот в последней своей книге Дж. Гэддис посвящает специальную главу этому сюжету: лучше поздно, чем никогда<sup>156</sup>.

Можно отметить как достоинство этого исследователя и свойственное ему завидное чутье на новое в науке. Так, тема "тайной холодной войны" была открыта не им, но именно ему принадлежит первая попытка ее теоретического осмысления<sup>157</sup>. Наконец, в тех нередких случаях, когда он сам выступает в качестве критика, ему чужд тот стиль "разносов", которые можно встретить, как мы видели, положим, в ФРГ.

Но есть и обратная сторона медали. Чуткая реакция Гэддиса на новое и на аргументы оппонентов – это реакция поиска новых аргументов и новых тем для отстаивания своих принципиальных установок, но не для пересмотра их. Его критика – почти исключительно против тех, кто "слепа" (впрочем, и его критикуют с той стороны), никогда – против тех, кто "справа" (последние даже порой фигурируют как союзники, например, В. Мастны). Что же и как он критикует?

В последнее время Гэддис активно выступает, например, против тезиса о "моральной эквивалентности" вовлеченных в "холодную войну" сил. Если иметь в виду тот недифференцированный подход, который мы отмечали выше, например у Л. Китчена и Л. Аронсена, то эту критику можно было бы считать оправданной. Но когда Дж. Гэддис конкретизирует свою точку зрения в тезисе "трумэнизм лучше сталинизма", то, во-первых, это возвращение к той трактовке "хорошие парни против плохих парней", против которой он сам выступал, а, во-вторых, это весьма узкая и дезориентирующая трактовка альтернатив политике конфронтации: она была выгодна, хотя и по разным мотивам, и Трумэну, и Сталину, но только ли в них было дело?

Впрочем, для Дж. Гэддиса лучшей альтернативы "холодной войне" вообще не существует – в этом самая основа и, с нашей точки зрения, самый серьезный недостаток его концепции. В самом деле, из той в общем тривиальной мысли, что "горячая война" – это хуже, чем "холодная", он сделал, на наш взгляд, некорректный вывод, будто "холодная война" стала чуть ли не благом для человечества. Во всяком случае, его книга по истории "холодной войны" носит название "Долгий мир", а в описании отдельных эпизодов здесь преобладают прямо-таки элегические мотивы.

Может, здесь идет речь о личной эскападе, своеобразном курьезе? По всей вероятности, нет. Вот некоторые типичные высказывания американских участников состоявшегося в июне–июле 1990 г. совместного семинара историков СССР и США по истории "холодной войны": "холодная война" началась с первых лет советской власти и является подлинным достижением западного дипломатического искусства; советский экспансионизм оказался нейтрализованным без ядерной войны (Р. Пайпс); со-

<sup>155</sup>Bernstein B. Les Etats-Unis... P. 59, 62–63.

<sup>156</sup>Gaddis J. The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War. N.Y., 1987. P. 104–146.

<sup>157</sup>Gaddis J. Intelligence, Espionage and Cold War Origins // Diplomatic History. 1989. Vol. 13, N 2.



ветские историки не вправе ожидать какой-то самокритики от своих американских коллег (Ф. Фукуяма); атомная бомба – вот что спасло мир после второй мировой войны, и ей следовало бы присудить Нобелевскую премию мира (Э. Росту, А. Шлезингер). Среди американской делегации только М. Леффлер выступил с призывом более сбалансированно подходить к истории “холодной войны”.

Ностальгия по годам “холодной войны” еще раньше проявилась в ФРГ<sup>158</sup>, признаки ее можно было обнаружить и в Великобритании, и во Франции.

Двадцать с лишним лет тому назад нечто подобное уже было: вспомним, как на первой международной конференции по истории “холодной войны” в Лондоне в 1967 г. американский историк П. Сибери, исходя из идеи “вакуума”, возникающего-де после войны, славословил блоковое противостояние. Тогда это был последний всплеск идеологизированной ортодоксии перед началом разрядки<sup>159</sup>. Можно надеяться, что и ныне речь идет об аналогичном арьергардном сражении. В нынешних условиях перспективы для идеологизации подходов к истории “холодной войны” еще менее благоприятны, чем 20 лет назад, когда “холодную войну” удалось лишь потеснить, но не преодолеть полностью. В этой связи можно надеяться, что не эти подходы будут определять лицо историографии и характер историографических дебатов.

Современная западная историография “холодной войны” представляет собой сложную картину, отражающую конфликт между новым, порой лишь нарождающимся в обстановке демонтажа мифов эры конфронтации, и старым, отживающим, тем, что воплощало и все еще воплощает эти мифы. Наш анализ имеющихся концепций мы начнем с тех из них, которые связаны с этим старым, с концепций, выводящих послевоенное обострение международных отношений из противоположности идеологий и традиций Востока и Запада либо из необходимости борьбы со сталинизмом (проблема роли сталинизма в “холодной войне” заслуживает особого внимания, ибо она не только активно использовалась правоортодоксальными историками, но и стала камнем преткновения для леворадикальных их оппонентов, немало поспособствовав кризису “ревизионизма”). Этот анализ станет предметом второй главы монографии. Третья глава будет посвящена тем “постревизионистским” моделям, которые отражают поиски западными историками новых, модернизированных подходов к изучению причин и характера послевоенной конфронтации. Впрочем, как увидит читатель, борьба передового с ретроградным идет в рамках каждой из тех концепций, что нам предстоит рассмотреть.

<sup>158</sup>Во всяком случае, близкий к ХДС еженедельник “Рейнише меркур” в период острой идейной конфронтации на западногерманской политической сцене, когда левые силы предупреждали о возможности возврата к временам “холодной войны”, ответил тезисом об “оклеветанных пятидесятых” – мол, ничего такого плохого в эти годы не было. Спрашивается, а как же с расколом Германии? См.: Rheinische Merkur. 1983. 4. März.

<sup>159</sup>Кстати, и манера недифференцированной, огульной “сверхкритики” тоже ярко проявилась тогда, в историографических дискуссиях 20-летней давности.

## ТРАДИЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ": АРГУМЕНТЫ И КОНТРАРГУМЕНТЫ

### "ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ" ИНТЕРПРЕТАЦИИ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"

22 февраля 1946 г. советник посольства США в Москве Дж. Кеннан направил в госдепартамент так называемую "длинную телеграмму", которую можно считать не только первым обоснованием политики "сдерживания", но и первой исторической интерпретацией причин будущей "холодной войны". Суть этой интерпретации, как и всей "длинной телеграммы", вполне передает одна-единственная содержащаяся в ней фраза: "Мы имеем дело с политической силой, которая фанатически привержена идее, что не может быть никакого длительногоmodus vivendi с Америкой, что для обеспечения безопасности Советской власти желательно и необходимо разрушить внутреннюю гармонию нашего общества, наш традиционный образ жизни и международный авторитет нашего государства"<sup>1</sup>. Словом, конфронтация неизбежна, поскольку советская идеология предусматривает подрыв и уничтожение противоположной системы, и столь же естественно, что в этой конфронтации СССР – агрессор, а США – сторона обороняющаяся.

Идеи, аналогичные идеям "длинной телеграммы", вскоре, 5 марта 1946 г., сделал достоянием общественности У. Черчилль в фултонской речи. По своим практическим рекомендациям она носила еще более экстремистский характер, чем телеграмма Кеннана. Выше уже отмечалось, что в последующей деятельности практического политика Черчилль сам дезавуировал свою установку 1946 г. Однако он так и не решился публично признать некорректность своих тогдашних рассуждений о "советской угрозе".

Честнее поступил Дж. Кеннан: в мемуарах с дистанции в 20 лет он так отозвался о своей депеше, некогда посланной из посольства в Москве: «Я перечитываю ее с чувством ужаса и изумления. Многое в ней выглядит вроде тех прокламаций, которые выпускают перепуганные сенатские комиссии или "Дочери американской революции" (крайне консервативная женская организация в США. – А.Ф.) с целью пробудить бдительность граждан перед лицом опасностей коммунистического заговора»<sup>2</sup>.

Казалось бы, все ясно: историография как наука и Кеннан – ее пред-

<sup>1</sup> Foreign Policy of the United States (далее: FRUS). Wash., 1946. Vol. 6. P. 705.

<sup>2</sup> Kennan G.F. Memoirs. Boston, 1967. Vol. 1. P. 294.

ставитель – отвергли версию политизированной риторики, версию Кеннана – политика “холодной войны”.

Примерно в то же время, когда появились мемуары Кеннана с этим знаменательным признанием, прошла одна из первых дискуссий-диалогов по поводу причин “холодной войны”. “Ортодоксов” представлял американский историк П. Сибири, их противников – английский историк Б. Томас. Выводы последнего были вполне определены: «. . . глупо говорить о советских доктринах революции и сосуществования как первопричинах холодной войны. . . книги на тему “советского генерального плана” (агрессии и экспансии. – А.Ф.), которые сочинялись популяризаторами “коммунистической угрозы” в кризисные моменты холодной войны, ныне почти перестали появляться»<sup>3</sup>. Это вроде бы стало эпитафией на могиле “идеологической модели”. Тем более что и сам П. Сибири в появившейся тогда же его книге по “холодной войне” посчитал за лучшее отмежеваться от ортодоксальной однозначности в пользу уклончивого агностицизма: “происхождение ее столь же темно, сколь и происхождение самого ее названия”<sup>4</sup>.

Минуло еще 20 лет, и оказалось, что прогнозы насчет того, будто идеи “длинной телеграммы” – дело прошлого, были слишком оптимистическими. “Покаяние” Кеннана стало поводом для обвинений в его адрес за “отступничество” не только от своей собственной “славы”, но и от дела демократии и даже от стандартов научного исследования. Так, во всяком случае, охарактеризовали его идейную эволюцию в органе американских неоконсерваторов, причем одним из обличителей выступил тот же самый П. Сибири, который еще в конце 60-х годов поначалу занимал “ортодоксальные” позиции, а затем несколько сдвинулся с них или по крайней мере заколебался (с этой точки зрения ему можно было бы покритиковать и самого себя – за проявленную “нестойкость”)<sup>5</sup>. Тревожный набат по поводу “нестойкости” (перед натиском “советской пропаганды”) и “отречения” (от догм антикоммунизма) был подхвачен и в Западной Европе. Цюрихский профессор К. Шпильман назидательно разъяснил своим читателям: “Поскольку коммунистическая сторона, по ее собственному признанию, преследует цель победы собственной философии в мировом масштабе и мирового господства (?), любые (!) американские акции политической и военной помощи за рубежами своей страны должны рассматриваться как оборонительные (!)”<sup>6</sup>. Можно счесть это прос-

<sup>3</sup>Thomas B. Gold War Origins II//Jornal of Contemporary History. 1968. Vol.3, N1. P. 197.

<sup>4</sup>Seabury P. The Rise and Decline of the Cold War. N.Y., 1967. P. 5. В английском журнале, органе архиконсервативного Королевского института международных отношений, была дана еще более “острая” формулировка: «Для нас всех характерна предвзятость, которая заключается в принятии недоказанной посылки, что “холодную войну” следует считать следствием действий и поступков советской стороны. Это всегда полагается само собой разумеющимся и не требующим доказательств» (International Affairs. 1968. Jan. Vol. 44, N 1. P. 80).

<sup>5</sup>Seabury P., Glynn P. Kennan: the Historian as Fatalist // The National Interest. 1986. Winter. P. 97–111.

<sup>6</sup>Spillman K. Agressive USA? Amerikanische Sicherheitspolitik 1945–1985. Stuttgart, 1985. S. 219.

тым плагиатом у Кеннана 1946–1947 гг., но это было бы, пожалуй, не вполне справедливо: даже тогда последний не считал оправданными *любые американские акции*.

В сфере историографии "холодной войны" ренессанс примитивной ортодоксии, как уже указывалось, можно датировать с появления в 1974 г. книги Э. Нольте. Ее особым достоинством сам автор назвал то, что в ней-де больше ссылок на классиков марксизма-ленинизма, чем в какой-либо иной работе немарксиста<sup>7</sup>. Возможно, это и так, но одно дело – ссылки, другое – добросовестный анализ. По утверждению Э. Нольте, в трудах В.И. Ленина отсутствует идея о мирном сосуществовании двух систем – только якобы однажды там встречается слово "сожительство", и то «имелось в виду лишь "сожительство народов" после того, как они станут коммунистическими (?)»<sup>8</sup>.

В действительности же В.И. Ленин ничего не говорил о "коммунистических народах" – это Э. Нольте придумал. К тому же он умолчал о том, что уже первый документ Советской власти – Декрет о мире – был адресован и народам, и правительствам, и В.И. Ленин специально разъяснял необходимость такого "двойного адреса"<sup>9</sup>. Даже обращаясь к кайзеровскому правительству Германии, занимавшему, мягко говоря, недружественную позицию по отношению к молодой Советской Республике, Советское правительство в ноте, относящейся к сентябрю 1918 г., выдвигало программу "соблюдения добрососедских отношений и мирного сожительства"<sup>10</sup>. В сентябре 1919 г., в разгар антисоветской интервенции, руководитель Советского государства говорил о периоде, "когда будут существовать рядом социалистические и капиталистические страны", причем рассматривал как реальную и желательную возможность "привлечения к России технической помощи более передовых в этом отношении стран"<sup>11</sup>. Наконец, есть в произведениях В.И. Ленина и прямая формула о "сожительстве с капиталистическими странами"<sup>12</sup>.

Можно было бы объяснить продемонстрированный Э. Нольте подход к трактовке идеологических основ советской внешней политики (а из него естественно следует тезис о советской виновности в "холодной войне") своеобразием его личного восприятия, счесть исключением, тем более что, как отмечалось, его сильно критикуют его же коллеги на Западе. Но, с другой стороны, его и хвалят, а критика как раз меньше всего относится к его трактовке "советологических" сюжетов (хотя прямая фальсификация не ограничивается у него только "перетолковыванием" ленинских высказываний, но и доходит до выдумывания несуществующих цитат "советского происхождения")<sup>13</sup>. Трактовка цитаты с "сожительством народов" была подхвачена и обращена против идеи мирного

<sup>7</sup>Nolte E. Deutschland und der Kalte Krieg. München, 1974. S. 27.

<sup>8</sup>Ibid. S. 639.

<sup>9</sup>Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 13–22.

<sup>10</sup>Документы внешней политики СССР. М., 1957. Т. 1. С. 488.

<sup>11</sup>Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 197.

<sup>12</sup>Там же. Т. 41. С. 133.

<sup>13</sup>См.: История СССР. 1976. № 4. С. 208.

сосуществования советологом из ФРГ Г. Вагенленером<sup>14</sup>. Для английского международника Х. Сетон-Уотсона Советский Союз — это государство, которое "находится в постоянном состоянии войны со всеми государствами, которые не подчиняются его воле", а «понятие мирного сосуществования равнозначно понятию "холодной войны"»<sup>15</sup>. Наконец, его коллега по английской историографии Х. Томас усматривает связь между этими понятиями и понятием "частичной войны", которую он тоже приписывает В.И. Ленину — без каких-либо ссылок на источник<sup>16</sup>.

Следует, к сожалению, констатировать, что и тем авторам, которым в общем чужда примитивно-апологетическая трактовка причин "холодной войны", порой присущи путаница и нечеткость в оценках идейных основ советской внешней политики.

Вот как, например, излагает "советское мышление" по международным делам либеральный американский историк, "постревизионист" и весьма серьезный критик внешней политики собственной страны Т. Патерсон: «Мир необратимо поделен на два лагеря: "советский лагерь мира, социализма и демократии" и "американский лагерь капитализма, империализма и войны"». Пока эти две группировки существуют, мир невозможен. . . Задача советской страны на протяжении длительного, но неизбежного марша к свободному от капиталистического разбоя миру заключается в том, чтобы превратить Россию в коммунистический бастион и маяк для коммунистов в других странах. . . С помощью непобедимых заповедей марксизма-ленинизма Советский Союз может углубить кризис в капиталистическом лагере и ускорить его неминуемый крах, используя разные методы: от бдительного выжидания до "мирного сосуществования" и до поддержки насильственных акций со стороны революционеров»<sup>17</sup>.

Картина получается не столь уж далекая от нарисованной в "длинной телеграмме" Кеннана, хотя и более противоречивая. Например, образы "бастиона" и "маяка" в применении к социалистической стране мало соответствуют понятиям агрессивности и экспансионизма, так же как и последующее замечание Т. Патерсона насчет того, что "Советы заявляли, что революция не может быть экспортирована". Что касается идеи "двух лагерей", то можно заметить, что она появилась в "советском мышлении" после того, как она появилась в США, и, будучи конъюнктурной реакцией, никак не может трактоваться в виде "основополагающего элемента" внешнеполитической доктрины социализма. Проблема соотношения между принципами ленинского подхода к международным делам и деформациями этих принципов при Сталине существует, однако наличие этой проблемы вряд ли оправдывает тот образ отношений между США и СССР, который, по мнению Т. Патерсона, определяет характер

<sup>14</sup>Wagenlehner G. Friedliche Koexistenz und ideologische Kampf // Sicherheit und Frieden / Hg. von O. Buchbender u.a. Herford, 1985. S. 139.

<sup>15</sup>Die Welt von heute: Propyläen-Weltgeschichte. Frankfurt a / M., 1976. Bd. 10/1. S.218.

<sup>16</sup>Thomas H. Armed Truce: The Beginning of the Cold War, 1945—1946. L., 1986. P. 540.

<sup>17</sup>Paterson T. On Every Front. N.Y., 1979. P. 143—144.

послевоенной конфронтации: "две собаки, вцепившиеся в одну кость"<sup>18</sup>. Этот образ, своеобразное выражение идеи "равной ответственности", придает послевоенной конфронтации характер события даже более неотвратимого, чем образы, применяемые "ортодоксами" или "ревизионистами": медведя и укротителя или волка и ягненка. Медведь и укротитель могут и поладить, волк не всегда может добраться до ягненка, а вот в ситуации, представленной Т. Патерсоном, от драки или взаимного рычания, пожалуй, ничто не может отвлечь. Получается, что "холодная война" детерминирована не "одинарно", т.е. позицией какой-то одной стороны, агрессора, а "вдвойне", поведением обеих сторон. Такая "сверхдетерминированность" придает послевоенной конфронтации абсолютно фатальный, неизбежный характер.

Справедливости ради следует сказать, что концепция вытекающей из идеологических постулатов неизбежности "холодной войны" не является монополярной в западной историографии. Мы уже отмечали в этой связи позицию западногерманского историка В. Лота – "постревизиониста", так же как и Т. Патерсон, но придерживающегося более оптимистической точки зрения на возможные неконфронтационные альтернативы послевоенной истории. То, что наиболее ярко такая позиция проявилась именно у представителя западногерманской историографии, видимо, не случайно; для того там имелся определенный задел, в частности в виде некоторых концептуальных новинок, введенных в научный оборот руководителем созданного в 70-е годы крупнейшего на Западе – да и вообще в мире – труда по истории советской внешней политики (три огромных тома!) тюбингенским профессором Д. Гейером.

В том разделе книги, который охватывает период от антигитлеровской коалиции до "холодной войны" и который был написан самим Д. Гейером, Советский Союз предстает отнюдь не в качестве агрессора-хищника, а совершенно однозначно как объект "политического и экономического давления", объект "атомной дипломатии" со стороны США. Вашингтон требовал от Москвы, пишет автор, "открыть двери для экономических и финансовых интересов капитализма", притом вовсе не собираясь "делить с кем-либо преференции, которыми располагали сами США", и это с советской стороны не могло восприниматься иначе как издевательство. «Тот факт, что Вашингтон как нечто самой собой разумеющееся требовал "открытых дверей" во всем мире, вновь и вновь вызывал у советской стороны чувство явной угрозы себе», – продолжает он, делая затем очень важный вывод о советской реакции в этих условиях: "Москва все еще продолжала избегать характеристики политического конфликта с западными державами как неразрешимого". И, возвращаясь вновь к этой проблеме после описания ряда американских политических трюков, рассчитанных на то, чтобы поставить СССР в невыгодное, неравноправное положение, Д. Гейер заключает: "Ожидания советского руководства насчет готовности Запада к сотрудничеству не могли быть сколь-нибудь значительными. Тем не менее Сталин в разнообразных вариациях вновь и вновь давал понять, что он, несмотря на идеологические различия, верит в возможность мирного и длительного сотрудничества между Со-

<sup>18</sup>Ibid. P. 22.

ветским Союзом и западными демократиями, верит в дружеское соревнование двух систем”<sup>19</sup>.

Здесь уже можно сказать, что Д. Гейер явно перебрал розовой краски, подавая фигуру Сталина, но, во всяком случае, рисуемая им картина никак не соответствует обычному для ”идеологической модели” раскладу: агрессивный, экспансионистский Советский Союз и обороняющиеся, стремящиеся сохранить статус-кво Соединенные Штаты.

Впрочем, и те авторы, которые сохраняют приверженность такого рода модели, порой модифицируют ее. Акцент с однозначно негативной характеристики советской политики переносится на идею ее ”противоречивости”: мол, для нее равно характерны как идея экспансии, так и идея сосуществования. Мысль эта получила особо широкое хождение с выходом книги известного американского советолога А. Улама, который вынес ее даже в заглавие<sup>20</sup>. Из постулированной таким образом ”двойственности” советской внешней политики вытекает и вывод о возможности ее ”регулирования” извне с помощью кнута или, наоборот, пряника. Не совсем верно считать, что А. Улам всегда и при любых обстоятельствах рассматривал первый метод как предпочтительный<sup>21</sup>. Однако в применении к периоду генезиса ”холодной войны” это именно так, и в этом аспекте его концепцию можно считать продолжением известных ”староревизионистских”, антирузвельтовских воззрений, хотя в то же время ему нельзя отказать и в трезвости некоторых суждений, каковая начисто отсутствовала у школы ”полицейских историков”. Можно сказать, что тезис о ”противоречивости” советской политики – это своеобразное перенесение на объект исследования характеристик собственного исследовательского подхода.

К сожалению, порой те, кто используют концепцию и ”метафоры” А. Улама – даже когда речь идет об исследователях объективистского направления, – лишь усиливают ее противоречивость. Так, выступая на конференции советских и американских историков осенью 1986 г., один из крупнейших американских советологов, директор Русского исследовательского института международных отношений при Колумбийском университете С. Биалер, с одной стороны, в очередной раз раскритиковал примитивную антисоветскую риторику (которая, правда, была уже даже сочтена похороненной 20 лет тому назад), заявив: «В среде крайне правых все еще муссируется тезис, что советские лидеры следуют ”генеральному плану” завоевания мирового господства и что почти каждый шаг в их внешней политике отражает такой долговременный план и даже делается по некоему секретному расписанию. Однако ничего подобного невозможно вывести ни из рассчитанных на длительную перспективу акций советских лидеров на международной арене, ни из сочинений

---

<sup>19</sup>Osteuropa – Handbuch: Sowjetunion. Aussenpolitik 1917–1955 / Hg. von D. Geyer. Köln, 1972. S. 361–362, 367–368.

<sup>20</sup>Ulam A. Expansion and Coexistence: The History of Soviet Foreign Policy 1917–1967. N.Y., 1968.

<sup>21</sup>Такой, несколько односторонней трактовки взглядов А. Улама придерживался в свое время и автор этих строк. См.: *Вопр. истории*. 1979. № 3. С. 25.

Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина»<sup>22</sup>. С другой стороны, он же сформулировал тезис о "внутренне присущей агрессивности(!)" Советского Союза, "бесплановость" которой делает, мол, СССР еще более опасным, чем если бы он действительно руководствовался каким-то "планом". С. Биалер попытался обосновать этот вывод ссылкой на А. Улама<sup>23</sup>, хотя тот в своей книге, вышедшей в 1983 г., пишет вроде бы нечто совсем иное: "Будучи далек от того, чтобы готовиться к операциям по завоеванию мира для коммунизма, СССР крайне нуждался в мире и хотел мира"<sup>24</sup>. Выходит, что с советской стороны не хотели войны, не имели никаких планов войны, и это доказывает его. . . агрессивность!

Попытку как-то рационально объяснить эту "логику" предпринял недавно Дж. Гэддис (правда, в применении не к советологии, а к американистике): "Призрак врага, располагающего координированным планом и скрытыми средствами для его осуществления, всегда тревожил американцев, вероятно, именно потому, что их собственный подход к международным делам столь часто отличался как раз отсутствием направления и цели"<sup>25</sup>. В общем, это типичное кредо "постревизионизма", воплощение его "третьей модели" (по нашей классификации), согласно которой причины "холодной войны" кроются в издержках взаимного восприятия: США (как и СССР), первоначально равно чуждые агрессивным замыслам, стали подозревать таковые друг в друге, создались "образы врага" и соответствующие образцы собственных действий, которые не могли не восприниматься другой стороной иначе как агрессивные. Не идеология, а скорее психология, таким образом, оказывается в основе конфронтации, а если и можно говорить об идеологии, то только об "идеологии страха".

Эти рассуждения подкупают определенным признанием фактов и изяществом логики. Нельзя не согласиться с характеристикой идеи о "советской угрозе" как "призрака", нельзя отрицать, что "идеология страха" действительно играла немаловажную роль в "холодной войне" (вспомнить хотя бы известный прыжок министра обороны США Форрестала из окна психиатрической больницы с криком "русские танки"). Наконец, конструкция эта, будучи применена к советской политике, вроде бы разрешает "парадокс Улама-Биалера" насчет ее "бесплановой агрессивности", признавая такой же грех и за США. Логика "работает", но верна ли сама посылка, будто накануне "холодной войны" в американской политике не было иных целей, кроме оборонительных, а было только "чувство страха"?

Для Дж. Гэддиса это, очевидно, нечто вроде аксиомы, однако среди его коллег можно найти немало тех, кто такой аксиомы не приемлет, притом

<sup>22</sup>Bialer S. Lessons from the History of Soviet-American Relations: Paper presented to a Conference on the History of Soviet-American Relations. Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Sept. 22-23, 1986. Wash., 1986. P. 26.

<sup>23</sup>Ibid. P. 30, 10-11.

<sup>24</sup>Ulam A. Dangerous Relations: the Soviet Union in World Politics, 1970-1982. N.Y., 1983. P. 15.

<sup>25</sup>Gaddis J.L. The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War. N.Y., 1987. P. 149.



речь будет идти вовсе не о "радикалах". Автор весьма хвалебной биографической работы об одном из самых рьяных архитекторов конфронтации – госсекретаре США Д. Ачесоне Гэддис Смит так пишет о своем герое: он "был преисполнен уверенности в том, что Соединенные Штаты, и только они, обладают той силой, которая позволит им овладеть историей и заставить ее подчиниться их воле"<sup>26</sup>. Приводя это высказывание, другой американский историк, более умеренного направления, знакомый нам Т. Патерсон, так комментирует его: речь шла об американской претензии на "первое место среди прочих наций"<sup>27</sup> (на наш взгляд, довольно скромная интерпретация установки, которая заключала в себе намерение повернуть по своему усмотрению колесо истории!). Как бы то ни было, здесь никак нельзя обнаружить "испуга", и если уж сводить все к психологическим феноменам, то скорее приходит на ум более поздняя формула Фулбрайта о "самонадеянности силы".

Порой можно встретить такое рассуждение: после второй мировой войны Соединенные Штаты, во всяком случае их правящие круги, были вполне удовлетворены своим положением в мире, они и так уже пребывали в положении "первой нации", а потому у них не могло быть мотива к агрессии. Однако, даже если принять тезис о таком "консервативном" характере американских целей, из него не вытекает вывод о США как оплоте "стабильности". К примеру, западногерманский историк М. Кнапп утверждает в этой связи: "Все американские администрации, от Трумэна до Джонсона, отказывались признать Советский Союз как равноправную, эквивалентную себе мировую державу. Этот конфликт непризнания в значительной мере определял международные отношения со времени окончания второй мировой войны. . . Со стороны Америки это выражалось в попытках – порой нервных – охранить и поддержать свое имевшее тенденцию к исчезновению превосходство"<sup>28</sup>. Выходит, что стремление "удержать превосходство" тоже является дестабилизирующим фактором.

На деле, конечно, реальные цели тогдашних руководителей США шли гораздо дальше, чем просто удержание того, что они имели. Речь шла не только о консервации статус-кво, не только о простом расширении "сферы влияния" США, но и о большем. Формула "безопасность собственной страны может быть обеспечена только путем уничтожения противоположной общественной системы", которая (в той же "длинной телеграмме") приписывалась советской политике, на самом деле может быть отнесена к числу программных установок американского руководства, с которыми оно шло к "холодной войне". Таким образом, "идеологическая модель" больше подходит для описания внешней политики Запада.

Достаточно привести хотя бы такие высказывания президента США Г. Трумэна: "Мировая торговля должна быть восстановлена, притом на основе ее возвращения к частному предпринимательству" (март

<sup>26</sup>Gaddis Smith. Dean Acheson. N.Y., 1972. P. 416.

<sup>27</sup>Paterson T. Op. cit. P. 74.

<sup>28</sup>Knapp M. Die Einstellung der USA gegenüber die Sowjetunion 1947–1969 // Der Westen und die Sowjetunion. Paderborn, 1983. S. 211.

1946 г.)<sup>29</sup>; "Свобода – вещь более важная, чем мир, а свобода вероисповедания и свобода слова всегда зависели от свободы предпринимательства" (март 1947 г.)<sup>30</sup>. Эти и подобные им цитаты нечасто приводятся западными историками, а если приводятся, то комментируются в том духе, что это, мол, была "стандартная риторика", не имевшая практического, оперативного значения для реальной политики<sup>31</sup>. Остается, однако, фактом, что за этими словами стояли и конкретные действия: вмешательство во внутренние дела других народов, глобальная система военных баз, "атомная дипломатия". Большой и убедительный фактический материал по всем элементам этой "триады" приводит Т. Патерсон<sup>32</sup>.

Вообще следует сказать, что в отличие от проблемы *целей* американской политики проблема ее *методов*, форм ее осуществления дискутируется более активно. Поначалу и здесь, правда, широко применялась практика умолчания. Но уже на упоминавшейся первой международной конференции по "холодной войне" (Лондон, 1967 г.) были признаны и факт вмешательства США в европейские дела (это, напомним, сделал не кто иной, как "ортодокс" П. Сибири), и факт "атомной дипломатии" (английский историк Х. Сетон-Уотсон в лучших традициях "перехвата критики" заявил: "Я всегда считал, что бомба имела антисоветский характер, и то, что г-н Аллпровиц подал ныне этот факт с таким шумом, вовсе не кажется мне новым великим открытием")<sup>33</sup>.

Книге Г. Аллпровица – одного из первых "ревизионистов", раньше других сумевшего использовать архивный материал для разоблачения трумэнвской стратегии атомного шантажа в отношении СССР, – вообще говоря, повезло: о ней продолжают говорить и в 80-е годы. "Повезло" ей и в другом отношении: пожалуй, едва ли можно найти другую книгу, которую бы столь много ругали. Менялось лишь направление "критики". Если Х. Сетон-Уотсон по сути считал ее основной тезис верным, но не оригинальным, то Дж. Кеннан через 15 лет высказал претензии совершенно противоположного характера, не позаботившись, правда, о том, чтобы обосновать свой запоздалый приговор<sup>34</sup>. Впрочем, Дж. Кеннан, конечно, не обязан был повторять аргументацию противников Г. Аллпровица: их

<sup>29</sup>См.: *Lundestad G. The American Non-Policy towards Eastern Europe 1943–1947. Trömse, 1975. P. 66.*

<sup>30</sup>См.: *Ambrose S. Rise to Globalism, 1938–1978. N.Y., 1979. P. 146.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Paterson T. Op. cit. P. 33–34, 48, 54, 59–60, 80–83, 90–91 etc.*

<sup>33</sup>*Journal of Contemporary History. 1968. Vol. 3, N 2. P. 245.*

<sup>34</sup>*Witnesses to the Origins of the Cold War // Ed. T. Hammond. Seattle, 1982. P. 32.*

Эта коллективная работа, в которой Дж. Кеннан выступил в качестве одного из авторов наряду с рядом других бывших американских дипломатов, служивших в странах Восточной Европы в первые послевоенные годы, отразила тот натиск "неоортодоксии", который был характерен для рубежа 70-х и 80-х годов. По мнению одного из рецензентов, она наносит «сокрушительный удар по тезису "ревизионистов" о том, что "холодную войну" начали США», хотя в то же время "несколько разочаровывает", поскольку содержит мало новых фактов. На наш взгляд, эта оговорка сама наносит "сокрушительный удар" по основной оценке. См.: *Schryok R. On the Move again // Studies in Comparative Communism. 1985. Vol. 18, N 1. P. 76.*

очень много – и противников, и аргументов ”против” – и они весьма разнообразны. Другое дело, насколько они убедительны?

Видимо, целесообразно рассмотреть их подробнее – и именно в разделе, посвященном ”идеологической модели” истории послевоенной конфронтации. Ибо речь идет о дискуссии не просто вокруг одного из методов политики, одного из прочих, а о таком, который сам стал идеологией, может быть, самой стойкой идеологией ”холодной войны”, той, тлетворное влияние которой продолжает ощущаться и в наши дни. Это идеология ”атомного устрашения”. Какие же исторические интерпретации применяются для того, чтобы снять ответственность с тех, кто эту идеологию создавал и практиковал?

Первая версия – самая старая, но весьма стойкая. Согласно ей, никакой ”атомной дипломатии” вообще не было. Атомные бомбы были сброшены на Японию с единственной целью – военной. Никто из ответственных государственных деятелей Запада никогда не думал о применении атомного оружия против СССР и не угрожал таким применением. Атомное оружие в руках США призвано было лишь обеспечить гарантию их безопасности от атомного оружия в руках Сталина.

Уже первые ”ревизионисты” (и даже их предшественники) сильно ”потрепали” эту версию. Приводились достаточно веские аргументы относительно того, что атомные бомбардировки не сыграли решающей роли в капитуляции Японии и, чтобы заставить ее капитулировать, не было никакой нужды применять это варварское оружие<sup>35</sup>. Приводились красноречивые высказывания американских военных и Черчилля, сводившиеся к призыву нанести первый атомный удар по Советскому Союзу.

Однако под градом этих аргументов данная версия все-таки ”выжила”. Против них пошли в ход контраргументы, и не столь уж пустые. Да, возможно, атомная бомбардировка и не решила исход войны на Тихом океане, но до начала советского наступления на Дальнем Востоке не было уверенности, насколько оно будет успешным, а потому по крайней мере бомба, сброшенная на Хиросиму, находилась в рамках военной целесообразности. Да, отдельные американские военные и Черчилль угрожали СССР атомной бомбой, но со стороны военных это было нарушением дисциплины, за что они получали соответствующие взыскания, а мнение Черчилля было частным мнением частного лица, и, во всяком случае, в этом своем мнении он ”остался в полной изоляции”<sup>36</sup>.

Эта ”вторая линия обороны” сторонников данной версии получила сильный удар после того, как были преданы гласности секретные планы

<sup>35</sup>Г. Алпровиц, как отмечалось, отошел в последнее время от активной исследовательской деятельности, но тем не менее продолжает в публицистической форме, в том числе и с привлечением нового фактического материала, отстаивать этот тезис. См.: *Alperovitz G. Did the U.S. Need to Drop the Bomb on Japan? Evidently No // International Herald Tribune. 1989. Aug. 4. P. 4.*

<sup>36</sup>См., например: *Loth W. Die Teilung der Welt: Geschichte des kalten Krieges. 1941–1955. München, 1980. S. 225.* Напомним, что В. Лот вовсе не принадлежит к числу апологетов американской внешней политики и вообще политики ”холодной войны” и принятие им данного аргумента говорит о том, что его влияние распространяется далеко за рамки круга ”ортодоксов”.

американского нападения на СССР с применением атомного оружия ("Дропшот" и др.). Но и здесь была найдена довольно гибкая контраргументация: соответствующие планы представляли собой "сценарии на крайний случай", они подлежали реализации лишь в случае "неспровоцированной агрессии" со стороны СССР и, таким образом, представляли собой отнюдь не оружие дипломатии, а средство обороны. Следовало и еще один вроде бы трудноопровержимый аргумент: если бы с американской стороны действительно имелось в виду либо применить атомную бомбу против СССР, либо предъявить ультиматум с угрозой ее применения, то что же помешало это сделать в 1945–1949 гг., когда американцы могли не опасаться ответного советского атомного удара?<sup>37</sup>

Эта "третья линия обороны" была прорвана тогда, когда стала вырисовываться картина того, чем *реально* располагали США в указанные годы для осуществления атомной стратегии. В первой по-настоящему научной монографии о роли ядерного фактора в "холодной войне", опубликованной в начале 80-х годов американским историком Г. Херкеном, приводились еще очень приблизительные данные об американском атомном потенциале в первые послевоенные годы: США располагали "примерно полдюжиной" атомных бомб к октябрю 1946 г. и "не более чем дюжиной" к весне 1947 г. Во втором издании этой работы, вышедшем в 1988 г., приведены уже более конкретные (хотя по-прежнему оценочные, официально не подтвержденные) цифры наличия атомных зарядов в американских арсеналах за более продолжительный период времени: 9 – в 1946 г., 13 – в 1947 г., около 50 – в 1948 г., около 250 – в 1949 г., около 450 – в 1950 г.<sup>38</sup>

На наш взгляд, Г. Херкен не вполне прав, когда объясняет сравнительно медленный рост атомного потенциала США в 1945–1948 гг. трудностями чисто технологического характера (препятствием являлось скорее негативное отношение к гонке вооружений американской общественности, которое в эти годы еще не было сломлено антисоветской пропагандой); он слишком категоричен, когда утверждает, что в эти годы за американской "политикой силы" не стояло "никакой силы" (атомная бомба и тогда не была "бумажным тигром"), но он безусловно прав, отмечая элемент блефа в тогдашней американской политике. Кстати, сама по себе употребленная им формула "американская атомная угроза была больше блефом, чем реальностью", звучит несколько двумысленно: она была и блефом, и реальностью – в том смысле, что угроза не могла быть реализована, но это не означало, что угрозы не существовало или что ее не хотели реализовать<sup>39</sup>.

<sup>37</sup>В советской историографии имеется точка зрения, что рассекречивание этих планов произошло, "возможно, по недоразумению" (см.: Современная внешняя политика США. М., 1984. Т. 1. С. 289). На наш взгляд, этот акт можно интерпретировать скорее как логическое отражение процесса переориентации американской политики и пропаганды с "жестких" на "гибкие" методы в условиях разрядки. См.: Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. М.,: Правда, 1983. С. 60–62.

<sup>38</sup>Herken G. The Winning Weapon: The Atomic Bomb in the Cold War, 1945–1950. N.Y., 1981. P. 197 (2nd ed. Princeton, 1988. P. XIII).

<sup>39</sup>Ibid. P. XIII, 143.

Самым адекватным образом определяет ситуацию западногерманский историк социал-демократической ориентации Ю. Брун, констатируя, что уже с сентября 1945 г. США планировали нанесение "первого удара" против СССР, и следующим образом определяя причины того, что эти планы не были осуществлены: "Атомное оружие могло сравнять с землей целые страны типа Германии или Японии. . . но не такую страну, как Советский Союз с его огромными пространствами. Для этого в 1945–1949 гг. не имелось ни достаточного количества атомных бомб, ни нужного числа Б-29 или Б-36". Впоследствии же "Советский Союз уже обеспечил себе обладание атомной бомбой, достаточный уровень производства расщепляющихся материалов и вступил на путь создания своей водородной бомбы" – и любая американская авантюра грозила ответным ядерным ударом<sup>40</sup>.

То обстоятельство, что "атомная дипломатия" основывалась на блефе, вполне объясняет некую ее "нерешительность" – любая попытка "загнать в угол" противника путем ультиматумов или выдвижения слишком далеко идущих требований могла раскрыть этот блеф. Это, разумеется, вовсе не значит, что эта дипломатия не была опасной: во-первых, всегда существовала возможность ошибки в расчете, что именно считать "приемлемым риском"; во-вторых, сама логика ядерного устрашения толкала на то, чтобы превратить блеф в реальное "превосходство", а значит, вела к неконтролируемой гонке ядерных вооружений. Потому совершенно недостаточно просто констатировать "непрактичность" такой дипломатии, как это делает консервативный английский историк Х. Томас<sup>41</sup>.

Тем не менее уже тот факт, что первая из рассмотренных нами версий – об отсутствии "атомной дипломатии" – ныне практически отвергается широким консенсусом – историками от левой до крайне правой ориентации, – говорит о ее практической девальвации.

Один из вариантов замены этой версии демонстрирует тот же Х. Томас. Как помним, характерной чертой его исторического подхода была откровенная антипатия к советской политике и к американским политикам ирландского происхождения. Из сочетания этих двух фобий вы-

---

<sup>40</sup>*Brun J. Schlachtfeld Europa oder Amerika's letzte Gefecht: Gewalt und Wirtschaftsimperialismus in der US-Aussenpolitik seit 1840. Berlin [West], 1983. S. 76.* Публично идея "первого удара" отрицалась военными, однако, как отмечает Г. Херкен, «секретные обсуждения на уровне Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) и специфические черты "Пинчера" (первый из планов атомной войны против СССР, разработанный осенью 1945 г. – А.Ф.) позволяют усомниться в этих заверениях» (*Herken G. Op. cit. P. 223*).

<sup>41</sup>*Thomas H. Op. cit. P. 547.* Следует отметить известные издержки в той критике ядерной стратегии США, которая порой встречается в советской литературе. Стремясь, видимо, "усилить" тезис об "американской угрозе", некоторые авторы создают у читателя впечатление, будто уже к концу 1945 г. в США имелось ни мало ни много – около 200 ядерных бомб (см., например: *Яковлев Н.Н. Указ. соч. С. 33*). Между тем даже более скромно завышенные оценки американского ядерного потенциала ранее использовались в западной историографии как раз для доказательства "миролюбия" США.

растает следующее оригинальное суждение: «Сталин, очевидно, знал, что если со стороны государственного секретаря Бирнса в сентябре 1945 г. имел место флирт с идеей "атомной дипломатии", то это не означало, что данную политику поддерживали вся администрация или даже госдепартамент в целом». Вывод: в линии Запада не было ясности, но не было и злокозненности; таковую проявила другая сторона, намеренно представив в качестве главного направления американской политики то, что было временной и сугубо личной aberrацией одного из американских политиков, к тому же вскоре сошедшего со сцены<sup>42</sup>. Досталось Сталину и Бирнсу, но США остались кристально чистыми.

Оправдывают ли реальные факты такой сугубо апологетический вывод? Если ограничиться теми фактами, которые приводит Х. Томас, то да. Но дело в том, что это крайне ограниченная выборка фактов, игнорирующая другие – кстати, не менее известные и не упомянутые, очевидно, лишь потому, что они не укладываются в авторскую схему. О чем же свидетельствуют факты в их совокупности?

Да, действительно, в то время, когда Бирнс в сентябре 1945 г. отправился в Лондон для участия в сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) пяти великих держав, где надеялся "с бомбой в кармане" добиться всего, что считал нужным, в Вашингтоне разгорелась дискуссия по поводу будущего бомбы: сохранять ли американскую монополию как средство давления на партнеров по переговорам, т.е. как средство "атомной дипломатии", либо пойти по пути сотрудничества с другими странами в мирном использовании атомной энергии. До сих пор бытуют разные точки зрения на то, кто и что говорил по этому поводу из членов американской администрации; но в общем есть согласие в том, что первый вариант наиболее активно отстаивал морской министр Форрестол, а второй – министр торговли Уоллес, к позиции которого приближался тогда и Ачесон, замещавший Бирнса; Трумэн до поры до времени свое мнение не высказывал<sup>43</sup>. Информация об этих разногласиях довольно быстро проникла, хотя и в искаженном виде, на страницы прессы. Так что Х. Томас прав, что у линии Бирнса были противники и в кабинете, и в госдепартаменте и что Сталин в принципе мог об этом знать.

Но были и другие факты: Трумэн вскоре прервал свое молчание, однозначно выбрав вариант Форрестола, Уоллес поначалу оказался в изоляции, а затем был изгнан из кабинета, Ачесон поспешил присоединиться к линии "большинства". Что касается Бирнса, то он быстро потерял фавор у Трумэна, но не из-за того, что практиковал "жесткую линию" (здесь он получал полную поддержку президента), а из-за того, что позволил себе усомниться в ее целесообразности (его сомнения распространились и на сферу атомных дел: в марте 1946 г. он выступил против проведения испытаний атомного оружия, планировавшихся тогда на Бикини, считая, что взрывы на Тихом океане взорвут и работу Парижской мирной конференции<sup>44</sup>).

<sup>42</sup>Thomas H. Op. cit. P. 544.

<sup>43</sup>Ibid. P. 449.

<sup>44</sup>Paterson T. Op. cit. P. 90.

Другими словами, если считать "атомную дипломатию" aberrацией, то личным и кратковременным феноменом она была скорее для Бирнса, зато она стала постоянной и нарастающей по интенсивности линией американской политики.

Этот факт вполне однозначно признает Дж. Гэддис в упоминавшемся специальном разделе своей книги 1987 г., посвященном атомным сюжетам и основанном на новом и весьма интересном источниковом материале. Признает он и другое – планы ядерной войны против Советского Союза имели вполне реальный характер, никак не академический<sup>45</sup>. Однако его интерпретация этих фактов весьма своеобразна: по его мнению, "атомная дипломатия" носила оборонительную направленность и как таковая была вполне успешной. Наконец, он не отрицает, что упор на ядерную стратегию лишил внешнюю политику США гибкости и был чреват в принципе опасными последствиями, но, по его убеждению, альтернатива была только одна – содержание массовой сухопутной армии, что не соответствовало американским традициям<sup>46</sup>.

По всем пунктам аргументация Дж. Гэддиса не выглядит, однако, убедительной. Что касается "оборонительного" характера атомного шантажа, то, для того чтобы доказать таковой, надо вначале доказать наличие "наступательных" намерений со стороны СССР, а их он считает просто-напросто аксиомой. Между тем, например, английский историк М. Бальфур, говоря об "успехе" политики "сдерживания", иронически добавляет: "Этот успех отчасти связан, правда, с тем фактом, что не было такой уж нужды сдерживать коммунистов, как это считалось"<sup>47</sup>. Иначе говоря, "сдерживали" не угрозу, а ее призрака. Дж. Гэддис и сам об этом упоминал, но, видимо, подзабыл. В последнем же случае он явно суживает круг альтернатив: ведь наряду с вариантами – ядерное или обычное вооружение – имелся и вариант разоружения или по крайней мере ограничения вооружений с обеих сторон. Кстати сказать, такой вариант порой упоминается (хотя лишь для того, чтобы его отвергнуть) некоторыми его коллегами<sup>48</sup>. Дж. Гэддис об этом варианте даже и не упоминает. Почему?

Сужение спектра реальных альтернатив – явление, характерное не только для дискуссии об "атомной дипломатии", причем не только для

<sup>45</sup>Странным образом он "берет назад" это свое признание в полемике против советских историков Безыменского и Фалина. См.: Правда. 1988. 31 окт.; *Gaddis J. The Long Peace*. P. 110–111.

<sup>46</sup>*Ibid.* P. 111, 114.

<sup>47</sup>*Balfour M. The Adversaries: America, Russia and the Open World, 1941–1962*. L., 1981. P. 101.

<sup>48</sup>"Единственной альтернативой американской ставке на атомную бомбу было бы создание массовой армии или русская демобилизация, но в 1946 г. не было абсолютно никакой возможности рассчитывать ни на то, ни на другое", – пишет автор весьма популярного в США очерка истории международных отношений С. Эмброуз. Вновь можно поразиться явному несоответствию между правильной посылкой и совершенно необоснованным выводом: "русская демобилизация" как раз шла тогда полным ходом; численность советских вооруженных сил продолжала сокращаться вплоть до 1948 г. См.: *Ambrose S. Op. cit.* P. 134. Примерно такая же "логика" встречается и у Г. Херкена (*Herken G. Op. cit.* P. 196).

”просвещенных консерваторов” типа Дж. Гэддиса, но и для тех представителей западной историографии, кто гораздо критичнее относится к реалиям американской внешней политики. Набор альтернатив выглядит обычно так: глобализм или изоляционизм, военное превосходство (особенно ядерное) или беззащитность, антикоммунизм или прокоммунизм. А ведь были (и есть) иные (условно говоря, ”средние”), ”неидеологизированные” варианты, причем не в виде абстрактных схем, а в виде реально имевшихся политических установок, реального политического курса, оправдавшего себя в период действия антигитлеровской коалиции, когда у руля американской политики стояла группировка, возглавляемая Ф. Рузвельтом. Позже мы рассмотрим имеющиеся в западной историографии концепции о соотношении курса Трумэна с наследием Рузвельта, пока же остановимся на одном из новшеств, которые Дж. Гэддис вносит в проблему роли ядерного фактора в ”холодной войне”.

Роль эта, по новой версии, была большой, но сводилась она не к попыткам использования американской монополии в политических целях, а к попыткам советской стороны доступными ей средствами прорвать эту монополию. Не американская ”атомная дипломатия”, а советский ”атомный шпионаж” – вот что вызвало охлаждение, а затем и конфронтацию между союзниками. Этот тезис – фактически основной в подходе Дж. Гэддиса к этой теме ”тайной холодной войны”, о которой мы говорили<sup>49</sup>. Подход это, скажем прямо, крайне узкий и дезориентирующий.

Факты говорят о том, что действительно группа ученых, работавших над созданием атомного оружия в рамках ”Манхэттенского проекта”, установила контакты с представителями советской разведки в Канаде, а шифровальщик советского посольства в Оттаве Гузенко, совершивший в начале сентября 1945 г. акт предательства, сообщил канадской контрразведке об этих контактах, и эти сведения были доложены вначале канадскому премьеру Маккензи Кингу, а через него президенту США<sup>50</sup>. Но действительно ли эта информация так ”потрясла” Трумэна, что он сразу же превратился в противника нормальных отношений с Советским Союзом?<sup>51</sup>

Во-первых, оснований для ”праведного гнева” было не так уж много, хотя бы потому, что западные спецслужбы сами вели активную разведывательную деятельность против СССР. Правда, в историографии одно время двигался тезис (в частности, в официальной истории английской разведки), будто эта деятельность была прекращена после того, как СССР стал союзником (единственным-де исключением было продолжение дешифровки метеокодов – нечто весьма безобидное). Ныне, однако, этот тезис дезавуирован: прямо – канадским историком умеренно либерального толка М.Китченом, косвенно – даже ультраконсерватором Х. Тома-

<sup>49</sup>Gaddis J. Intelligence, Espionage and Cold War Origins // Diplomatic History. 1989. Vol. 13, N 2. P. 191.

<sup>50</sup>См.: Лестов С. Тайны атомной бомбы // Аргументы и факты. 1989. № 41. С. 6.

<sup>51</sup>Кстати, о таком ”мотиве” антисоветского поворота в политике США писалось и раньше, но, как правило, в предположительной форме; Дж. Гэддис придал этой версии категоричность.



сом (возможно, последний слишком уж рекламно подает данные об "успехах" западной агентуры в СССР, но, во всяком случае, факт ее "работы", причем как раз в период союзнического сотрудничества, принимается как очевидный). Что касается непосредственно атомных дел, то Г. Херкен сообщает по крайней мере о трех случаях, когда речь шла о тайных операциях американской разведки по выведыванию советских секретов в этой сфере. Это миссия Дж. Конзента (по профессии химик, он был включен в состав американской делегации на встречу министров иностранных дел трех держав в Москве в декабре 1945 г. со специальной целью – найти контакт с советскими атомщиками и узнать, насколько они продвинулись в исследованиях). Это предпринятая еще ранее засылка нескольких разведгрупп в СССР с целью установления наличия или отсутствия запасов урановой руды. Это, наконец, относящаяся к еще более раннему периоду, "пику сотрудничества", поставка в СССР в рамках ленд-лиза некоторого количества обогащенного урана, как можно понять специально обработанного таким образом, чтобы вызвать аварию в случае его использования в атомном котле. В последнем случае речь шла не столько о разведывательной, сколько диверсионной деятельности<sup>52</sup>.

Во-вторых, задолго до "дела Гузенко", собственно, с начала разработки "Манхэттенского проекта", тема о советском "интересе" к нему весьма активно обсуждалась в кругах американской администрации – и вообще-то не вызвала никаких особо отрицательных эмоций. Очень спокойной была и реакция Трумэна на те "разоблачения", о которых сообщил ему Маккензи Кинг. "Утечка" информации о "советских шпионах" последовала почти через полгода после получения первичной информации (Гузенко перебежал 5 сентября 1945 г., и лишь 3 февраля 1946 г. в вечернем радиокomentarии Дрю Пирсона началась "разоблачительная кампания"). Дж. Гэддис объясняет такую "замедленность" реакции Трумэна двояко: с одной стороны, интересами следствия, с другой – заботой о том, что предание дела гласности может негативно сказаться на советско-американских отношениях<sup>53</sup>. Но что же изменилось к февралю 1946 г.? Может быть, закончилось следствие или появился какой-то новый фактор, который побудил Трумэна пренебречь интересами отношений с СССР?

На эти вопросы достаточно убедительно, на наш взгляд, давно уже ответил Г. Херкен (странно, что Дж. Гэддис не обратил на это внимания, так же как и на факты американской шпионско-диверсионной деятельности против СССР): следствие не только не закончилось, но ему ему был нанесен существенный урон преждевременным раскрытием лежавших в его основе фактов; мотив же "утечки" заключался в том, чтобы мобилизовать общественное мнение против проекта закона об атомной энергии, который предусматривал передачу контроля над атомными делами от военных гражданским лицам<sup>54</sup>. Выходит, что не советская разведыватель-

<sup>52</sup> *Kitchen M.* British Policy Toward the Soviet Union during the Second World War.L., 1986. P. 60; *Thomas H.* Op. cit. P. 163–166; *Herken G.* Op. cit. P. 107, 358.

<sup>53</sup> *Gaddis J.* Intelligence... P. 197.

<sup>54</sup> *Herken G.* Op. cit. P. 132–136.

ная деятельность привела к ухудшению советско-американских отношений; информация о ней была целенаправленно использована для того, чтобы манипулировать американским общественным мнением и сохранить, а может быть, даже и усилить милитаристский синдром. Соответственно объясняется и выбор момента "раскрытия информации": как раз в феврале 1946 г. предстояло обсуждение законопроекта в конгрессе. Все было проще и циничнее, чем это представил Дж. Гэддис<sup>55</sup>.

Еще до Гэддиса "шпионскую" тематику применительно к проблеме возникновения "холодной войны" очень заинтересованно разрабатывал английский историк Х. Томас. Он менее категоричен, чем американский историк, при утверждении, что информация о советском "проникновении" в американские "атомные секреты" повлияла на американцев, зато считает – очень сильно она подействовала на англичан: из-за этого Бевин, первоначально "энтузиаст" в отношении сотрудничества с СССР, в одночасье стал "скептиком". Доказательство (единственное) – отсылка к соответствующей странице труда А. Буллока. Но там лишь приводится высказывание Бевина от 11 октября 1945 г. о том, что в интересах британской внешней политики англичанам "следует пойти на риск предоставления русским информации" (об "атомных секретах"), констатируется, что через неделю он "утратил уверенность в своей аргументации", а также говорится, что он выступал за ускорение следствия и суда по делу обвиненного в передаче советской стороне секретных материалов английского физика Алана Нанна Мея. Однако у Буллока нет указания на то, что Бевин впервые получил информацию об этом деле между 11 и 18 октября, а ведь только в этом случае логику Х. Томаса можно было бы считать заслуживающей внимания, а его ссылку на солидный труд коллеги в подтверждение собственного тезиса – корректной<sup>56</sup>.

Но и вне зависимости от того, когда англичане получили информацию, связанную с "делом Гузенко" и последовавшим расследованием, их скорее должно было волновать не советское, а американское коварство. Можно было предвидеть, что под предлогом "утечки информации" через "английский канал" США свернут сотрудничество с Великобританией в атомной сфере. Так и случилось. С этой точки зрения этот инцидент создавал известный общий интерес Великобритании и Советского Союза в противостоянии атомной монополии США и попыткам ее сохранить. Такая потенциальная общность интересов в принципе могла бы стать фактором, противодействовавшим курсу на "холодную войну", – конечно, если бы это было осознано и реализовано обеими сторонами. Такой вывод, на наш взгляд, более логичен, чем тот, который сделал английский историк.

<sup>55</sup>В последнее время в журнале "Интернэшнл секьюрити" появился ряд статей М. Трахтенберга, Р. Дингмана, Р. Фуг, в которых подвергаются обоснованной критике некоторые более ранние тезисы Дж. Гэддиса в защиту "атомной дипломатии" – об "осторожности" и "деликатности", с которой она якобы практиковалась с американской стороны, о тех дивидендах, которые она якобы приносила (правда, имя Гэддиса там не называется, но адресат критики в общем-то ясен), См.: International Security. 1988. Vol. 14, N 2. P. 5–112.

<sup>56</sup>Thomas H. Op. cit. P. 452; Bullock A. Ernest Bevin. Oxford, 1985. P. 187.

Наконец, если допустить маловероятное – будто британские политики по не совсем понятным причинам более эмоционально, чем американские, отреагировали на пропаганду о "советском коварстве"<sup>57</sup>, то сделать отсюда вывод о сколь-нибудь значительном влиянии такой реакции на климат послевоенного мира можно лишь при двух неперемennых допущениях: что политики руководствуются эмоциями и что именно британские политики определяли тогда политику всего Запада, включая США. Однако подобные допущения весьма сомнительны.

Остается еще одна концепция "атомной дипломатии" – та, что была сформулирована одним из первых "постревизионистов", М. Шервином, и стала по сути первой "постревизионистской" версией этой проблемы. В ней довольно ярко проявилась специфика "постревизионизма" – она оказалось неудобной и для "ортодоксов", и для "ревизионистов". Для первых – потому, что автор четко признавал, что США вели "атомную дипломатию", и однозначно осуждал ее философию – "не просто мрачную, но и циничную, не просто деструктивную, но и катастрофическую". Для вторых же – потому, что автор фактически освобождал Трумэнскую администрацию от ответственности за начало "атомной дипломатии" и переносил ее на... Рузвельта. Трумэн, по словам М. Шервина, наследовал от своего предшественника "не вопрос, применять или не применять [атомную] бомбу, вести или не вести атомную дипломатию, а уже готовый утвердительный ответ"<sup>58</sup>,

Это была, без преувеличения, сенсация. Внешняя равноудаленность от "крайностей" оказалась все же ближе консервативной точке зрения: если уж политик, чей образ всегда воплощал приверженность делу сотрудничества "большой тройки", оказался на деле автором философии "циничной и катастрофической", значит, действительно это было неизбежно. Следовательно, оставался один шаг до тезиса, что, если бы Рузвельт остался жив, он еще быстрее, чем Трумэн, передвинул бы стрелки на рельсы конфронтации. Да, сам М. Шервин этого шага не сделал (его сделал другой американский историк – Р. Даллек<sup>59</sup>), но все равно концепция вела к полному отрицанию альтернативных путей послевоенного развития, тем самым и к отрицанию как раз того прогрессивного, что нес с собой "постревизионизм".

Критиковать М. Шервина трудно. Он впервые ввел в научный оборот

---

<sup>57</sup> Повторим, что скорее они могли ощутить американское коварство: несмотря на значительный вклад британских специалистов и важную роль, которую Великобритания играла в обеспечении поставок материалов для "Манхэттенского проекта", англичане, говоря словами Г. Херкена, были сведены до положения "бедных родственников", а затем и попросту "изгоев"; их попытки уговорить американцев оставить им хоть какую-то долю участия в послевоенных атомных делах напоминали, по его же словам, переговоры американских индейцев с белыми пришельцами. См.: *Herken G.* Op. cit. P. 61–66, 144–147, 350–352.

<sup>58</sup> *Sherwin M.J.* A World Destroyed: The Atomic Bomb and the Grand Alliance. N.Y., 1975. P. 187, 140.

<sup>59</sup> *Dallek R.* Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945. N.Y., 1979. P. 534.

огромное количество ранее неизвестных фактов; он не занимался их "селекцией", беря, что подходит, и отбрасывая, что не подходит (мы видели выше примеры такой манеры – наиболее ярко она проявилась у Х. Томаса); налицо образец добросовестного исследования. И все же...

Ограничимся одним фактическим рядом, говорящим об отношении Рузвельта к "атомным секретам". Август 1944 г. Рузвельт принимает датского физика Бора, который говорит о необходимости уведомить советских коллег о западных разработках в области атомной энергии. Президент соглашается. Сентябрь 1944 г. Рузвельт встречается с Черчиллем, который говорит о необходимости строго оберегать "атомные секреты" от советского союзника, а за Бором... установить слежку. Рузвельт и здесь соглашается. Декабрь 1944 г. Военный министр США Стимсон докладывает президенту: французский физик Альбан, участник "Манхэттенского проекта", собирается вернуться на родину; грозит "утечка информации", этого допустить нельзя. Рузвельт вновь соглашается. Февраль 1945 г. Ялта. Рузвельт в частном разговоре с Черчиллем упоминает о том же Альбане: он уже во Франции, скорее всего, он уже много рассказал коллегам о том, чем занимался в Америке; вероятно, это дойдет и до Сталина; не лучше ли информировать его самим об атомном проекте? Черчилль в ярости: ни в коем случае! И опять-таки президент соглашается<sup>60</sup>. Вроде бы все ясно: согласие Рузвельта с Бором начисто перечеркнуто последующими согласиями с противниками гласности в атомных делах. Но так ли все просто?

Вот, к примеру, такая неувязка: на самом высоком уровне говорится о том, что нельзя допускать отъезда Альбана во Францию. Но какова цена соответствующего решения, а значит, и согласия с ним президента, если данное лицо вскоре оказывается там, куда его "не хотел пускать" сам президент США? Может быть, не так уж сильно "не хотел"? Допустим, принцип соблюдения прав человека или какие-то организационные неувязки оказались сильнее воли президента. Зачем же ему понадобилось признавать свое бессилие перед Черчиллем, да еще по собственной инициативе? Зачем вообще было поднимать этот вопрос? А может быть, как раз появление Альбана во Франции было в интересах Рузвельта, дав ему лишний аргумент в пользу гласности в атомных делах? А может быть, его согласия с противниками такой гласности диктовались просто опасениями, что в противном случае последует "утечка" в прессу о том, что президент "распродает" государственные секреты (в этом умудрились обвинить даже Трумэна, когда он просто хранил молчание при соответствующих дискуссиях)? Разумеется, все это именно вопросы, отнюдь не ответы, но, на наш взгляд, они свидетельствуют о том, что интерпретация приведенных фактов, как она дается М. Шервином, видимо, не единственно возможная.

Наконец, при всей солидности корпуса первоисточников, использованного М. Шервином, он все-таки вряд ли достаточен. Скрупулезно собрав факты из сферы отношений Рузвельта с представителями в общем-то су-

---

<sup>60</sup>См.: *Sherwin M. Op. cit.* P. 109, 132, 136.

губо консервативных кругов, автор не проявил особого интереса к сферам его отношений с либеральным истеблишментом. Анализ соответствующих первоисточников провел недавно советский историк В.Л. Мальков и результат его изысканий несколько иной, чем у М. Шервина: в последние дни своей жизни Рузвельт вновь обращается к идеям Бора<sup>61</sup>. Разумеется, ни один историк не может сказать, как бы в дальнейшем могла эволюционировать линия Рузвельта, но, на наш взгляд, никак нельзя считать "атомную дипломатию" (а в более широком плане и "холодную войну") частью рузвельтовского наследия. Политика конфронтации стала проводиться только после 12 апреля 1945 г. Ее идеология была отрицанием того, что воплощал собой Ф. Рузвельт.

Прав Г. Херкен, когда отмечает, что "Трумэн не унаследовал ни гибкости, ни дипломатической тонкости, характерной для [политического планирования его предшественника]". Прав он и в том, что именно политика трумэновской администрации положила начало гонке ядерных вооружений. И если он все-таки не считает, что иная политика в ядерной области могла предотвратить "холодную войну", то, думается, он несколько противоречит сам себе<sup>62</sup>. Без гонки вооружений, особенно же ядерных, обострение советско-американских отношений после второй мировой войны (по-видимому, неизбежное в условиях сталинизма) осталось бы на уровне "холодного мира". Оно не создало бы той чудовищной инерции, которой хватило еще на 30 с лишним лет после смерти Сталина.

Итак, если говорить об идеологическом факторе в "холодной войне" то роковую роль следует усмотреть не в социалистической или буржуазной идеологии и не в их столкновении (в принципе и та, и другая вполне допускали существование стран с иной социально-политической системой). Главным "идеологическим мотором" конфронтации явилась установка на "всемогущество", которое якобы могло быть достигнуто путем обладания оружием массового уничтожения — либо монополией на него либо превосходством в его количестве и качестве<sup>63</sup>. Возникновение этой установки в правящих кругах США не было, конечно, случайностью. Н

<sup>61</sup>См.: Мальков В.Л. Франклин Рузвельт: Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988. С. 304—308.

<sup>62</sup>Herken G. Op. cit. P. 13, 340.

<sup>63</sup>Г. Херкен употребляет для характеристики этой установки термин, введенный оборот американским психологом Р. Лифтоном: "нуклеаризм". Это «светская религия, тотальная идеология, согласно которой мощь нового технического божества обеспечивает победу над смертью и злом... "Нуклеарист" отождествляет себя этой мощью и ощущает потребность доказать всем благодать, исходящую от этого божества. Возникает зависимость от оружия — без него, как мыслит "нуклеарист" мир просто не сможет существовать» (Herken G. Op. cit. P. 339).

Центральная роль "нуклеаризма", или идеологии "атомного устрашения" (как ее принято называть у нас), в качестве системообразующего признака "холодной войны", признание этой роли диктуют и необходимость более дифференцированной оценки отдельных личностей, которые обычно фигурируют в стандартной риторике идеологов "холодной войны". Все же, к примеру, в "длинной телеграмме Кеннана об атомной бомбе речи не было, тогда как в фултонской речи Черчилля она представляла собой главную "изюминку".

оно не было и неизбежностью. Альтернатива имелась. К признанию этой истины приходят и наиболее выдающиеся представители западной исторической науки<sup>64</sup>. В этом, так же как в осуждении идеологии, политики и практики ядерного шантажа, свидетельство усиления позитивных тенденций в ее развитии.

### ”ТРАДИЦИОНАЛИСТСКАЯ МОДЕЛЬ” В ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ”ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ”

Казалось бы, нелегко установить связь между генезисом ”холодной войны” и так называемым ”завещанием Петра Великого” – антирусской фальшивкой, которой пользовался еще Наполеон. Между тем такую связь установил недавно американский историк Дж. Клиффорд. Изучая личные архивы президента США Г. Трумэна, он обнаружил, что последний довольно интенсивно штудировал этот ”исторический документ”, рассматривая его как ”ключ” к современной ему внешней политике Советского Союза. Извлеченный таким образом ”урок истории” если не прямо побудил президента США заняться ”сдерживанием”, то по крайней мере укрепил его в таком ходе мыслей. Американский историк излагает этот эпизод как курьезное недоразумение, возникшее на почве чрезмерной доверчивости президента к непроверенной информации и незнания им истории (хотя приводимые факты свидетельствуют скорее не о том, что президент был обманут, а о том, что он очень хотел быть обманутым)<sup>65</sup>. Как бы то ни было, подложность ”завещания”, содержавшего якобы программу ”завоевания мирового господства”, не вызывает у Клиффорда сомнения. Вскоре его коллега солидный советолог А. Резис опубликовал специальное исследование на тему этой легенды и ее использования ”руссофобами”<sup>66</sup>.

Тем не менее ”недоразумение”, если его можно так назвать, вовсе на этом не закончилось. Основная идея, которой руководствовался в свое

---

<sup>64</sup>В исследовании Б. Бернштейна убедительно доказывается тезис об ”упущенной возможности” предотвратить тот виток гонки ядерных вооружений, который начался испытанием американского термоядерного устройства осенью 1952 г. Противники этого испытания в США вовсе не были прекраснодушными идеалистами и не строили иллюзий насчет ”доброй воли” Сталина (упреки такого рода всегда оставались сильным оружием ”нуклеаристов”). Аргументация оппонентов гонки вооружений сводилась к тому, что без испытаний американские разработчики скорее сумеют сохранить определенный отрыв от советских, а в случае если СССР первым проведет испытание нового оружия, то он возьмет на себя моральную ответственность, ничего не выиграв в военном плане. Конечно, только специалист может вынести окончательный вердикт по поводу этой аргументации. Факт в том, что тогдашние лидеры США с ней соглашались, но испытания все же провели! Выходит, что даже не преимущество в ядерной гонке их интересовало в первую очередь, а сама гонка как таковая! См.: *Bernstein B. Crossing the Rubicon: A Missed Opportunity to Stop the H-Bomb // International Security. 1989. Vol. 14, N 2. P. 132–160.*

<sup>65</sup>*Clifford J. President Truman and Peter the Great Will // Diplomatic History. 1980. Vol. 4, N 4. P. 371.*

<sup>66</sup>*Resis A. Russophobia and the ”Testament” of Peter the Great, 1812–1980 // Slavic Review. 1985. Vol. 44, N 4. P. 681–693.*

время Трумэн, – вывести “советскую угрозу” из той “русской угрозы”, с которой поведали миру авторы фальшивого царского “завещания”, – и поныне оплодотворяет западную историографию. И это присуще трудам, авторов которых никак нельзя считать “аутсайдерами”, комичными фигурами, непринятыми всеми всерьез. Как раз напротив.

В конце 1986 г. ведущий советологический журнал в США опубликовал развернутую рецензию на ряд самых новых, самых репрезентативных трудов на нестареющую тему об “истоках советского поведения”. И что же?” Все четыре автора [Р. Пайпс, З. Бжезинский, Э. Луттвак и С. Биалер] согласны, что Россия всегда была и Советский Союз продолжает оставаться экспансионистской державой. Они таким образом подчеркивают автотонные корни нынешнего советского экспансионизма... Ни один из четырех авторов не выявляет идеологических корней советского экспансионизма”<sup>67</sup>. Рецензент – им был знакомый нам У. Таубман – довольно критически отнесся к этой интерпретации, однако мало шансов, что его критика возымеет действие. Примерно десятилетием раньше такой же критике подвергалась книга Р. Уэссона, выдержанная в духе все тех же рассуждений о “русской душе”, требующей-де “постоянной экспансии”<sup>68</sup>. Еще десятилетием раньше, о чем упоминалось выше, на Лондонской конференции по проблемам “холодной войны” 1967 года Л. Галле проводил параллель между “сдерживанием” Советского Союза в XX в. и “сдерживанием” России в XIX столетии, приводя в качестве примера, заслуживающего подражания, то, как это делали тогда британские политики. Еще раньше параллели между политикой СССР и царской России обнаруживал У. Липпман в той первой книге, где фигурировало понятие “холодная война”.

Если же попытаться найти самый первый пример сочетания апологии политики “холодной войны” и апелляции к “зловещим традициям” советской внешней политики, то, видимо, этот поиск приведет к забытой ныне книге американского автора австрийского происхождения Р. Ингрима. Там содержался, в частности, такой пассаж: “Советские агенты с успехом распространили мнение, что внешняя политика Англии между двумя мировыми войнами определялась узколобым капиталистическим реакционным страхом перед большевизмом... Однако англичане хорошо знали, что политика великой державы всегда остается одной и той же. Революция могут вызывать перерывы или отклонения, но через короткое время революционеры начинают делать то же самое, что и их предшественники. История – это дитя географии, а география не меняется. Англичане чрезвычайно дальнорочно предвидели, и ныне можно только поражаться этой дальнорочности, что Советская Россия через короткое время будет столь же империалистической, как и Россия царей, – только значительно опаснее, ибо коммунизм, по-видимому, будет оказывать более сильное притягательное воздействие на отсталые народы Азии и Бал-

<sup>67</sup> *Taubman W. Sources of Soviet Foreign Conduct // Problems of Communism. 1986. Sept.-Oct. Vol. 35, N 5. P. 48.*

<sup>68</sup> *Wesson R. The Russian Dilemma: a Political and Geopolitical View. New Brunswick, 1974.*

кан”<sup>69</sup>. Сама книга, содержащая эти откровения, не получила особой популярности в Америке: хотя идея о ”советских агентах” входила там в моду, этого нельзя было сказать о слишком уж явном восхвалении Габсбургов и Мюнхена, характерном для концепции автора (зато именно эти качества сделали ее популярной в ФРГ, где она была переиздана в начале 50-х годов). Во всяком случае, содержащейся в ней идее ”преемственности” между установками внешней политики царской России и Советского Союза в качестве объяснения причин ”холодной войны” была суждена, как видим, долгая жизнь.

И не только в американской историографии. Яркое воплощение эта ”традиционалистская модель” нашла в историографии Великобритании – той страны, которая для столь многих являлась образцом традиционной ”твердости” в отношении как царской России, так и ”большевистской угрозы”. Всецело в духе этой идеи выдержана была, например, одна из самых фундаментальных работ по истории становления послевоенных международных отношений, написанная Дж. Уилер-Беннетом и А. Николлом. В рецензии западногерманского историка Л. Кеттенакера эти авторы были подвергнуты критике за абсолютную недоказанность тезиса об ”одинаковости” целей ”царского” и ”советского” империализма<sup>70</sup>. В данном случае критика, однако, не помогла. Примитивные параллели-анalogии по-прежнему в ходу.

Нами уже упоминалось о грандиозном предприятии Х. Томаса – многотомной истории ”холодной войны”. Так вот одна из начальных глав первого тома посвящена поискам ее корней в истории внешней политики... дореволюционной России! Начинается глава с цитат из Фридриха II и Наполеона, где о русских говорится как о ”чудовищной силе, ведущей свое происхождение от гуннов”, и как об ”орде татар”, а завершается она глубокомысленным заключением: ”Внешняя политика России в 1914 и 1946 годах была похожа”<sup>71</sup>.

Более академична книга А. Буллока, но и там характеристика послевоенной советской внешней политики начинается с обращения к ”времени Ивана Великого” и априорного утверждения, что с тех пор ”история Российского государства была историей стабильной и непрерывной экспансии”<sup>72</sup>.

На фоне такой стабильности в приверженности традициям ”традиционалистской модели” западногерманская историография может рассматриваться как пример резких поворотов. Книга Р. Ингрима не случайно нашла себе почитателей именно там: ее направленность против славян и вообще всех ”восточных народов”, ее апологетика монархических традиций как нельзя лучше соответствовали идеологической обстановке ”эры Аденауэра”, который уже на закате жизни открыл в мемуарах некий советский

<sup>69</sup>*Ingrim R. After Hitler Stalin? Milwaukee, 1946.* Нами было использовано западногерманское издание: *Ingrim R. Von Talleyrand zu Molotoff: Die Auflösung Europas.* Stuttgart, 1951. S. 158.

<sup>70</sup>*Historische Zeitschrift.* 1974. Bd. 219, H. 1. S. 183.

<sup>71</sup>*Thomas H.* Op. cit. P. 88–89.

<sup>72</sup>*Bullock A.* Op. cit. P. 6.



”дранг нах вестен”, осуществлявшийся ”со времен царей”. Но с середины 60-х годов стали появляться и более реалистические оценки. Еще в 1964 г. Д. Гейер подверг критике ”теорию преемственности” в небольшой рецензии<sup>73</sup>, а в 1972 г. в качестве руководителя фундаментального труда по истории внешней политики СССР он развил ее, когда призвал ”не оставаться на том уровне, который предопределяется гипертрофированным антикоммунизмом 50-х годов”, отказаться от ”огульных общих дефиниций... для российской (т.е. дореволюционной. — А.Ф.) и советской политики” и от идеи ”традиционного стремления Москвы к мировому господству”<sup>74</sup>. Казалось бы, здравый смысл берет верх. Однако в одном из разделов, посвященном как раз послевоенному периоду, мы встречаем такие, например, тезисы, как ”советское стремление поставить ногу на Средиземноморье”, выдержанное-де ”в традициях царской России”<sup>75</sup>.

Было бы, конечно, неверно ”стричь под одну гребенку” разных представителей ”традиционалистской модели” и не видеть очевидных различий и даже противоречий между ними в самих их рассуждениях. Одни придерживаются точки зрения об ”универсальном” характере ”советско-русской экспансии”, к примеру ныне возглавляющий систему ”остфоршунга” ФРГ К.Г. Рuffман, который в свое время порадовал научную общественность открытием ”универсального закона”. Советское государство, возвестил он, ”явно продолжает внешнюю политику свергнутого им царского режима, осуществляя, как и прежде, свой экспансионистский натиск по тем же четырем ударным направлениям русской внешней политики — на юг, запад, северо-запад и восток, которые были характерны для русской истории со второй половины XVI в. (!)”<sup>76</sup>. Другие выделяют какое-то одно ее ”основное направление”<sup>77</sup>, причем кое-кто датирует ее начало с Петра или Екатерины, а некоторые — и с более отдаленных времен. Р. Пайпс, например, считает, что накануне 1917 г. русский империализм и русское самодержавие были ”европеизированными”, а потому вовсе не столь уж страшными, зато их устранение дало выход намного худшим традициям ”Москови”. А Буллок, который, как мы видели, тоже придерживается тезиса о ”московитских” традициях, в отличие от Р. Пайпса, очевидно, не считает их уже особенно уникально агрессивными. Наиболее яркой чертой российской истории он считает угрозу постоянных вторжений извне, а потому, по его мнению, расширение российских границ носило ”гораздо более оборонительный характер”, нежели ”начавшаяся тогда же заморская экспансия государств Западной Европы”<sup>78</sup>.

Нетрудно заметить, что в последнем случае, как только западный

<sup>73</sup>Neue politische Literatur. 1964. Н. 2. S. 810.

<sup>74</sup>Sowjetunion. Aussenpolitik 1917—1955. S. 6, 346.

<sup>75</sup>Ibid. S. 513.

<sup>76</sup>Ruffmann K.-H. Grundlagen und Grundzüge der sowjetischen Aussenpolitik // Aktuelle Probleme sowjetischer Politik. Mainz, 1969. S. 23.

<sup>77</sup>С конца 70-х годов особенно муссируется тезис о ”южном” направлении — ”стремлении к теплым морям”. См.: Walker W. The Bear at the Back Door: the Soviet Threat to the West's Lifeline in Africa. Sandton, 1978; Schwantz W. Sowjetische Weltmachtkonzeption: Flottenrüstung und Entwicklungsländer. Bern, 1978.

<sup>78</sup>Bullock A. Op. cit. P. 6.

ученый вспомнил о стандартных в общем-то заповедях историзма – необходимости сравнительного конкретно-исторического анализа, он сразу приблизился к более корректной трактовке проблемы национальных традиций. Заключается таковая, на наш взгляд, в констатации следующих двух моментов: во-первых, в условиях классового эксплуататорского строя все государства, поскольку они отражают классовые интересы господствующей верхушки, имеют тенденцию к экспансии и захватам; во-вторых, что не менее важно, во внешней политике этих государств могут отражаться и интересы, выходящие за рамки узкоклассовых, национальные, государственные в подлинном смысле, поскольку речь идет, например, о защите независимости страны или самого права ее населения на жизнь. Отсюда следует, что исторический опыт и традиции каждой страны образуют сложное сочетание реакционного и прогрессивного, деспотического и демократического; оценка их, разумеется, будет различной в зависимости от времени, когда она дается и к которому относится, равно как и от того, какой позиции придерживается тот, кто эту оценку дает.

Что касается конкретно истории России, одно дело – борьба против ордынского ига и его последствий, за восстановление контактов с Западной Европой, и совсем другое – участие в разделах Польши или разделе Ирана на сферы влияния (кстати, западные историки, осуждая при этом – и справедливо – царское правительство, как-то оставляют в тени других участников этих сделок)<sup>79</sup>. Далее. Особо реакционная роль николаевской монархии как “жандарма Европы” обусловила оправданно резкие высказывания по адресу тогдашней внешней политики России и воплощенных в ней традиций со стороны передовых людей того времени. Однако это вовсе не означает, что Г. Гейне или К. Маркс относились к России так же, как Фридрих II или Наполеон, как это пытается представить Х. Томас. Наконец, постулат “извечной агрессивности” никак не применим к политике Советской страны, которая в одном из первых документов – “Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа” – заявила о “полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, колониях вообще и в малых странах”<sup>80</sup>.

Вместе с тем, как известно, уже в комментарии к самому первому акту Советского правительства – “Декрету о мире” В.И. Ленин обращал особое внимание на тот факт, что “грабительские правительства не только соглашались о грабежах, но среди таких соглашений они помещали и экономические соглашения и разные другие пункты о добрососедских отношениях... Мы отвергаем все пункты о грабежах и насилиях, но все пункты, где заключены условия добрососедские и соглашения экономические, мы радушно примем, мы их не можем отвергать”<sup>81</sup>. В этой связи определенные возражения может вызвать формула, выдвинутая акад. А.Л. Нароч-

<sup>79</sup>См., например: *Mastny V. Russia's Road to the Cold War: Diplomacy, Warfare and Communism, 1941–1945.* N.Y., 1979. P. 5.

<sup>80</sup>См.: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 35. С. 222.

<sup>81</sup>Там же. С. 20.

нищим: "Советский Союз является правопреемником ряда договорных условий об отношении России с ее соседями, но ни о какой преемственности по существу между внешней политикой СССР и царской России говорить не приходится. Имеет место коренная классовая противоположность между ними"<sup>82</sup>.

Но разве "условия добрососедские и соглашения экономические" отражены были только в действующих договорах и только с соседями? Разве традиции взаимовыгодного сотрудничества с самыми различными партнерами не выражают преемственности, притом *по существу*, с тем лучшим, что было в политике дореволюционной России? Разве новое политическое мышление не является развитием общечеловеческих демократических принципов, начавших развиваться задолго до 1917 г.? Можно поставить вопрос и по-другому: разве те отступления от социализма, которые имели место под влиянием личной власти Сталина, не давали почвы для известной реанимации негативных образцов и традиций дореволюционной внешней политики?

При очевидных ответах на эти вопросы следует, конечно, иметь в виду, что не традиции сами по себе определяли политику, а политика определяла их выбор: чем выше было ее социалистическое, а значит, и гуманистическое качество, тем в большей степени в ее арсенал включались передовые, прогрессивные общедемократические и общечеловеческие традиции, и наоборот. В этом смысле "традиционалистские модели", приписывающие прошлому *решающую* роль, в частности в развязывании "холодной войны", очевидно, не представляют собой адекватного решения; в сталинском менталитете присутствовали элементы, свидетельствующие о некритичном отношении к некоторым, далеко не лучшим традициям российской внешней политики<sup>83</sup> (и вообще российской истории), однако проблема здесь не в традициях, а в сталинизме.

В этой связи, очевидно, нельзя принять и "традиционалистскую модель" в, так сказать, "перевернутом виде": мол, традиции царской России были однозначно "хорошие", а потому и советская политика, поскольку в ней эти традиции отражались, не могла быть "плохой". Такой вариант в западной историографии встречается реже, но встречается (в качестве примера можно вспомнить книгу Б. Елавич<sup>84</sup>). Вывод в рамках этого варианта – об оборонительном характере внешней политики СССР, в том числе и после 1945 г., – вполне реалистичен; однако посылки, выво-

<sup>82</sup>См.: *Вопр. истории*. 1976. № 2. С. 76.

<sup>83</sup>"Сталинская внешняя политика... приобретала отчетливо великодержавный характер... В определенной мере это означало возврат к традиционным геополитическим соображениям, которые во многом определяли политику дореволюционной России, попыткам обеспечить интересы государства за счет максимального наращивания его мощи, прежде всего военной", – отмечает советский исследователь (см.: *Малашенко И. Идеалы и интересы // Новое время*. 1988. № 45. С.26). Эти мысли оставляют желать большей точности: так, видимо, следует отличать разные традиции в "геополитических соображениях" и иметь в виду, что увлечение военной мощью характерно и для брежневского руководства; в целом, однако, с ними можно согласиться.

<sup>84</sup>*Elavich B. St.-Petersburg and Moscow: Tsarist and Soviet Foreign Policy 1815–1974*. Bloomington, 1974. См. также: *Вопр. истории*. 1979. № 3. С. 21.

дящие этот тезис из "миролюбия" и прочих позитивных начал царской внешней политики, принять трудно. Игнорирование той "коренной классовой противоположности", о котором вполне справедливо говорит А.Л. Нарочницкий, в данном случае мстит за себя явной натянутостью отдельных "аналогов" и "параллелей".

Естественно, не лучше обстоит дело, когда такие аналогии и параллели используются для доказательства однозначно "негативной" преемственности во внешней политике СССР.

Но может быть, в последнее время появились какие-то новые факты, которые могли бы оправдать такой подход? По этому поводу можно сказать, что налицо не факты, а попытки таковые создать, попытки, далекие от стандартов научного исследования. Только один пример.

Выше уже упоминалось, что наиболее модна сейчас идея о традиционном "российско-советском натиске к теплым морям". Известные планы царской верхушки насчет раздела Оттоманской империи, акции по разделу с Англией "сфер влияния" в Иране, как пытаются внушить ныне обществу, лишь на время были оставлены при Советской власти с тем, чтобы при удобном случае возродиться в еще более широких масштабах. И вот в 1981 г. появляется книга английского автора Р. Дугласа, в которой читателям представляется сенсационная архивная находка: запись в секретном дневнике американского министра внутренних дел Г. Икеса от 17 декабря 1942 г. о том, что с советской стороны поставлен вопрос о приобретении "порта в Персидском заливе"<sup>85</sup>. Выходит, что СССР уже тогда планировал аннексию территории Ирана – очень удобный тезис не только для того, чтобы доказать советскую виновность в "иранском кризисе" начала 1946 г. – одном из тех, из которых выросла "холодная война", но и для того, чтобы испортить советско-иранские отношения на нынешнем этапе. Убедительность версии должно придать то обстоятельство, что Г. Икес был одним из самых дружественно настроенных к СССР членов рузвельтовской администрации, так что мотив искажения по антисоветской предвзятости автора записи явно отпадает.

Но что же выясняется, если сопоставить эту "находку" с другой, сделанной исследователем, специально занимавшимся "иранским вопросом" и его ролью в генезисе "холодной войны"? Исследователь этот – Б. Рубин, сотрудник известного Центра стратегических и международных исследований при Джорджтаунском университете. Там исследователей с "про-советскими" взглядами не терпят, так что искажения в "пользу СССР" от его труда ждать не приходится, скорее наоборот. Тем не менее вот какая в его книге содержится интересная информация: действительно, в Иране как раз в 1942 г. усиленно распространялись слухи о стремлении СССР "получить выход в Персидский залив", и не только в него, но и в Оманский залив. Их поручили перепроверить американской разведгруппе. Выяснилось, что никаких фактов за этими слухами нет, а сами слухи исходили от... американского посла в Тегеране<sup>86</sup>.

<sup>85</sup>Douglas R. From War to Cold War, 1942–1948. N.Y., 1981. P.137.

<sup>86</sup>Rubin B. The Great Powers in the Middle East, 1941–1947: The Road to the Cold War. L.; Totowa (N.J.), 1980. P. 78, 91.

В свете этой информации можно предположить и траекторию появления этого слуха на страницах дневника Икеса. По своей должности министра внутренних дел ему приходилось часто контактировать с нефтяными магнатами, которые, вполне вероятно, через своих эмиссаров в Иране были осведомлены о том, что там происходит, и не преминули, конечно, указать "розовому" министру на "козни коммунистов" (не исключено, что сами они и инспирировали клеветническую кампанию). Из приводимой Дугласом ссылки на "дневник Икеса" неясно, в каком контексте фигурирует соответствующая запись. Но даже если эта "новость" сочтена была им заслуживающей внимания (в принципе этого нельзя исключать: даже близкие к Рузвельту и неплохо относившиеся к СССР лица зачастую склонны были "клевать" на разного рода "развесистые клюквы", когда речь шла о советской действительности), это может свидетельствовать о чем угодно: об излишней доверчивости министра, об искусности распространителей слухов, но никак не о советской политике. Проблема здесь – для американиста, а не для советолога. Если же говорить о "советологическом" анализе, который пытается предпринять в данном случае Р. Дуглас, то он поражает примитивизмом. Это типичный прием "выхватывания цитаты" по принципу: секретное – значит истинное. Несомненно, Б. Рубин проявляет куда более высокий уровень компетентности и точности.

\* \* \*

"Традиционалистская модель" применяется для анализа внешней политики не только СССР, но и другой стороны в "холодной войне". И при этом наличествуют два ее варианта: "осуждающий" и "одобряющий", хотя распространенность их, разумеется, обратна. Господствует представление о том, что внешнеполитическая традиция Запада настолько "чиста и непорочна", что одно это полностью исключает всякую возможность его инициативы в послевоенной конфронтации. Поскольку с таким представлением никак не сочетается грех "заморской экспансии", который признается (мы это видели) за странами Западной Европы, то, естественно, доказательство безгрешности приходится искать главным образом в американской истории.

Типичный пример таких поисков – упоминавшаяся книга швейцарского историка К. Шпильмана. Посвящена она, напомним, послевоенной политике США, но начинается с глубокой старины – по той же логике, какой, положим, руководствуются Х. Томас или А. Буллок, говоря о послевоенной политике СССР. Каковы же в данном случае извлекаемые уроки истории? Америка времен ранней колонизации, до освободительной войны и революции, – это "уникальный образец... гигантского социального эксперимента по созданию той утопии христианской гармонии и мира, о которой всегда мечтало человечество". Затем следует процесс "распространения американских ценностей свободы, демократии и прогресса на весь Американский континент". Автор вспоминает, правда, что этот процесс шел не в вакууме, но лишь для того, чтобы восславить завоевателей – "культуртрегеров": "Индейцы были слишком слабы, далеки от политики и разобщены, чтобы противостоять распространению порядка

белых. Правительство Мексики также не могло предотвратить продвижения США в Техас, Калифорнию, Нью-Мексико и Аризону. Были заселены Невада и Юта, взят во владение – вопреки британским притязаниям – Орегон” и т.д. Характерен употребленный лексический ряд: нет ни единого слова, которое вызвало бы представление о насилии, агрессии, тем более о геноциде, всем том, что сопровождало завоевание ”Дикого Запада”. Однажды упомянут ”угар экспансии”, но лишь в том контексте, что он ”прервался”. Взрыв экспансионизма на рубеже XIX и XX вв. автор характеризует как ”фантазии, выросшие параллельно мирной идеологии и на ее почве (?)”<sup>87</sup>.

Неудивителен и вывод автора относительно более современных сюжетов: «Республиканское и свободолюбивое кредо американского народа исключает [политику] подчинения и прямого господства в отношении других территорий и народов... Большинству американцев непонятно, почему их экономическая деятельность за рубежом всегда расценивается в соответствии с ленинской терминологией как ”империализм”: ведь нигде они не обнаруживают намерения установить прямое политическое господство над кем-либо»<sup>88</sup>. Опять-таки нетрудно обнаружить словесную эквилибристику автора: ”прямое господство” подразумевает наличие колоний, а таковых у США было действительно немного; но разве это обстоятельство снимает проблему экспансионизма в политике США<sup>89</sup>?

В общем, как мы уже имели возможность убедиться, К. Шпильман – это крайний случай; он хорош как ”архетип”, но, конечно, более типичны известные отступления от него. Примерно одновременно с книгой К. Шпильмана в том же издательстве вышла другая книга, предметом которой тоже была послевоенная внешняя политика США и роль в ней традиций американской истории. Автор ее, западногерманский американист Х. Хаке, в общем разделяет заповеди ”атлантической” идеологии (иначе он, очевидно, не был бы преподавателем Академии бундесвера), но отнюдь не склонен к безудержному восхищению ”американским образцом”. Он к тому же иронически замечает, что в американской внешней политике проявилась ”кальвинистская традиция самоуверенности в собственном бескорыстии, используемая как метод оправдания интервенции”<sup>90</sup>. Кальвинизм или что другое здесь влияло – об этом можно спорить; однако указание на интервенционизм как один из элементов идеологии американизма, безусловно, верно.

Еще определеннее критический настрой в упоминавшейся книге Ю. Бруна, сам подзаголовок которой (”Насилие и экономический империализм в американской внешней политике с 1840 года”) говорит за себя.

Весьма критичен в оценке исторических традиций собственной страны и:

<sup>87</sup>Spillman K. Op. cit. P. 13–19.

<sup>88</sup>Ibid. P. 219.

<sup>89</sup>Эта проблема достаточно разработана в советской историографии. См., в частности: Мельников Ю.М. Имперская политика США. М., 1984.

<sup>90</sup>Hacke Ch. Von Kennedy bis Reagan: Grundzüge der amerikanischen Politik 1960–1984. Stuttgart, 1984. S. 15.

Т. Патерсон – типичный представитель “левого” крыла в “постревизионизме”. Он отмечает, в частности: “В американскую идеологию была запрессована уверенность, что Соединенные Штаты получили в дар принципы и институты, которые превосходят все остальные и которые все должны принять. Как бы это ни называть – миссионерским пылом, ощущением явного предопределения, самодовольством, заносчивостью или шовинизмом, – для американцев это было представлением о себе как об избранном народе”. Патерсон проявляет достаточно, кстати, объективности, чтобы указать, что это “представление” игнорировало такие явления, отнюдь не соответствовавшие идеалу “превосходства”, как, например, расовая сегрегация<sup>91</sup>.

И далее, приведя возмущенный комментарий не кого иного, как У. Черчилля, по поводу лицемерных заявлений его американских партнеров, что они-де всегда принципиально против “политики силы” (“иметь ВМС, большие вдвое, чем какая-либо другая держава, – это ли не политика силы? Или ВВС ббльшие, чем все другие, – с базами по всему миру? Или все золото мира в своих сейфах?”), американский историк дает собственный комментарий: “Американцы на самом-то деле всегда умели применять силу, несмотря на все самоуничижительные заверения в обратном, и их экспансионистский список XIX и XX вв. – тому свидетельство. В послевоенном мире они следовали принципу поддержания своей национальной мощи, а это было гарантией того, что они будут продолжать этот список и не смогут действовать иначе”<sup>92</sup>.

Критика оправданно резкая, но оправдан ли некий ее фаталистически “самоуничижительный” (если использовать, хотя и в обратном смысле, авторский эпитет) аспект: мол, мы, американцы, как нация экспансионисты по природе, и ничего с этим не поделаешь? Без ответа остались важные вопросы: были ли такого рода традиции *единственными* в американской истории, характерными для *нации* в целом? Если нет, то каковы были тенденции взаимодействия разных традиций, закономерности их развития или, наоборот, угасания? И наконец, каков был механизм взаимодействия традиций и политики?

Считая, впрочем, умолчание формой ответа, можно сказать, что Т. Патерсон ответил “да” на первый вопрос, что сняло и все остальные. То же характерно, и даже в большей степени, для более “левых” критиков типа Ю. Бруна. По нашему мнению, здесь кроется еще одна слабость, ограниченность критического направления – как в “ревизионизме”, так и в “постревизионизме”, собственно та же, которая отмечалась при разборе “идеологической модели”. Там речь шла о сужении набора альтернатив в политике, тут – о сужении набора альтернатив в истории.

Этой узости в известной мере избегает, в частности, упоминавшийся нами выше Х. Хаке: наряду с традицией интервенционизма он отмечает и традицию неинтервенционизма в американском прошлом. Однако это еще не сбалансированность, а эклектика; сказать “было и то, и другое” –

<sup>91</sup>Paterson T. Op. cit. P. 73.

<sup>92</sup>Ibid. P. 83.

этого, конечно, мало; важнее, очевидно, сказать, что было важнее и когда.

Ответить на это попытался, и в общем удачно, Дж. Гэддис. В работе, специально посвященной роли исторического "наследия" в предыстории "холодной войны", он отмечает, например, что "около 1900 г. ... правительство Соединенных Штатов постепенно стало отходить от своей традиционной точки зрения, что внутренний строй других государств не имеет никакого отношения к вопросу о внешних связях, которые оно с ними поддерживает"<sup>93</sup>. Это уже ответ на вопрос о том, как менялось соотношение между разными традициями в политическом менталитете, а следовательно, и в политике; по сути, это признание растущей *идеологизации* американской политики, которая, накладываясь на мессианство, способствовала формированию глобалистского интервенционизма.

Но был ли этот путь единственным, безальтернативным? Дж. Гэддис отвечает и на этот вопрос, правда, уже в другой работе – и опять-таки этот ответ в принципе корректен. Материалом для этого его ответа послужил анализ взглядов английских и американских геополитиков и резких, даже кардинальных, поворотов в этих взглядах – при сохранении в неприкосновенности их методологической основы. О чем шла речь? Геополитики (Х. Маккиндер в Великобритании, Н. Спикмэн в США) традиционно делили все государства мира на две категории: "хартлэнд" (континентальные, "сухопутные" страны) и "римлэнд" (прибрежные, "морские"), столь же традиционно отводя первым роль агрессоров, противников, а вторым – обороняющихся, союзников. Однако в условиях второй мировой войны "римлэнд" – это были территории, захваченные Германией и Японией и ставшие базой угрозы для США и Великобритании, а "хартлэнд" – СССР и Китай – стали главной силой, борющейся с агрессией, были союзниками. И вот, как отмечает Дж. Гэддис, в 1943 г. вначале Х. Маккиндер «модифицировал свой тезис, начав указывать на опасности того, что "римлэнд" может установить господство над "хартлэндом", а не наоборот», а затем, в 1944 г., за ним последовал и Н. Спикмэн (уже в посмертно изданной книге)<sup>94</sup>. Здесь интересны две стороны: во-первых, сам момент "модификации" старого тезиса: это как раз 1943 год – период перелома в политике и политическом мышлении США в сторону реализма и идеи сотрудничества<sup>95</sup>; во-вторых, четкая и верная характеристика механизма взаимовлияния политики и традиций: определяющим фактором является *политический*; не традиции сами по себе – будь то мессианство, геополитика или что-либо другое – диктуют политические решения и позиции, а, напротив, последние определяют выбор, акцентировку или толкование тех или иных традиций.

О чем не говорят Дж. Гэддис и практически никто из его коллег – так это о судьбах и влиянии *демократической* традиции в истории США. Ха-

<sup>93</sup> Gaddis J. The Long Peace. P. 6.

<sup>94</sup> Ibid. P. 22–23, 25–26.

<sup>95</sup> В этой связи интересно и замечание Дж. Гэддиса о том, что Н. Спикмэн еще в 1942 г. продолжал исходить из идеи угрозы со стороны "хартлэнда", предлагая не слишком ослаблять Германию, а использовать ее как "баланс" против СССР.



рактально, что из высказываний В.И. Ленина о США неизменно упоминаются лишь критические; между тем, например, ленинское "Письмо американским рабочим", содержащее самую жесткую и справедливую критику американского империализма, начинается как раз с упоминания о традициях революционной, национально-освободительной борьбы в истории США<sup>96</sup>. Эта традиция не могла не измениться в XX в., но она не исчезла. Интересно в этой связи, что Г. Уоллес – вице-президент США при Рузвельте, а в первые послевоенные годы выразитель политического курса, альтернативного "холодной войне", – сформулировал собственное представление о преемственности исторических традиций в виде концепции всемирной "революции простого человека". Последовательными звеньями этого процесса в его представлении для него были: американская революция XVIII века, Великая французская революция, латиноамериканские революции эры Боливара, революция 1848 года в Германии, "русская революция 1918 года" (трудно сказать, была ли здесь ошибка в хронологии случайной или сознательной – показать, что имеется в виду именно Октябрьская, а не Февральская революция) и, наконец, "век простого человека", прихода которого он ожидал после войны<sup>97</sup>. Нетрудно обнаружить уязвимость концепции Г. Уоллеса, однако это была альтернатива, апеллировавшая тоже к "американизму" и пользовавшаяся популярностью не меньшей, чем идеи "пакса американа". Альтернатива, таким образом, имела – и с точки зрения политики, и с точки зрения традиций<sup>98</sup>. Для борьбы с ней силы конфронтации использовали разные средства. Использовали они, как мы это увидим, и сталинизм.

## СТАЛИНИЗМ, "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" И ЗАПАДНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

Вполне естественно было бы ожидать, что первыми, если не исследовать, то по крайней мере поставить проблему "феномена Сталина" должны были бы те, кто лично сталкивался с ним – либо в ходе переговоров, либо в ходе конфронтации, либо в том и другом, – деятели типа Черчилля или Трумэна. Однако их высказывания – во всяком случае, те из них, которые шли на публику, – в этом плане весьма разочаровывающие. Это либо откровенные панегирики<sup>99</sup>, либо вариации на тему о том, что Сталин-де

<sup>96</sup>См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 48.

<sup>97</sup>U.S. Declarations on Post-War Reconstruction // Foreign Policy Reports. 1942. Sept. 15. P. 169–170.

<sup>98</sup>С сожалением, и советские историки, раскрывая достаточно полно экспансионистские традиции в американской истории, меньше внимания уделяют противоположным, по-своему не менее значимым. Лишь изредка упоминается и идея "века простого человека" Г. Уоллеса (см.: Борисов А.Ю. СССР и США: союзники в годы войны. М., 1983. С. 113).

<sup>99</sup>"Величайшее счастье для всех нас знать и чувствовать, что генералиссимус Сталин продолжает твердо держать руль в своих руках. Я не могу удержаться, чтобы не выразить самого глубокого восхищения этим поистине великим человеком, настоящим отцом своей державы, подлинным властителем ее судеб" – этот пассаж из речи Черчилля в палате общин в ноябре 1945 г. говорит сам за себя. См.: Hansard, House of Commons. 1945. Nov. 7. Vol. 415. Col. 1291.

являлся воплощением "умеренной" политической линии по сравнению с "экстремистами", олицетворявшими подлинно "партийную линию"<sup>100</sup>.

Некий гибрид этих, мягко говоря, странных воззрений пышным цветом расцвел в претендовавших на особую теоретическую "глубину" образцах историографической продукции конца 70-х – 80-х годов. В 1978 г. вышла произведшая сенсацию работа чикагского профессора У. Мак-Кэга, где Сталин предстает как одинокий "борец за мир", сражающийся против коммунистов за рубежом и в собственной стране, которые настроились-де на немедленное насильственное свержение капиталистического строя во всем мире. Если бы Сталин открыто заявил о своем миролюбии и отмежевался бы от "экстремистов", то, по Мак-Кэгу, его вполне "могли бы вынудить подать в отставку" (симптом такой возможности усматривается в "дипломатической болезни" Сталина осенью 1945 г.), потому ему приходилось отмалчиваться (таким оригинальным образом объясняется факт редких публичных выступлений "великого вождя" в послевоенный период) и применять всякого рода "обманные трюки". В конце концов после четырех (!) "битв" ему удалось "обвести вокруг пальца" соперников, но когда Сталин вроде бы одержал решающую победу над "силами беспорядка" и готов был открыто протянуть "руку дружбы" Западу, там уже возобладало чувство недоверия и враждебности – и отныне (конкретно с осени 1946 г.) уже Трумэн стал "пленником своего Политбюро": "холодная война" стала фактом. Ответственность за нее получается вроде бы разделенная, но инициатива однозначно отводится советской стороне, причем именно советской системе, а не Сталину!<sup>101</sup>

В вышедшей год спустя книге В. Мастны речь идет уже о *единоличной* вине "советской системы", а о Сталине – как ее "жертве", государственном деятеле "со связанными руками". Западные лидеры могли бы помочь ему вырваться из этих уз, посильней и пораньше "надавив" на СССР и проявив побольше солидарности между собой, но, увы! В. Мастны считает незаслуженно высокой репутацию Сталина как дипломата (тот, по его мнению, и не претендовал на это), однако поскольку у его западных партнеров с этим обстояло еще хуже, то он выглядит все равно более импозантной фигурой!<sup>102</sup>

Наконец, с прямой апологетикой сталинизма граничат высказывания А. Улама. В одной из своих работ (1983 г.), говоря о позиции "мрачной изоляции" (сама по себе неплохая характеристика отношения Сталина к внешнему миру), он называет ее "самой логичной (?) политикой для послевоенной России"<sup>103</sup>. Почему? Потому, аргументирует А. Улам, что такая изоляция позволила скрыть слабость Советской страны, прознав о которой западники могли бы усилить "давление" на СССР (автор, кстати, выражает сожаление по поводу того, что Запад не решился на такую

<sup>100</sup>Трумэн в 1948 г. публично отозвался о Сталине как о "приличном парне", добавив: "Но Джо – пленник Политбюро". См.: *Paterson T. Op. cit. P. 163.*

<sup>101</sup>*McCagg W. Stalin Embattled 1943–1948. Detroit, 1978. P. 260, 312.*

<sup>102</sup>*Mastny V. Russia's Road to the Cold War. P. 306.*

<sup>103</sup>*Ulam A. Dangerous Relations. P. 15.*

силовую "пробу"). Вот как все упаковано: и комплимент по адресу "мудрого" вождя, и упрек по адресу "мягкости" Запада, и вывод о неизбежности конфронтации.

Во всех рассмотренных случаях речь идет о весьма консервативных, если не прямо правоксремистски настроенных авторах, главная цель которых заключается в оправдании "политики силы".

Но и у тех авторов, которых в апологии такой политики никак не заподришь, у представителей либеральной и даже левой историографии можно порой наблюдать тенденцию приписывать Сталину черты разумного, рационально мыслящего политика, связывать с ним даже изменения "к лучшему" в советской внешнеполитической доктрине и практике. Тенденция эта довольно стойкая. Ее выражение можно встретить в трудах и начала 50-х годов (Б. Дэвидсон)<sup>104</sup>, и конца 60-х (Б. Томас)<sup>105</sup>.

При этом преследовалась вроде бы благая цель, во всяком случае имевшая определенный резон ввиду эксцессов антикоммунистической пропаганды, – защитить советскую политику и доктрину при всех ее сталинских деформациях от отождествления с политикой и доктриной гитлеровского фашизма. Однако же такая "защита" – путем вольного или невольного возвеличивания Сталина, тем более в ущерб Ленину, – оказывалась крайне ненадежной. Неудивительно, что такого рода оценки охотно берут на вооружение историки далеко не левой ориентации, еще получая возможность продемонстрировать "дифференцированный подход" к анализу "коммунистического феномена". Характерный пример: тот же Б. Томас в свое время объявил, что автором идеи мирного сосуществования был не Ленин, а ... Сталин, ленинские же высказывания по поводу взаимоотношений стран социализма с капиталистическим миром, по его мнению, предвосхищали то, что "с обратным знаком" нашло выражение в... "доктрине Трумэна". Ныне же Дж. Гэддис, не употребляя, правда, таких сравнений, по существу следует логике таких противопоставлений<sup>106</sup>.

С нашей точки зрения, гораздо вернее определяет характер влияния сталинизма на советскую внешнюю политику, границы этого влияния, а тем самым и отличия от того влияния, которое оказал гитлеризм на политику Германии, западногерманский историк социал-демократической ориентации Г. Моммзен. Полемизируя в ходе "большой дискуссии" западногерманских историков с Э. Нольте, который выдвинул тезис, будто фашизм, в сущности, явился порождением большевизма, он констатировал "принципиальное различие между коммунистической системой и национал-социалистским режимом". Различие это, аргументировал

<sup>104</sup>Davidson B. Germany – What Now? Potsdam 1945 – Partition 1949. L., 1950. P. 26.

Речь идет об очень сильной и убедительной в целом книге английского автора, одним из первых разоблачившего стандартную мифологию "холодной войны" в применении к истории германских дел.

<sup>105</sup>Thomas B. Cold War Origins II // Journal of Contemporary History. 1968. Vol. 3, N 1.

P. 196. Мы уже отмечали выше смелое выступление этого английского историка против "ортодокса" П. Сибери.

<sup>106</sup>Gaddis J. The Long Peace. P. 234.

Г. Моммзен, состояло, в частности, в том, что «для коммунистических систем при всем том, что временами они принимали форму тираний, была не типична та внутренняя беспределность, которая, будучи отличительной чертой национал-социализма, исключала для него всякую мысль о возможности компромиссов и потому с необходимостью привела к реальности физического истребления евреев. Этим объясняется также внутренняя самообреченность "третьего рейха" – в чем также было его отличие от коммунистических режимов, для которых правилом являлся учет соотношения между политически силовыми амбициями и наличными ресурсами для их реализации»<sup>107</sup>. В трактовке Г. Моммзена, таким образом, сталинская тирания представляет собой фактор, *противостоящий* более глубинным и в конечном счете более значимым факторам советской внешней политики и дипломатии, из которых на первое место поставлены, притом, думается, обоснованно, реализм, неавантюристичность – то, что в той или иной мере сохранилось и в условиях сталинизма, хотя, конечно, в деформированной форме. Из этой трактовки, в общем, никак не следует, что Советский Союз даже при сталинском режиме был "угрозой" для Запада, и соответственно курс на компромиссы с ним никак не мог считаться повторением мюнхенского курса на "умиротворение" гитлеровской Германии, как это порой утверждалось в кругах "ортодоксов".

Иную трактовку данной проблемы дает Дж. Кеннан. В одном из эссе по "холодной войне" он приводит следующий перечень "факторов", которые, по его мнению, воспрепятствовали развитию "нормальных и приятных" отношений между США и СССР после второй мировой войны: "... идеологические предрассудки советских лидеров, исконные русские обычаи недоверия и подозрительности к иностранцам, различия между двумя социально-политическими системами, и не в последнюю очередь, наличие того преступного и жестокого кошмара, который воплощал собой к тому времени сталинский режим"<sup>108</sup>. Крепкие выражения по адресу сталинизма вполне оправданны, но оправданно ли другое, а именно что они не отменяют его прежних обвинений в адрес СССР в духе "длинной телеграммы", а как бы "налагаются" на них? Точное место сталинизма в иерархии названных Кеннаном факторов довольно неопределенно, однако важнее, пожалуй, то, что в его представлении все они действуют в одном направлении, суммируясь и усиливая друг друга, и никаких противодействующих не просматривается. Налицо концепция, доказывающая "сверхдетерминированность" конфронтации, "сверхвиновность" советской стороны, "сверхалиби" западных политиков. В таком духе аргументирует против "ревизионистов" и А. Буллок: допустим, заявляет он, западная политика была плохой; но даже если бы она являлась безупречной, все равно, пока были живы Сталин и сталинизм, с Советским Союзом невозможно было иметь дело, а потому говорить об ответственности Запада просто нелепо<sup>109</sup>.

Справедливости ради надо сказать, что в отличие от А. Буллока

<sup>107</sup>Mommsen H. Neues Geschichtsbewusstsein und Relativierung des Nationalsozialismus // "Historikerstreit". München, 1987. S. 185.

<sup>108</sup>Witnesses to the Origins of the Cold War. P. 28.

<sup>109</sup>Bullock A. Op. cit. P. 10–13.

Дж. Кеннан не вполне последователен в этой фаталистической концепции. Кеннан готов признать, что определенные действия Запада ("ошибки", как он предпочитает их называть) действительно *усугубляли* конфликтность послевоенного мира, в том числе и в плане стимулирования отрицательных моментов в советской политике. "Ошибки" эти, по Кеннану, двоякого рода. С одной стороны, «наше правительство само готовило почву для осложнений, занимаясь в слишком экстравагантной манере обхаживанием советских лидеров, пытаясь их "умаслить" слишком уж рьяно»; с другой – "... в чем наше правительство совершило действительно важные ошибки, так это в том, что мыслило наши отношения с Россией в слишком милитаристском духе"<sup>110</sup>.

На первый взгляд позиция американского руководства выглядит в таком виде достаточно противоречиво, и появляется искушение свести все к противоречивости взглядов самого Кеннана – беспроигрышный прием, когда речь идет об анализе взглядов действительно столь противоречивой личности; однако в данном случае если Кеннан и не прав, то только в том, что не видит прямой связи этих двух, в его представлении, "крайностей", не видит того, что они на деле представляли собой две стороны одной медали: "обхаживание" и "умасливание" Сталина, а проще говоря, всемерное раздувание его культа, было тем необходимым элементом, без которого не была бы возможна и "милитаристская" политика, являвшаяся целью правящих кругов США в тот период. Сталин и его культ со всеми его проявлениями были *необходимы* для тех, кто планировал и раздувал "холодную войну". Они вполне сознательно и целеустремленно делали поэтому ставку на то, что только деформации и преступления, связанные со сталинизмом, обеспечат им возможность реализации их планов.

Эта гипотеза – пока еще гипотеза – может показаться натянутой. Между тем она хорошо согласуется с уже давно известными и вновь появляющимися фактами. С другой стороны, без этой гипотезы некоторые факты попросту трудно объяснить.

В самом деле, как объяснить, например, приведенный выше черчилевский панегирик Сталину? Очевидно, не симпатиями к советскому народу или делу социализма (в этом Черчилля трудно заподозрить), не дефицитом информации о преступлениях и жестокости Сталина (тот и сам весьма откровенно исповедовался перед британским премьером на этот счет), наконец, и не сентиментами военного сотрудничества (в то время, когда Черчилль произносил свой панегирик, в нем уже дозревали идеи фултонской речи). Черчилль не оставил ответа на этот вопрос, но вполне ясно на вопрос, чем были ценны Сталин и его стиль для экстремистских кругов Запада, ответил Трумэн: примерно тогда же, когда он публично доброжелательно-сочувственно отзывался о Сталине как "пленнике Политбюро", он в узком кругу обронил замечание: "Если бы не безумные поступки со стороны Советов, мы не имели бы нашей внешней политики"<sup>111</sup>. Трудно предположить, чтобы, столь ясно осознавая выгоду ста-

<sup>110</sup>Witnesses to the Origins of the Cold War. P. 30, 33.

<sup>111</sup>Цит. по: Paterson T. Op. cit. P. 116.

линского "безумия", западная сторона не сделала ничего для его стимулирования.

Безудержная лесть по адресу "великого человека", образ "приличного" парня, преследуемого "врагами" в своем непосредственном окружении, не были невинными упражнениями в риторике. Имелась и более мрачная сторона данной тактической линии западных планировщиков. Известно, какую роль в первые послевоенные годы в развитии и СССР, и стран народной демократии, как они тогда назывались, играли шпиономания, подозрительность, поиски вражеских "агентов" среди честных, преданных своему делу коммунистов. Менее известно, что эта кампания хитроумно стимулировалась деятельностью западных спецслужб, искусно подбрасывавших "компромат" на будущих жертв сталинизма<sup>112</sup>. Да, разоблачения такого рода пока и воспринимаются весьма скептически<sup>113</sup>. Но есть и общепризнанные факты, которые подтверждают в общем то же самое.

Почти все западные авторы, кто так или иначе касается деятельности западных дипломатов и разведчиков в странах Восточной Европы, ломают голову над одними и теми же вопросами: почему западные резиденты действовали так топорно? Почему даже особенно и не скрывали (если не прямо афишировали) свои контакты с оппозиционерами? Почему толкали последних на действия, прямо означавшие конфронтацию с властями и подпадавшие под определение государственной измены? Почему давали им обещания "помощи", даже военной, хотя прекрасно знали, что таковой не будет? Ответ опять-таки дает наша гипотеза: деятельность дипломатов и разведчиков (а понятия эти все более совпадали) была направлена не столько на организацию реального сопротивления проходившим в этих странах процессам антифашистских преобразований (ничтожные перспективы в этом плане оценивалось, видимо, достаточно трезво), сколько на создание впечатления о наличии там широкой, разветвленной и опасной западной агентурной сети – дабы стимулировать климат подозрительности, менталитет "осажденной крепости" и соответствующие ему реакции внутри и вовне.

Этот аспект "тайной холодной войны" или, вернее, тайной войны, подготовившей "холодную войну", мало освещается в западной историографии. Дж. Гэддис в упоминавшейся выше обобщающей статье на эту тему полностью сосредоточился на теме "советского шпионажа", секретные операции западных спецслужб за "железным занавесом" остались за пределами его внимания. Х. Томас несколько подрывает этот крен: он много пишет о "советских агентах" на Западе, но и добавляет к этому

<sup>112</sup>Steven S. Operation Splinter Factor. Philadelphia, 1974.

<sup>113</sup>В. Мастны в докладе, представленном на обсуждение советско-американской конференции историков (Москва, 1987 г.), отметил, что западные разведчики в те годы обладали «блестящей возможностью снабжать своих противников сфабрикованными "доказательствами" воображаемых заговоров», однако "действительно ли Соединенные Штаты воспользовались этой возможностью", это для него "интригующий, но все еще не поддающийся ответу вопрос". См.: Mastny V. Europe as an Issue in Soviet-American Relations, 1945–1950: (Paper prepared for the Conference of Soviet and American Historians at Moscow, 1987).

ряд историй о западных агентах на Востоке (хотя, повторим, даваемая им сенсационная информация о их "подвигах", видимо, должна восприниматься с осторожностью). Однако и он представляет дело так, будто западные спецслужбы занимались лишь сбором информации; о подрывной деятельности речи нет. Один случай планирования диверсии отмечал, как мы видели, Г. Херкен. Что же касается политических диверсий – в смысле подрыва нормальной политической жизни в стране, в частности путем провоцирования столкновений между властями и оппозицией, нагнетания шпиономании, ксенофобии, – об этом вообще ничего. Из крупных историков "холодной войны" лишь у У. Таубмэна встречается беглое упоминание о том, что "тайные операции" такого рода "психологической войны" имели, правда, место, но начались они лишь в 1948 г., а поскольку тогда "холодная война" уже шла, то, значит, в ее развязывании они никакой роли не играли<sup>114</sup>. Довод этот имеет один недостаток: он основан на ссылке на книгу 20-летней давности и полубеллетристического характера. Между тем за год до появления книги У. Таубмэна английский исследователь Т. Барнс обнаружил информацию из архивов американских спецслужб, согласно которой "тайные операции" велись уже в конце 1946 г.<sup>115</sup>, причем именно уже *велись* тогда (а когда они начались, сие пока осталось неизвестным). Здесь уже, во всяком случае, алиби для западных спецслужб никак не получается.

Разумеется, этими фактами никак не обеспечивается алиби и для репрессивных аппаратов сталинских режимов, установившихся в годы "холодной войны" в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. В этой связи следует выразить решительное несогласие с той частью западных исследователей, которые усматривают некие оправдательные мотивы той преступной практики, которую эти режимы осуществляли. Вот что пишет, к примеру, в чрезвычайно интересном исследовании о роли "полицейского фактора" в "холодной войне" американский историк Ф. Дженкинс: "В 1949–1952 гг. новые полицейские государства – Венгрия, Болгария, Албания, Чехословакия – провели у себя серию широких чисток. Рассматривая эти события в ретроспективе, можно привести лишь одно смягчающее обстоятельство: эти страны действительно были объектом подрывных кампаний, направлявшихся США и Великобританией, и некоторые из этих операций были действительно пресечены путем весьма эффективных контрдействий"<sup>116</sup>. Никаких "смягчающих обстоятельств" для массовых репрессий быть не может в принципе (разве только если автор считает как раз их тем "эффективным контрдействием", о котором он пишет; наверное, это все же не совсем так).

Никаких "смягчающих обстоятельств" нет в данном случае и для западных спецслужб, и для тех, кто санкционировал их "грязные трюки". Даже если принять циничную философию "на войне как на войне" и

<sup>114</sup> *Taubman W.* Stalin's American Policy: From Entente to Detente to Cold War. N.Y., 1982. P. 245.

<sup>115</sup> *Barnes T.* The Secret Cold War // Historical Journal. 1981. Vol. 24, N 2. P. 403.

<sup>116</sup> *Jenkins Ph.* Policing the Cold War: the Emergence of New Police Structures in Europe, 1946–1953 // Historical Journal. 1988. Vol. 31, N 1. P. 154.

учесть, что в "тайной войне" вообще не существует никаких принятых "правил", все равно никакого оправдания для Запада найти нельзя: повторим, ведь начались эти операции еще *до начала* "холодной войны". Напомним и еще одно: кампания шпиономании в США, причем с акцентом, что "предателей" следует искать среди интеллектуалов, среди тех, кто выступает за свободу науки и развитие международного научного сотрудничества, — эта кампания *предшествовала* той, что развернулась в СССР в виде "ждановщины" — гонений на писателей и ученых, на "безродных космополитов". Разумеется, это вовсе не означает, что Сталин "имитировал" Трумэна или что американская "охота на ведьм" явилась причиной соответствующих явлений в СССР: *после этого* вовсе не значит *по причине этого*. Скорее можно говорить о параллелизме, о сходстве "трумэнизма" (если употребить новообразование Дж. Гэддиса) со сталинизмом — по крайней мере в том, что касается манипуляций фактами, апелляций к инстинктам толпы, нагнетания атмосферы страха — и все ради далеко не благородных целей: в случае со Сталиным — для сохранения тоталитарного контроля над страной, в случае с Трумэном — для сохранения военного контроля над ядерным арсеналом. В таком сопоставлении "трумэнизм" никак не "лучше" — вопреки тому, как полагает Гэддис.

Такие сопоставления в западной историографии, однако, не встречаются; возможно, и потому, в частности, что там пролегает резкая грань между историками, занимающимися советскими сюжетами, — советологами — и теми, кто занимается американистикой или международными делами. В тех же случаях, когда сопоставления все же имеют место, то применительно к событиям февраля-марта 1946 г. (период этот, безусловно, является одним из переломных на пути к "холодной войне") речь идет обычно о параллели, которая проводится между фултонской речью Черчилля 5 марта и предвыборной речью Сталина 9 февраля.

Трактовка этого "параллелизма" разная в зависимости от взглядов историка. Историки правого толка считали, что речь Черчилля была "ответом" на речь Сталина, притом еще сравнительно мягким<sup>117</sup>; более умеренные полагали, что идеи, воплощенные в обоих речах, будучи близки по сути, возникли независимо друг от друга (хотя то, что Черчилль выступил почти на месяц позже, все-таки отдает инициативу Москве)<sup>118</sup>; наконец, самая радикальная точка зрения сводилась к тому, что это была естественная реакция Сталина на "непримиримость" Трумэна<sup>119</sup>. Это все оценки, относящиеся к периоду до "постревизионизма".

У представителей же этого течения такой "упорядоченности" нет. Д.Ергин о речи Сталина написал следующее: "Начав с ортодоксального заявления о том, что вторая мировая война возникла в силу противоречий капитализма, он тем не менее проявил сдержанность и даже дружелюбие по адресу своих союзников"<sup>120</sup>. Такую характеристику уж никак нель-

<sup>117</sup>Nolte E. Op. cit. S. 223.

<sup>118</sup>Pettybridge R. A History of Post-War Russia. L., 1967. P. 94.

<sup>119</sup>Soviet Studies. 1968. July. Vol. 15, N 1.

<sup>120</sup>Yergin D. Shattered World. The Origins of the Cold War and the National Security State. Boston, 1977. P. 164.



я отнести к речи Черчилля: она начиналась скромными комплиментами в адрес совместных решений антигитлеровской коалиции, а дальше до самого конца шли инвективы в адрес советского союзника и призывы к созданию американо-английского блока на основе сохранения и упрочения режима атомной монополии. С другой стороны, В. Лот, в целом очень близкий по своим взглядам к Д. Ергину, недвусмысленно выражает ту мысль, что речь Сталина засвидетельствовала, что СССР «взял курс на "холодную войну"»<sup>121</sup>, и тем самым ей придается значение, которое обычно относилось на счет фултонской речи Черчилля. Самый подробный разбор сталинской речи дает У. Таубмэн – историк, в наибольшей степени преодолевший разрыв между “советологом” и международником. Но его анализ, пожалуй, самый противоречивый: с одной стороны, речь Сталина отличалась “мягкостью”, с другой – свидетельствовала об “ужесточении советской риторики”; с одной стороны, она выражала идею “соревновательного сосуществования”, с другой – в ней можно найти намек на угрозу начать через 10–15 лет войну против Запада (!)<sup>122</sup>. Английский историк Х. Томас обращает внимание на парадоксальный характер реакции, которая последовала на речь Сталина со стороны современников: слева и справа на нее отреагировали спокойно, самая бурная негативная реакция последовала от либералов центра – типа У. Липпмана; в США реакция была сильнее, чем в Великобритании<sup>123</sup>.

Интересны, наконец, оценки речи Сталина в мемуарной литературе. Соавтор Дж. Кеннана по упоминавшемуся выше антиревизионистскому сборнику “Свидетели начала холодной войны”, видный американский дипломат Дж. Армитедж в 1946–1947 гг. стажировался в только что открытом тогда Русском институте Колумбийского университета. По его воспоминаниям, среди тем, которые были предметом внимания его курсников и которые отражали, естественно, те акценты и подходы, которые были типичны для вашингтонской элиты, речь Сталина, правда, фигурировала, но не в ее внешнеполитическом аспекте: “Она рассматривалась тогда как призыв к советскому народу сосредоточиться на выполнении гигантских задач экономического восстановления”. Лишь “провозглашение доктрины Трумэна побудило нас заново изучить” эту речь, и лишь после этого она предстала как “приказ отправиться в поход на западные демократии”<sup>124</sup>. Другими словами, новая интерпретация появилась задним числом, уже под влиянием идеологии “холодной войны”, и, конечно, мало оснований считать именно эту новую интерпретацию аутентичной.

Еще четче охарактеризовал смену интерпретаций речи, правда в применении к более позднему периоду, другой американский дипломат, Т. Йост. В отличие от Дж. Армитеджа он в 1946 г. уже был “на посту”. Вот его мнение: “Эту речь Сталина часто характеризовали в качестве поворотного пункта, знаменовавшего собой решение Политбюро отказаться от

<sup>121</sup>Loth W. Die Teilung der Welt. S. 145.

<sup>122</sup>Taubman W. Stalin's American Policy. P. 133–139.

<sup>123</sup>Thomas H. Op. cit. P. 482–483.

<sup>124</sup>Witnesses to the Origins of the Cold War. P. 214.

сотрудничества с Западом... Я сам, признаюсь, одно время разделял эту точку зрения. Однако, перечитывая ее текст в более спокойной обстановке 1967 г. (именно тогда он написал эти строки. — А. Ф.), я склоняюсь к выводу, что эта оценка была попросту мелодраматичной". Говоря о трактовке этой речи как "объявления войны, непримиримого конфликта между коммунизмом и капитализмом", Ч. Йост замечает: "Весь контекст был совершенно иным"<sup>125</sup>.

Учитывая огромное внимание, которое в западной историографии уделяется этому документу, разноречивость и даже парадоксальность оценок, целесообразно, видимо, остановиться на нем подробнее, причем не ограничиваясь просто "защитой" его от критиков, как это делал Ч. Йост и как это делалось до недавнего времени в советской историографии<sup>126</sup> (внимание которой к этому сюжету было, впрочем, обратно пропорциональным тому, что имело место на Западе).

Безусловно, иначе как нелепыми нельзя назвать попытки обнаружить в высказываниях Сталина при всех его отрицательных качествах что-либо выдающее его намерение "напасть" на Запад<sup>127</sup>. Но очевидны догматизм, неспособность или нежелание увидеть новое в мире, те коренные изменения, которые привнесла в него победа над фашизмом. Сталин в своем видении будущего явно исходил из того, что оно будет повторением прошлого: межимпериалистические противоречия вновь вызовут напряженность в мире, империалистические державы вновь, как и в 30-е годы, попытаются решить их за счет СССР — отсюда возможность военной опасности. Отсюда формулировка о том, что надо "организовать новый мощный подъем народного хозяйства", и вывод: "...только при этом условии можно считать, что наша Родина будет гарантирована от всяких случайностей" (на выполнение этой задачи отводилось "три новые пятилетки, если не больше")<sup>128</sup>.

В общем, речь шла об обеспечении мира путем развития оборонного потенциала СССР — и только. В принципе такая задача не могла не стоять в условиях, когда не имелось паритета по атомным вооружениям и средствам доставки с США, а существовала американская монополия в этой области, которая не могла восприниматься иначе как угрожающей ввиду известных глобальных притязаний американского руководства. Однако, помимо этой действительно важной задачи, стояла и другая, от решения которой сохранение мира зависело не в меньшей, а в условиях того периода, пожалуй, и в большей степени, — укрепление

---

<sup>125</sup>Yost Ch. The Insecurity of Nations. N.Y., 1967. P. 100—101.

<sup>126</sup>См.: Советско-американские отношения в современном мире. М., 1987. С. 23.

<sup>127</sup>Английский историк-популяризатор Р. Мейн приводит, например, такие якобы сталинские "цитаты": "Задача коммунистов — консолидировать диктатуру пролетариата в одной стране, а затем использовать ее (страну или диктатуру? — А. Ф.) как рычаг для свержения империализма в остальных странах"; "...чтобы защитить себя, Советский Союз должен предупредить нападение". Речь идет о чистой воды фальшивках. См.: *Maune R. Postwar: The Dawn of Today's Europe.* L., 1983. P. 146.

<sup>128</sup>Внешняя политика Советского Союза: 1946 год. М., 1952. С. 40.

единства демократических сил, изоляция сил экстремистских. И вот об этом-то в сталинской речи ничего не говорилось. Так что анализировать ее следует, очевидно, не с точки зрения того, что в ней было, а с точки зрения того, что в ней должно было быть, но отсутствовало.

Такой анализ дает возможность обнаружить любопытное обстоятельство: в своей речи 9 февраля 1946 г. Сталин отступил и от духа, и от буквы принятого всего за неделю до того, 2 февраля 1946 г., Обращения ЦК ВКП(б) к избирателям, где в числе прочих задач, стоящих перед советским народом, называлась и такая: "... совместно с демократическими силами других стран бороться за укрепление сотрудничества миролюбивых держав, за выкорчевывание всех корней фашизма, за предотвращение всякой агрессии в будущем"<sup>129</sup>. Это было как раз то, что отсутствовало в речи Сталина. Отсюда ясно: реальное противоречие следует искать не в том, что советская политика была одновременно и "жесткой" и "нежесткой", а в том, что она оказалась как бы "усеченной", а это, в свою очередь, следует рассматривать как результат противоречия между высказываниями Сталина и содержанием коллективно выработанного партийного документа. К сожалению, ни У. Таубман, ни его коллеги – никто не заметил этого факта.

Соответственно осталась без внимания и напрашивающаяся проблема: чем объяснить такую ревизию партийного решения, столь быстро предпринятую почти сразу же после его принятия? Внешне "советологическая", проблема эта имеет, думается, вполне четкий американский аспект. Именно в промежутке между датами Обращения ЦК и речи Сталина началась упоминавшаяся выше "шпионская" кампания в США. С советской стороны не хуже, чем с американской, знали истинную цену этих "разоблачений", знали, очевидно, и источник – показания перебежчика Гузенко. То, что после многомесячного молчания американские власти решили организовать "утечку", могло рассматриваться как признак решительного поворота к конфронтации со стороны США. Теперь мы можем сказать, что такая оценка была некорректной; сам антисоветский поворот в политике Трумэновской администрации произошел намного раньше; в то же время первый всплеск шпиономании еще не мог кардинально изменить состояния общественного мнения, а без такого изменения новый курс не мог еще найти материального выражения в гонке вооружений. Сталин, очевидно, просто не мог понять этого механизма функционирования власти в условиях демократического общества, как и того, что его сосредоточенность на "силе" при забвении идеи союзнического сотрудничества как раз сыграет на руку на Западе тем кругам, которые занимались отравлением общественности, стремились внушить ей, по сути, то же самое: сила – наилучшая гарантия мира, антигитлеровская коалиция – дело прошлое, не стоит о ней вспоминать, во всяком случае при определении задач на будущее. Ясно поэтому, что как раз люди типа У. Липпмана, выступавшие за умеренный курс и хорошо знавшие, что и как может повлиять на настроения широ-

---

<sup>129</sup>КПСС в резолюциях, решениях съездов и пленумов ЦК. М., 1971. Т. 6. С. 147.

кой общественности, именно так резко эмоционально иотреагировали на эту речь Сталина. Этого отрицательного влияния ее на американскую общественность, очевидно, не смог уловить Г. Уоллес – и это стало первой из его ошибок, которая обрекла в конечном счете на поражение его смелую и благородную борьбу против "трумэнизма". Наконец, вполне понятна и почти благодушная реакция Трумэна: ведь Сталин фактически подыграл ему в битве за американскую общественность!

Можно в этой связи сказать, что целенаправленная "утечка информации" о "советском шпионаже" принесла трумэновской администрации двойной капитал: с одной стороны, она позволила "задушить" законопроект об атомной энергетике, который предусматривал лишение военных контроля над этой отраслью, а с другой – благодаря помощи, фактически оказанной речью Сталина, еще более усилить милитаристскую пропаганду в стране.

На первый взгляд, вполне корректной и своевременной была та критика, которую Сталин обратил против фултонской речи Черчилля в известном своем интервью газете "Правда", опубликованном 14 марта 1946 г. Интересно, однако, что в западной историографии имеется точка зрения о том, что эта критика не только не нейтрализовала, но и, напротив, усилила эффект речи Черчилля, или, как дает понять У. Таубмэн, ответ Сталина больше запугал общественность Запада, чем сам Фултон. Основной недостаток сталинского ответа американский советолог усматривает в том, что советский лидер "преувеличил", во-первых, антисоветскую воинственность призывов Черчилля, во-вторых, потенциал возможного сотрудничества между СССР и США. На наш взгляд, именно здесь Сталин был прав и соответственно не прав У. Таубмэн<sup>130</sup>.

Однако известные издержки в сталинском интервью действительно имелись, причем они действительно могли оказать неблагоприятное воздействие на западное общественное мнение. В этом с У. Таубмэном, видимо, можно согласиться. Что же это за издержки? Это и трактовка *призыва* Черчилля к созданию "англосаксонского блока" как уже *реальности* существования такого блока (чего тогда еще не было); это и малообоснованные (во всяком случае, в тактическом плане) параллели между высказываниями Черчилля как неофициального лица и тогдашними официальными демаршами британского правительства (незадолго до Фултона, 21 февраля 1946 г., Бевин высказывал некоторые предложения по укреплению правовой базы советско-английских отношений; Сталин, не называя имени английского министра иностран-

---

<sup>130</sup>Taubman W. Stalin's American Policy. P. 143.

Среди западных историков есть тенденция несколько релятивировать антисоветизм фултонской речи. Г. Херкен, как уже отмечалось, прав, что в центре этой речи стояла проблема атомной бомбы, но если он полагает, что главным мотивом в этом контексте для Черчилля было противодействовать планам США лишить британского партнера доступа к атомным секретам и что, следовательно, антисоветская риторика играла для него второстепенную роль и была своего рода пропагандистским туманом, то это, думается, несколько односторонняя интерпретация.

ных дел, свел все к "фальшивым заявлениям друзей г-на Черчилля в Англии", к которым "нельзя относиться серьезно"; а ведь сами по себе предложения Бевина были совсем неплохи); наконец, характеристика Черчилля как "поджигателя войны" была очень неудачна – именно такую характеристику Черчилль в 30-е годы получил от . . . Гитлера.

Правда, есть и иная трактовка реакции Сталина на Фултон. Американский историк Ф. Харбэтт отмечает, что сразу же после речи Черчилля с советской стороны был предпринят ряд акций подчеркнуто примирительного характера (согласие участвовать в конференции по созданию Международного валютного фонда, ускорение вывода войск из Маньчжурии и с острова Борнхольм, демобилизация очередных возрастов из армии, публикация в советской печати ответов на вопросы корреспондента агентства "Ассошиэйтед пресс" Э. Гильмора "с выражением советской оппозиции войне и веры в ООН"), интерпретируя это как чуть ли не "капитуляцию", поворот к политике "умиротворения" (?). Позиция Сталина сближается с политикой . . . Чемберлена, занимавшегося, как известно, неоправданными уступками агрессору. Эта аналогия находит кульминацию в прямом утверждении: "Сталин, оказавшись под давлением, стал подумывать о Мюнхене (?)"<sup>131</sup>.

Думается, данная версия не может быть принята. Однако факты, на которые она опирается, дают основания сделать вывод, что советскую политику того периода нельзя сводить к малоудачным риторическим формулировкам двух сталинских выступлений; они были, в общем, компенсированы последующими, более сбалансированными делами и словами, в том числе и самого Сталина. Этот момент отмечается и в применении к более позднему периоду – в том плане, что эта сбалансированность не преминула оказать воздействие на мировое общественное мнение. А. Буллок отмечает, имея в виду ответы Сталина А. Верту, опубликованные 24 сентября 1946 г.<sup>132</sup>: "Неясно, почему Сталин решил в это время вмешаться с целью снижения напряженности, однако не может быть сомнения в том эффекте, который имели его слова в плане снятия страхов насчет возможной войны"<sup>133</sup>.

Как выражение линии на "снижение напряженности" или по крайней мере на необострение отношений с Западом интерпретируют западные историки, причем довольно единодушно, и явную сдержанность официальной советской реакции на провозглашение "доктрины Трумэна" 12 марта 1947 г. Эта единодушная оценка сопровождается, правда, двумя разными трактовками мотивов такой сдержанности. Одни считают, что речь шла о вполне оправданном нежелании обострять полемику в обстановке, когда начиналась работа Московской сессии Совета министров иностранных дел четырех держав, где, как предполагалось, должны были быть приняты кардинальные решения по германскому вопросу. К тому же такая полемика была излишней, поскольку мировая общест-

<sup>131</sup>Harbutt F. American Challenge, Soviet Response // Political Science Quarterly. 1981/82. Vol. 96, N 6. P. 634–635.

<sup>132</sup>Внешняя политика Советского Союза: 1946 год. С. 68–70.

<sup>133</sup>Bullock A. Op. cit. P. 314.

венность восприняла американскую доктрину крайне негативно<sup>134</sup>. Другие высказывают мысль, что Трумэнский акцент на идее использования силы, в том числе военной, для консервации статус-кво вполне импонировал Сталину, так что речь шла фактически о молчаливом одобрении им "доктрины Трумэна"<sup>135</sup>. Пока нет документальных свидетельств, которые нацеленно подтвердили или опровергли бы обе эти версии<sup>136</sup>.

Как бы то ни было, факт остается фактом: с советской стороны на выдвижение конфронтационной идеологии американской администрацией поначалу не ответили действиями аналогичного характера. Такой ответ последовал позднее – не на "доктрину Трумэна", а на "план Маршалла". Именно тогда формула о "расколе мира на два лагеря" стала общепринятой в СССР, странах Восточной и Юго-Восточной Европы и в международном коммунистическом движении<sup>137</sup>.

Какие объяснения дает западная историография очевидному повороту в советском подходе к международным делам, его причинам и мотивам? Одно заключается в том, что советское руководство сознательно взяло курс на конфронтацию, отклонив "план Маршалла" и развернув против него пропагандистскую кампанию, хотя он в отличие от "доктрины Трумэна" не был направлен против СССР или коммунизма, а, напротив, обеспечивал вполне приемлемые и для СССР условия общеевропейского экономического сотрудничества. Согласно другому объяснению, советское руководство вступило на путь конфронтации "по недоразумению", не разобравшись в плане, действительно далеко не однозначном, допускавшем разные варианты толкований и путей реализации, напрасно уйдя с переговоров, которые могли бы обозначить неконфронтационные альтернативы и подходы. Имеется еще и такая точка зрения, согласно которой Советский Союз, преждевременно отказавшись от дальнейшего участия в переговорах по "плану Маршалла", упустил возможность сорвать и эти переговоры, и сам план са-

<sup>134</sup>Loth W. Die Teilung der Welt. S. 166, 172. В. Лот полагает, что реакция американской общественности на "доктрину Трумэна" отличалась от реакции европейцев большей мягкостью, однако американские авторы самых разных направлений отмечают, что и в США эта доктрина не встретила массовой поддержки (Wittner L. American Intervention in Greece, 1943–1949. N.Y., 1982. P. 80–82, 90–91; Kindleberger Ch. The Marshall Plan Days. Boston, 1987. P. 28).

<sup>135</sup>Haberl O.-N. Die sowjetische Aussenpolitik im Umbruchsjahr 1947 // Der Marschall-Plan und die europäische Linke. Frankfurt a/Main, 1986. S. 80–83.

<sup>136</sup>На советско-американском семинаре по истории "холодной войны" (июнь–июль 1990 г.) М.М. Наринский привел резко отрицательную оценку "доктрины Трумэна", исходившую из советских дипломатических кругов. Но совпадала ли с ней точка зрения Сталина?

<sup>137</sup>Выдвижение этой формулы обычно связывается с выступлением Жданова на совещании представителей коммунистических партий Европы в конце сентября 1947 г. Новые материалы свидетельствуют, что ее еще в августе употребил в беседе с французским дипломатом Катру Вышинский. Мало обоснован тезис, будто Сталин первоначально был ее противником. См.: Loth W. Die Teilung der Welt. S. 179–180; Aronsen L., Kitchen M. The Origins of the Cold War in Comparative Perspective. L., 1988. P. 140; McCagg W. Op. cit. P. 283–284.

мым фактом своего участия: американский конгресс, будучи "скандализован перспективой того, что американские миллиарды пойдут на помощь коммунистическим государствам", просто не утвердил бы соответствующих ассигнований.

В общем, во всех этих объяснениях советская позиция выглядит достаточно иррационально: уж если надо было "давать отпор", то этого скорее заслуживала "доктрина Трумэна", а не "план Маршалла"; в то время как американское руководство от "жесткого курса" решило перейти к «мягкому», советское поступило прямо противоположно; наконец, если уж оно выбрало конфронтацию, то надо было действовать смелее, идти не на пассивную самоизоляцию, а на активную обструкцию.

Легче всего, пожалуй, опровергнуть последнюю версию – об "упущенном шансе" на "победу коммунизма" путем более изощренных форм борьбы против идеи американской помощи Европе. Она основана на старом догмате советологов "фундаменталистского" толка (так сам себя называет сторонник этой версии А. Улам): "самое желательное с коммунистической точки зрения" – это довести массы до голода и нищеты, и тогда они обратятся к коммунистам<sup>138</sup>. Мы уже имели возможность полемизировать с этой идеей, и, видимо, нет смысла повторять соответствующую аргументацию<sup>139</sup>. С тех пор гораздо больше стало известно о чудовищной жестокости, циничной бесчеловечности и коварстве сталинизма. Но думается, даже тогдашнее сталинское руководство не могло напрочь игнорировать исторический опыт: кризис 1929–1933 гг., сопутствующий ему процесс обнищания народных масс привели не к победе коммунистов, а либо к победе фашистов, либо к укреплению либеральной демократии ("новый курс" Рузвельта). Свидетельством того, что мировое коммунистическое движение усвоило этот урок, может служить хотя бы тот факт, что коммунистические партии в западноевропейских странах после второй мировой войны преследовали "стратегию стабилизации" (выражение В. Лота)<sup>140</sup>.

Являлось ли реальной альтернативой для советского руководства безоговорочное принятие "плана Маршалла"? Думается, также нет. Действительно, много говорилось и еще продолжает говорить о том, что "план Маршалла" не имел никакого отношения к политике "холодной войны", что он был признанием с американской стороны банкротства "доктрины Трумэна", ее отрицанием и противоположностью, что он вырос из эмоциональной реакции госсекретаря США Маршалла на тяжелую экономическую ситуацию в Европе, свидетелем которой он стал, когда возвращался в США по окончании Московской сессии СМВД; что в стремлении облегчить участь европейцев он не делал никаких различий между Западом и Востоком, между левыми и правыми; что никакой связи не было между этой инициативой по экономическому оздоровлению Европы и последующими шагами по созданию НАТО, включению в него ФРГ и т.д. Последнее собрание этих апологетических

<sup>138</sup>Ulam A. *Dangerous Relations*. P. 18.

<sup>139</sup>См.: Критика западногерманского "остфоршунга". М., 1966. С. 220–224.

<sup>140</sup>Loth W. *Op. cit.* S. 63.

версий сосредоточено в юбилейном труде (он издан к 40-летию начала реализации "плана Маршалла", в 1988 г.) американского дипломата, экономиста, а теперь и историка Ч. Киндлбергера<sup>141</sup>.

Такая сугубо "экономическая" (или "гуманитарно-экономическая") трактовка "плана Маршалла" впервые стала подвергаться серьезной научной критике историками ФРГ. Х. Клессман назвал его "экономическим дополнением" к "доктрине Трумэна", Э. Отт – "предтечей и предпосылкой военной ориентации внешней политики США". Последний подвергся, правда, за это обвинениям в незнании источников, выборочном и искаженном использовании литературы и вообще в "распространении легенд", но такой метод дискуссии (к сожалению, как отмечалось, свойственный западногерманской историографии) вряд ли добавил убедительности аргументам его автора – В. Линка<sup>142</sup>.

Остановимся на одном из последних известных нам исследований по данному вопросу, которое уж никак нельзя счесть бедным по части использования первоисточников или ссылок на работы предшественников. Его автор – М. Леффлер (США) – видит три цели "плана Маршалла": "восстановить экономически Западную и Южную Европу (но не Восточную. – А.Ф.) ради ослабления влияния компартий... интегрировать в западную экономическую и политическую орбиту западные зоны оккупации Германии... вбить клин между странами рождавшегося советского блока". Уже из одного этого перечня вполне очевидно и ясно, что экономика явно обслуживала политику. Политику, как считает М. Леффлер, продиктованную соображениями "национальной безопасности" США и вроде бы оборонительную, но, во всяком случае, очевидно антисоветскую<sup>143</sup>.

Политика эта, отмечает далее Леффлер, имела и вполне четкий военный компонент ("план Маршалла" "соткал паутину военно-политических обязательств в Европе"), а также вела к поддержке Соединенными Штатами колониальных режимов в Азии и Африке, что, вообще-то говоря, уже трудно отнести в рубрику мероприятий "оборонительного" характера против "советской угрозы"<sup>144</sup>. Приглашение Советскому Союзу участвовать в "плане Маршалла" было, по мнению М. Леффлера, вызвано двумя причинами: стремлением "избежать ответственности за раскол Европы" и сознанием того, что "фронтальная атака на советский коммунизм осложнит участие (в "плане". – А.Ф.) тех европейских стран, в которых имелись большие коммунистические партии". На случай, если Советский Союз принял бы приглашение, предусматривалось, что он не только не получит никакой сколь-нибудь существенной помощи, а, напротив, должен будет сам помогать остальным странам Европы поставками сырья. «Несмотря на непривлекательность [статуса участника] в "Программе европейского восстановления" (официальное название "плана Маршалла". – А.Ф.) для

<sup>141</sup>Kindleberger Ch. *Marschall Plan Days*. Boston, 1987. P. 28–29.

<sup>142</sup>Klessman Ch. *Die doppelte Staatsgründung: Deutsche Geschichte 1945–1955*. Bonn, 1986. S. 180; *Aus Politik und Zeitgeschichte* 1980. 26. Jan. S. 36; 13. Dez. S.3.

<sup>143</sup>Leffler M. *The United States and the Strategic Dimensions of the Marshall Plan // Diplomatic History*. 1988. Vol. 12, N 3. P. 277.

<sup>144</sup>Ibid. P. 302.



СССР, всерьез опасались, что он тем не менее присоединится к ней и будет ее саботировать... Советское решение согласиться на встречу с англичанами и французами для обсуждения европейского ответа на речь Маршалла вызвало ужас. Бевин не хотел брать на себя ответственность за открытый разрыв, но не собиравшись предпринимать ничего, что могло бы соответствовать интересам советской стороны или сокращало бы ее подозрения... Когда Молотов получил из Кремля инструкции не уступать, встреча оказалась в тупике. По правде говоря, Бевин едва дождался ее конца»<sup>145</sup>.

В несколько ином стиле – критики, сопровождаемой сомнениями и полуоправданиями в адрес западной позиции, и категоричной и "ортодоксальной" критики в адрес советской стороны – излагают тот же сюжет два канадских историка – Л. Аронсен и М. Китчен (их книга, напомним, – "последнее слово" среди обобщающих трудов по "холодной войне"): "В своих публичных выступлениях и Маршалл, и Бевин настаивали, что Россия должна быть включена в план экономического восстановления, но есть определенные свидетельства в пользу мнения о том, что это было просто для видимости. Во всяком случае, Гектор Макнейл, заместитель министра иностранных дел Великобритании, информировал своего шефа Бевина о том, что госдепартамент не расположен верить судьбу предложений Маршалла любой организации, в которой были бы представлены Советы либо даже экономисты социалистической ориентации типа Гуннара Мюрдала (шведский социал-демократ, в то время один из руководителей Экономической комиссии ООН для Европы. – А.Ф.)... Англичане полагали, что русские не могут быть заинтересованы в восстановлении экономики Европы, поскольку им выгодна как раз ситуация экономической и политической нестабильности... Предполагалось, что русские будут делать все, чтобы оберечь на неудачу попытку реализовать американский план... Эти подозрения вскоре подтвердились... Конференция зашла в тупик: с одной стороны, имелось англо-французское предложение, чтобы европейцы разработали совместную программу, с другой – русское требование, чтобы каждый послал американцам свои запросы. Бевин... был удовлетворен тем, что русские пытались открыто саботировать конференцию, ибо теперь можно было столь же открыто возложить ответственность на них... [Он] дал ясно понять, что англичане намерены реализовать план и без русских, если они будут упорствовать в своей обструкционистской тактике"<sup>146</sup>.

Читатель нашей книги, видимо, уже заметил, что автор не злоупотребляет длинными цитатами и выдержками из работ анализируемых историков. В данном случае было сделано исключение. Во-первых, проблема "плана Маршалла", пожалуй, одна из самых спорных и на Западе, и у нас (а у нас она еще и мало исследована). Во-вторых, более широкая экспозиция позволяет сделать и более глубокие сравнения и выводы о том, как сейчас обстоит с трактовкой этой проблемы, какие из приведенных выше подходов преобладают.

<sup>145</sup>Ibid. P. 283–284.

<sup>146</sup>Aronsen L., Kitchen M. Op. cit. P. 138–139.

Нетрудно убедиться: сильнее всего потеряла кредит доверия основная посылка, лежавшая в основе "ортодоксальной" версии: об "искренности" американского предложения участвовать в "плане Маршалла" всем европейским странам, включая Советский Союз, и приемлемости американских условий для него. Решительнее и категоричнее отвергает это М. Леффлер, помягче – Л. Аронсен и М. Китчен. Имеющуюся контраргументацию нелегко принимать всерьез. Ч. Киндлбергер, например, пытается опровергнуть данную еще Д. Ергином характеристику приглашения, посланного Советскому Союзу, как "уловки" тем доводом, что он знал Маршалла как честного и прямого человека<sup>147</sup>. Ясно, что дело здесь не в личностях.

В то же время и у М. Леффлера, и у двух канадских авторов (в первом случае слабее, во втором – сильнее) проявляется доверие к постулату, лежащему в основе уламовской версии о том, что Советский Союз ничего не мог выиграть от "стратегии сотрудничества" и выход у него был один: либо обструкция (точка зрения Л. Аронсена и Б. Китчена<sup>148</sup>), либо изоляция (точка зрения М. Леффлера). Они, правда, не утверждают, подобно А. Уламу, что Советский Союз мог бы "выиграть" от более искусной стратегии "несотрудничества". Но тогда остается один возможный вывод, что стратегия и тактика тогдашнего советского руководства была единственно возможной, безальтернативной. Если данные авторы не упоминают об этом, то, видимо, только потому, что их не очень интересует "советологический" аспект данного сюжета. Мы можем сказать, что перед нами четвертое объяснение линии Сталина, представляющее резкий контраст с предыдущими тем, что приписывает сталинизму элемент абсолютной рациональности. На наш взгляд, это далеко не лучшее объяснение.

Нам остается рассмотреть второй (по нашей классификации) вариант интерпретации – о неиспользованных советской стороной возможностях поиска неконфронтационных вариантов связи с инициативой Маршалла и соответствующими переговорами, в которых она поначалу принимала участие. Этот образец в свое время представил В. Лот – самый, пожалуй, активный защитник идеи многовариантности послевоенного развития среди западных историков. Он отмечал в этой связи: "К чему мог бы привести план Маршалла – к жесткому разделу Европы на две части или к преодолению раскола, к американизации Европы или к восстановлению независимости континента, – это зависело не только от того, насколько американская политика могла бы освободиться от догм доктрины Трумэна, но в еще большей степени от того ответа, который дали бы на американскую инициативу советское руководство и Европа". Ситуация летом 1947 г. была, по его словам, "открытой", так как еще предстоял выбор: путь к конфронтации или путь от конфронтации<sup>149</sup>.

<sup>147</sup>Kindleberger Ch. Op. cit. P. 92-93; Yergin D. Op. cit. P. 314.

<sup>148</sup>Кстати, хотя оба канадских автора, как видно уже из приведенных выдержек, много говорят о советском "саботаже" и "обструкции", они не приводят убедительных данных, раскрывающих, в чем же эти действия состояли. К тому же они говорят и об угрозах Молотова, тогда как М. Леффлер говорит о его "предупреждениях". Семантика, как видим, тоже много значит.

<sup>149</sup>Loth W. Die Teilung der Welt. S. 171.

На наш взгляд, с такой постановкой вопроса можно согласиться. К сожалению, в меньшей степени можно согласиться с тем, как В. Лот обосновывает свой тезис и как он объясняет окончательный вариант выбора – неблагоприятный вариант фактического хода событий. Он явно преувеличивает антиконфронтационный потенциал самой американской инициативы: намерения Маршалла, Бевина, Бидо были, как это ныне известно, направлены не только против СССР и коммунизма, но даже и против весьма умеренных представителей социал-демократии. Лот в этой связи несколько наивно упрекает Бевина и Бидо в том, что они “не сумели” разъяснить Молотову в ходе парижской встречи, что разногласия его с ними не так уж и велики; им это *не подходило*. Парадоксально, что М. Леффлер и два канадских историка, далекие от концепции “открытости” ситуации 1947 г., приводят гораздо более убедительные аргументы в ее пользу!

В самом деле, ими приводятся новые факты, свидетельствующие о весьма значительных расхождениях между США, с одной стороны, Англией и Францией – с другой, а также о различии позиций между Англией и Францией, наконец, об общей озабоченности правительств тем, насколько им удастся обеспечить поддержку “плана Маршалла” внутри своих стран (в свое время эти расхождения, различия и озабоченность тщательно скрывались).

Эти противоречия могли бы быть использованы советской дипломатией, если бы она проявила больше гибкости в вопросе о продолжении участия в общеевропейских дебатах по американскому плану и вопросе о том, как относиться к западным позициям. Почему, например, было не принять в принципе идею выработки общеевропейского плана экономического развития и оздоровления – ведь в преддверии Генуэзской конференции Ленин с Чичериным сами составили и предложили такой план! Почему было не отказаться от идеи, что американцы *обязаны* помогать Европе и должны быть благодарны европейцам, что те позволят американцам помочь. Конечно, верно, что США были заинтересованы в европейском рынке и что в США в 1947 г. боялись кризиса перепроизводства, но даже в период войны, когда у США была абсолютная жизненная необходимость помогать своим союзникам, ибо иначе они сами бы стали жертвой агрессии, даже тогда ленд-лиз оформлялся в форме договоров, предусматривавших, что сами получатели американской помощи будут оказывать по возможности помощь США поставками необходимых для них товаров (“обратный ленд-лиз”). СССР тогда соглашался на это, почему не в 1947 г.?

Разумеется, нельзя с уверенностью предполагать, что даже при максимальной гибкости с советской стороны факторы против конфронтации перевесили бы факторы в пользу нее. Но уже тот факт, что западные державы не могли тогда прямо взять на себя ответственность за “разрыв”, прибежали к “уловкам”, чтобы свалить вину на Советский Союз, показывал, что они вовсе не были уверены в исходе дела. Сталин и его дипломатия поддались на “уловку” и тем самым вновь подыграли экстремистским кругам и течениям на Западе.

Последний аргумент в пользу тезиса о “рациональности” сталинист;

ского подхода к отношениям с западными державами в связи с "планом Маршалла" сводится к тому, что решение СССР о "самоизоляции" (распространившееся и на другие страны Восточной Европы) было обусловлено вполне реальными опасениями в связи со стратегией "вбивания клиньев" между ним и этими странами, которая как раз тогда была принята на Западе. Действительно, такая стратегия имела: ее наличие признал М. Лефлер, правда сочтя соответствующую цель второстепенной (и к сожалению, не обосновав такую ее ранжировку); ей посвятил одну из самых интересных глав своей книги Дж. Гэддис<sup>150</sup> (как представляется, он оценивает ее приоритетность выше). Но вот вопрос, действительно ли раздувание пропаганды о "двух лагерях" было оптимальным противоядием? Сильнее всего в 1947–1948 гг. эту пропаганду проводили руководители Югославии, но как раз эта страна и "ушла" первой из "социалистического лагеря". С другой стороны, конфликт с Югославией, развязанный Сталиным, опять-таки сыграл на руку стратегам конфронтации. Работавший в то время в Югославии американский дипломат М. Петрович почти с торжеством пишет о влиянии этого конфликта на западное общественное мнение: "Точка зрения о том, что Сталин настроен экспансионистски, агрессивно и воинственно, нашла дополнительное подтверждение"<sup>151</sup>.

Игнорирование общественного мнения, негибкость, фактическое следование подготовленному для него западными планировщиками сценарию – все эти черты, проявившиеся вначале в 1946 – первой половине 1947 г. еще спорадически и в какой-то мере компенсировавшиеся фактами более реалистических оценок и акций, а затем, с июля–августа 1947 г. все более монополюно определявшие сталинистский подход к международным делам, нашли свое едва ли не самое сильное воплощение в ходе развязанного опять-таки западными державами "берлинского кризиса". Фактически оборонительная позиция, которую тогда занимал Советский Союз, стала в результате выглядеть как "агрессивная", что опять-таки было как нельзя более на руку стратегам конфронтации. В этой связи трудно понять логику леволиберального историка ФРГ В. Лота, когда он, справедливо критикуя "ортодоксальную" точку зрения на "берлинский кризис" и констатируя его негативные последствия для германских и вообще мировых дел, в то же время, по существу, берет под защиту... Сталина: мол, критика в его адрес по поводу "плохо продуманного плана" реагирования на западную провокацию необоснованна<sup>152</sup>. Необоснованна как раз такая "антикритика"!

Данный пример показывает, что западная историография – даже в самом объективном ее варианте – никак не может выйти за рамки искусственной альтернативы: либо критика западных экстремистов, либо критика Сталина. Между тем первое отнюдь не исключает второго, более того, оно его предполагает. Без критики сталинизма будет неполной и критика западной политики "холодной войны".

<sup>150</sup>Gaddis J. The Long Peace. P. 152.

<sup>151</sup>Witnesses to the Origins of the Cold War. P. 58.

<sup>152</sup>Loth W. Die Teilung der Welt. S. 228.

Общие выводы по проблеме «сталинизм и "холодная война"» могут быть сформулированы следующим образом: политика конфронтации, курс на ее развязывание – это целиком и полностью творение наиболее агрессивных, наиболее экспансионистских кругов западного истеблишмента, отнюдь не реакция на преступления и прочие отвратительные феномены сталинского режима. Напротив, те, кто планировал и развязывал "холодную войну", сознательно использовали (если не прямо стимулировали) эти негативные явления, подрывавшие у мировой общественности позитивное представление об СССР и социализме, лишавшие советскую политику и дипломатию необходимой гибкости и принципиальности, отягощавшие их грузом догматизма. Можно в этой связи сказать, что такого рода деформации, "безумные поступки" Сталина (если использовать удачное в данном случае выражение Трумэна) способствовали тому, что из сферы замыслов, расчетов, планов весьма ограниченного круга "посвященных" в эти планы "холодная война" перешла в сферу реальной политики, стала фактом международной жизни. "Грубость и жестокость (brutality) Сталина сыграла на руку американским адвокатам жесткой линии, причем в самые решающие моменты", – справедливо, на наш взгляд, отмечает американский леволиберальный историк Б. Уайсбергер<sup>153</sup>.

Видимо, до сих пор нельзя считать до конца выясненными мотивы тогдашних действий Сталина и его окружения: шла ли речь о том, что они поддались на провокацию, или же эти провокации были всего лишь удобным предлогом для подавления всякого инакомыслия в партии и государстве, для консолидации системы сталинизма в самых худших ее проявлениях? Ответ на этот вопрос, очевидно, могут дать исследования специалистов по внутренней истории советского общества. Что касается международного аспекта, то тот или иной ответ не меняет существа дела: в обоих случаях вина, ответственность сталинизма неоспорима. Но столь же неоспоримо и другое: именно в той мере, в какой существует эта ответственность, увеличивается, возрастает и мера ответственности за "холодную войну" тех западных экстремистских кругов, которые в своей зловещей игре как раз делали крайне опасную, авантюристическую, наконец, просто антигуманную ставку на сталинизм как на вернейшего своего пособника в этой игре. К сожалению, западная историография, в неодинаковой степени и по-разному отмечая роковые последствия сталинизма, игнорирует этот момент<sup>154</sup>.

Гипотетически предположив, что если бы на советской и международной политике не сказывалось влияние культа Сталина и что конфронта-

<sup>153</sup>Weisberger B. Cold War, Cold Peace; The United States and Russia since 1945. Boston, 1984, P. 96.

<sup>154</sup>В этой связи трудно принять распространенное в западной историографии противопоставление "аморальности" Сталина и "морализма" западных политиков. Такое противопоставление, во всяком случае в отношении тех, кто в годы "холодной войны" и ее генезиса определял западную политику, – деятелей типа Трумэна или Бевина, – бессмысленно. Их "моральный облик" был ничуть не лучше сталинского. См., например: Thomas H. Op. cit. P. 49.

ционные силы на Западе были бы лишены возможностей, которые оно им открывало, можно, думается, с уверенностью сделать вывод, что "холодная война" не могла бы быть развязана. Однако и в тогдашних условиях она не была фатально предопределена. Сталинизм и игра на нем повышали ее вероятность, но имелись и силы, тенденции, противостоящие догматическому мышлению и соответствующей практике. Эти силы и тенденции были "подмяты" катком "холодной войны", стали ее первой жертвой. Если говорить о либеральном истеблишменте Запада, то не следует закрывать глаза на то, что представлявшие его круги в свое время столь же мало смогли решить проблему оценки сталинизма и отношения к нему, как и современная историография, отражающая менталитет этих кругов. С одной стороны, имелась тенденция некритически воспринимать Сталина как "добротного дядюшку Джо", оправдывать все его слова и дела, в крайнем случае находить смягчающие обстоятельства в том, что они были следствием провокаций со стороны лидеров Запада; с другой – тенденция свести всю советскую внешнюю политику к сталинистским эксцессам, отождествить ее практически с политикой фашистской Германии, игнорировать факт провокационных действий со стороны Запада и их влияния на менталитет Сталина и его окружения. В результате потенциально антиконфронтационные силы на Западе, вместо того чтобы использовать свое влияние на общественное мнение для мобилизации против политики конфронтации, скорее дезориентировали его, освободив поле для пропаганды конфронтационистов.

Определенным если не оправданием, то объяснением позиции этих кругов можно считать тот факт, что они не были посвящены в тайные замыслы тех, кто делал "большую политику". Однако ныне предпринимаются попытки найти "алиби" и для тех, кто как раз стоял у руля политики "холодной войны".

## ДИСКУССИИ ВОКРУГ "МОДЕРНИСТСКИХ" ПОДХОДОВ К ИСТОРИИ ПОСЛЕВОЕННОЙ КОНФРОНТАЦИИ

### "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ" В ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"

Если попытаться очень лаконично обозначить суть данной "модели", то, скорее всего, подойдет известное выражение "стрелочник виноват". Иначе, более строго, говоря, все определяют не законы политики, а законы организации, не политические, а аппаратные решения, не политики, а бюрократы. "Настоящим объектом изучения британской внешней политики должны быть актеры (отнюдь не режиссеры. – А.Ф.) драмы, действующие на субправительственном, субминистерском уровне; настоящие секреты и настоящие проблемы – именно там, в самой природе вещей, которые имеют место на этом уровне" – так недвусмысленно излагает свое методологическое кредо видный представитель этой "модели" английский историк В.Ротуэлл<sup>1</sup>. Он готов признать, что как используемые им источники, так и их интерпретация ограничены кругозором и перспективой "чиновника министерства иностранных дел", однако, с его точки зрения, это вовсе и не ограничение, а лишь "фокусировка" на самом главном и решающем.

Разумеется, такая "фокусировка" на деле открывает дорогу субъективизму и даже агностицизму в анализе. Американский историк Д.Альварес, собственно, об этом так прямо и говорит, лишь облекая свои высказывания в терминологию, заимствованную явно из трудов специалистов по информатике и кибернетике; механизм принятия политических решений он характеризует как "черный ящик": известно, что он состоит из "человеческих и организационных факторов", известны "сигналы на выходе", т.е. политические решения; можно узнать «сигналы на входе», т.е. материалы, на основе которых они принимаются но как это делается, почему на "выходе" оказывается тот, а не иной "сигнал", кто отвечает и за что – принципиально непознаваемо и неконтролируемо извне: "черный ящик"! Внешняя политика, по его определению, – это "результат взаимодействия между чиновниками, представляющими различные перспективы и интересы, взаимодействия иногда согласованного, иногда конкурентного, зачастую некоординированного". Характерен и вывод его книги, посвященной формированию "доктрины Трумэна": антикоммунизм не был определяющей линией политики США; не правы и "традиционалисты", считавшие, что она была направлена на отпор "советской агрессии", и "ревизионисты", считавшие ее целью "отбрасывание

<sup>1</sup> Rothwell V. Britain and the Cold War, 1941–1947. L., 1982. P. 1.

коммунизма”<sup>2</sup>. Кто же прав? Где же истина? Науке это неизвестно – и принципиально не может быть известно!

Более архаическую аргументацию использовал в мемуарах Д.Ачесон, в одном из редчайших случаев, когда отозвался о решении своего патрона Г.Трумэна как о ”неверном и ненужном”, как о его ”самой большой ошибке” (имелось в виду прекращение программы ленд-лиза после войны). Высказавшись столь категорично, мемуарист заключает: «Все сказанное вовсе не является критикой в адрес нового и неопытного президента, ставшего жертвой явно дурного совета со стороны ответственных (как предполагалось) чиновников. ”Кому всегда внимают – так это дурным советникам”, как говаривал Эдмунд Бёрк»<sup>3</sup>.

Еще проще – не прибегая к образам из области кибернетики и не тревожа праха Бёрка – выразил содержание пословицы ”стрелочник виноват” сам Г.Трумэн. Ему тоже пришлось оправдываться по поводу прекращения ленд-лиза. И вот сначала в газетном интервью, а затем в мемуарах он так преподнес свои действия: подписал что-то там не читая, что подсунули, – своего-то аппарата еще не было! Вроде бы полное совпадение с Ачесоном.

Но вот загвоздка: пишут-то они о разных вещах! Трумэн – о приказе от 11 мая 1945 г., вскоре отмененном, а Ачесон – об окончательном решении от 21 августа. Две одинаковые ”ошибки” по одному и тому же вопросу через столь короткий промежуток времени и все по доверчивости к ”плохим советам” – это уж слишком, чтобы в это можно всерьез поверить!

К тому же дотошные историки-”ревизионисты” раскопали данные, говорящие о том, что Трумэн прекрасно был осведомлен о деле, которое являлось предметом майской директивы<sup>4</sup>, что этот вопрос обсуждался им заранее с его советниками, так что вроде бы экс-президент попался на элементарной лжи<sup>5</sup>.

И вот тут на сцену выступили ”постревизионисты”. Первый из них – профессор университета штата Кентукки Дж.Херринг. В его изображении все приобрело безобидную окраску: действительно, в американской администрации обсуждался вопрос, как быть с ленд-лизом после войны; высказывались и мнения, что можно бы по этому случаю ”нажать” на СССР. Но... решения никакого принято-де не было! За исключением разве того, чтобы обдумать, не послать ли Советскому Союзу какой-то сигнал, приглашающий к переговорам – и по ленд-лизу, и по другим вопросам. Трумэн, мол, действительно подписал документ не читая,

<sup>2</sup> *Alvarez D.J. Bureaucracy and Cold War Diplomacy: The United States and Turkey, 1943–1946. Thessaloniki, 1980. P. 14, 79.*

<sup>3</sup> *Acheson D. Present at the Creation. N.Y., 1970. P. 173.*

<sup>4</sup> Речь идет о деле весьма серьезном: по сути, о первой попытке администрации США применить политику ”санкций” в отношении советского союзника. Историки-”прогрессисты” справедливо придают этому акту большое значение, как признаку резкого изменения политического курса США. Трумэновские оправдания см.: *New York Times. 1950. Feb. 15; Truman H. Memoirs. N.Y., 1955. Vol. 1: Year of Decisions. P. 227–229.*

<sup>5</sup> *Gardner L.C. Architects of Illusion: Men and Ideas in American Foreign Policy, 1941–1946. Chicago, 1970. P. 66.*



полагая, что речь идет о безобидном "сигнале", а получилась провокация! Дальше – уже по Трумэн: он все понял, отозвал приказ, и совершенно зря СССР обиделся. Вывод историка: виноваты "плохое планирование и бюрократический хаос"<sup>6</sup> – и все.

Для убедительности Херринг привел еще пример: вот ведь затеряли же в госдепартаменте советскую ноту, где содержался запрос об условиях возможного предоставления СССР займа на восстановление народного хозяйства, и в течение 6 месяцев не могли найти! Таковы уж чиновники: то сверххвение (в случае с прекращением поставок в СССР), то сверхразгильдяйство (в случае с предоставлением кредитов) – не угадаешь!

Версия Дж.Херринга при всей ее оригинальности оставляла без внимания естественный вопрос. Зачем нужно было давать какие-то сигналы СССР и побуждать его вести переговоры, когда он всегда был готов на это? Самый первый вопрос с советской стороны в связи с этим инцидентом сводился к тому, почему нельзя было обсудить заранее вопрос о продолжении или прекращении поставок с компетентными советскими представителями? Кстати, в ответ на это заместитель госсекретаря Дж.Грю сослался на "неведение", но зато генерал Йорк, непосредственно ведавший ленд-лизом, прямо отрубил, что «внезапное приостановление поставок стоит в прямой связи с последней перепиской Сталина с Трумэнном по польским делам, т.е. носит характер "репрессивного мероприятия"»<sup>7</sup>. Но даже если не знать об этих разговорах, антисоветский характер был слишком очевиден. То же относилось и к истории с займом, запрос о котором якобы "потеряли". Поэтому версию Дж.Херринга встретили скептически даже его коллеги – "постревизионисты"<sup>8</sup>.

За дело взялся другой автор этой школы – Л.Мартел из Гудзоновского института. Он прежде всего счел за благо отмежеваться от версии о "пропавшей грамоте": советский запрос о займе вовсе не "потеряли" в госдепартаменте, а просто положили под сукно, как явствовало из найденных им соответствующих резолюций руководства. Признал он и другое: директива от 11 мая 1945 г. замыслилась, конечно, не как безобидный "сигнал", а действительно как акт шантажа в отношении советского союзника. Однако, как утверждает автор, в согласованном на высшем уровне тексте директивы не было слов о "немедленном и полном" прекращении поставок. Эти слова, как можно судить по почти детективным изысканиям Л.Мартела, вставил уже на чисто технической стадии оформления документа простой чиновник госдепартамента по фамилии Дерброу – по собственной инициативе и на свой страх и риск!<sup>9</sup>

<sup>6</sup> *Herring G.C. Aid to Russia 1941–1946: Strategy, Diplomacy, Origins of the Cold War.* N.Y., 1973. P. 210.

<sup>7</sup> Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1984. Т. 2. С. 389.

<sup>8</sup> «В детальном рассказе Херринга... теряется тот факт, что на администрацию оказывалось мощное внутривластное давление по внешнеполитическим мотивам: речь шла о том, чтобы оставаться "жестким" в отношении Советского Союза». См.: *Loth W. Die Teilung der Welt.* München, 1980. S. 106.

<sup>9</sup> *Martel L. Lend-Lease, Loans and the Coming of the Cold War: A Study of Implementation of Foreign Policy.* Boulder, 1979. P. 129–130, 196–204.

Нетрудно заметить, что эта версия при всей внешней "радикальности" фактически вообще снимает всякую ответственность и с президента (коль скоро он уже был знаком с документом, он имел право и не читать его: не его же дело сверять копии с оригиналом), и со всего политического руководства (какое значение имеет, насколько разумные решения оно принимает, если простой исполнитель может все изменить и переиначить, ибо вставленные слова действительно в какой-то мере меняли характер документа).

Одно простое соображение ставит версию Л.Мартела, мягко говоря, под сомнение: чиновнику, допустившему подобное своеволие с такими скандальными последствиями, пришлось бы, очевидно, плохо в любом сколь угодно "хаотичном" учреждении. Между тем у Дерброу, как говорится, и волоса с головы не упало: не доказывает ли это, что он как раз кому-то очень угодил своим "своеволием"?

Идея о том, что один человек, причем вовсе не облеченный иными полномочиями, кроме исполнительских, может повернуть ход истории (а это в общем-то логичный вывод из данной версии), – своеобразная крайность. Чаще в рамках "оргмодели" такая роль отводится некоей группе "бюрократов". Одна из первых ее разработчиц – Л.Дэвис включила в круг тех, кто "повернул" американскую политику в сторону конфронтации, помимо упомянутого Дерброу, еще трех его коллег по Европейскому отделу госдепартамента<sup>10</sup>. М.Вейль, так же как и Л.Дэвис, участник гарвардского семинара Э.Мея, расширил этот круг еще больше, включив в него всех сотрудников этого отдела<sup>11</sup>.

Концепция Вейля представляет интерес в том плане, что затрагивает и показывает деятельность не только сторонников, но и противников курса на конфронтацию (их называют "ньюдилерами", имея в виду их близость к идеям "нового курса" Рузвельта; первые же получают наименование "европеистов" – по названию их отдела). Книга М.Вейля очень сильна там, где он приводит факты антисоветской деятельности "европеистов", слабее там, где он говорит о борьбе с ними "ньюдилеров" (ощущается явное преувеличение последовательности этой борьбы, да и сам круг их очерчен не очень ясно), и совсем слаба там, где он излагает свои соображения о причинах поражения последних. Главное преимущество "европеистов" состояло, по Вейлю, в том, что они "контролировали поток телеграмм" – "исходящих" – и значит, исполнение директив президента, "входящих" – и значит, поток информации для него – и, таким образом, имели возможность искажать и то, и другое, а то и просто отстранять президента и его сподвижников от управления внешними делами.

Приводимые факты впечатляют: Рузвельт дает поручение подготовить текст послания "Союзу польских патриотов", т.е. выражает желание отойти от односторонней ориентации на "лондонских поляков", чинов-

<sup>10</sup> Davis L. The Cold War Begins. Soviet-American Confrontation over Eastern Europe. Princeton, 1974.

<sup>11</sup> Книга появилась в рамках специальной программы "Бюрократы в правительстве", осуществляемой Гарвардским университетом. Weil M. A Pretty Good Club: The Founding Fathers of the U.S. Foreign Service. N.Y., 1978.

ники тянут, и дело кончается ничем; в госдепартамент приходит на экспертизу предложение министерства финансов о предоставлении кредитов СССР – там урезают цифру в 100 (!) раз; руководитель госдепартамента (уже при Трумэне) хочет снять посла в Болгарии за сверхантисоветизм – руководитель отдела “блокирует” это намерение и т.д.<sup>12</sup>

Эти факты не отвечают, однако, на один важный вопрос: почему до поры до времени этот саботаж все-таки преодолевался; почему Рузвельту удавалось порой (хотя далеко не всегда) отстранять антисоветчиков-”европеистов” от ключевых решений и почему все это изменилось при его преемнике? Объяснение автор ищет в сфере организационных ”законов”. Во время войны, аргументирует он, формировались и функционировали параллельные, менее формальные организации, в которых было слабее влияние ”бюрократов”-профессионалов, зато соответственно сильнее – аутсайдеров-”ньюдилеров” и которые потому могли создавать альтернативные каналы ”связи и управления” для политического руководства. С окончанием войны эти ”небюрократические органы” потеряли право на существование, распались, а в результате исчезли и соответствующие возможности ”обойти” бюрократов<sup>13</sup>. Выходит, что наступление мира уже фатально приближало ”холодную войну”!

Фатализм этот, однако, беспочвен, ибо неверен лежащий в его основе принцип выведения ”политической характеристики” того или иного учреждения из его функционально-организационных особенностей. Никак не соответствует этому принципу, например, та же история с прекращением ленд-лиза, о чем уже говорилось выше. Одной из самых нетрадиционных неформальных организаций в системе внешнеполитического аппарата США в 1945 г. была та, которая занималась вопросами поставок по ленд-лизу. Казалось бы, эта организация, детище Рузвельта, вечно соперничавшая к тому же со всеми прочими, более ”старыми” учреждениями типа госдепартамента, должна была бы как-то выступить против столь грубой антирузвельтовской по духу и госдепартаментской по происхождению акции, как разрыв без всякого предупреждения и объяснения экономического сотрудничества с СССР, к поддержанию которого, собственно, и сводился смысл деятельности этой организации. По крайней мере можно было ожидать, что ее руководители постараются как-то смягчить практическое воплощение этой акции. Случилось как раз обратное: они постарались проявить особое рвение – указание повернуть назад суда с грузами, уже находящиеся в пути, было своего рода самодетельным творчеством этого якобы ”просоветского” учреждения и его руководителя генерала Йорка<sup>14</sup>. Факт этот, повергший в полное недоумение Л.Мартела (а его ”оргмодель”, как видим, не особо отличается от вейлевской), лишь демонстрирует отсутствие принципиальной разницы между ”политикой” различных учреждений американской администрации:

<sup>12</sup> Ibid. P. 160–161, 172, 234.

<sup>13</sup> Французский историк И.-А.Нуайя говорит в этой связи о «реванше дипломатов из госдепартамента над ”мозговым трестом” Рузвельта и его политикой примирения» (Relations Internationales. 1986. N 47. P. 341).

<sup>14</sup> Martel L. Op. cit. P. 125–126.

”новые” или ”старые”, инертные или мобильные, они обнаруживали недюжинную гибкость в приспособлении к той политике, которая определялась политическим руководством страны, и к изменениям в ней – особенно когда речь шла об изменениях в сторону усиления антисоветизма.

Справедливости ради следует сказать, что фатализм М.Вейля имеет одно исключение: дело ”ньюдилеров” можно было бы спасти, конфронтации избежать, если бы после войны удалось сохранить американскую... разведку – Управление стратегических служб (УСС). Рыцари ”плаща и кинжала” – вот кто, оказывается, мог бы спасти мир от ”холодной войны”! Здесь уже концепция М.Вейля не просто обнаруживает слабость, но и порождает печальные мысли о том, сколь сильно лобби ЦРУ влияет и на историков.

Пожалуй, единственным соображением в пользу данной версии является то, что донесения УСС содержали более объективную, отличающуюся от ”дубового антисоветизма” картину политических событий в мире. Действительно, мы видели такого рода пример – агенты УСС разоблачили домыслы американского посла о советских ”происках” в Иране<sup>15</sup>. Но что это доказывает? Любая разведка должна, конечно, давать информацию – в этом ее основная функция. Но одно дело информация, а другое – ее интерпретация (характер которой, в свою очередь, влияет и на информационный компонент). Во всяком случае, тон меморандумов УСС при Трумэне стал совсем другим, нежели при Рузвельте. Тогда если и затрагивалась тема ”войны с Россией”, то главным образом в том контексте, что таковая может быть выгодна лишь силам, враждебным как интересам СССР, так и интересам США<sup>16</sup>. Но уже 5 мая 1945 г. шеф УСС генерал Донован представил президенту прогноз, согласно которому эта война неизбежна, ибо в СССР существует план агрессии против западных демократий; назывался даже ориентировочный срок начала осуществления такого плана – через 10–15 лет<sup>17</sup>. Как видим, американская разведка приспособилась к курсу нового президента столь же быстро, как и прочие органы администрации.

Верно: когда ”холодная война” уже шла, причем в условиях, исключавших для США вариант перевода ее в ”горячую”, когда шло ”баланси-рование на грани”, требования к чисто информационным функциям разведки возросли. Этим, вероятно, можно объяснить, что из имеющихся в руках историков документов различных американских ведомств, причастных к политике ”холодной войны”, именно те, которые исходили из ЦРУ,

<sup>15</sup> Историк из бывшей ГДР К.Дрекслер обнаружил еще ряд подобных меморандумов УСС, разоблачавших некоторые антисоветские мифы. *Drechsler K. Die USA zwischen Antihitlerkoalition und Kaltem Krieg. В., 1986. S. 70, 83.*

<sup>16</sup> В качестве таких сил назывались, в частности, ”лондонские поляки” – ”узкая клика антирусски настроенных реакционеров”, все помыслы которых направлены на то, чтобы ”сохранить свои феодальные поместья”, как звучит цитированный М.Вейлем документ американских спецслужб. См.: *Weil M. Op. cit. P. 171.*

<sup>17</sup> *Anderson T. The United States, Great Britain, and the Cold War, 1944–1947. L., 1981. P. 76.* Совпадение этого хронологического прогноза с упоминанием 2–3 пятiletок в речи Сталина 9 февраля 1946 г. и послужило основанием Таубману для предположения об ”угрожающем” характере последней. Предположение малоосновательное.

производят впечатление более взвешенных или по крайней мере менее экстравагантных<sup>18</sup>. Г.Херкен приводит один из таких документов, относящихся к началу 1950 г., в котором, в частности, отмечалось, что обретение Советским Союзом атомного оружия вряд ли изменит характер советской политики и даже тактики, и отвергалась идея, будто только атомная монополия США "предотвратила осуществление советского намерения продолжить свое наступление 1945 г. до Атлантики". По поводу последнего тезиса документ ЦРУ лаконично заявлял: "Нет причины предполагать, что СССР вообще имел такое намерение в 1945 г. или впоследствии". Делать, однако, отсюда вывод о том, что американское разведывательное сообщество было "мягко настроено" к СССР, — это значит применять такую же странную логику, которую мобилизовали тогда против упомянутого документа ЦРУ представители военного ведомства: документ "опасен", "подорывает безопасность" США<sup>19</sup>.

Иррациональность, даже одиозность позиций и взглядов представителей военного истеблишмента США — это факт, в отношении которого существовало что-то вроде консенсуса, объединявшего историков самых разных, даже диаметрально противоположных, взглядов. "Ортодокс" П.Сибери, критикуя "ревизиониста" Д.Флеминга, признал все-таки, что приводимые тем высказывания американских военачальников с угрозами превратить Советский Союз в радиоактивную пустыню — это "не слишком приятное чтение"<sup>20</sup>. Действительно, экстремизм военного "лобби" — и на уровне секретных обсуждений, и на уровне откровений на публику — был таков, что это порой побуждало администрацию применять репрессивные меры, чтобы одергивать зарвавшихся милитаристов<sup>21</sup>.

Тем более неожиданным можно считать тот поворот в историографии, который состоял в практической реабилитации военных кругов и даже в выдвигании их на роль силы, противодействующей развитию конфронтации. Между тем такой поворот в развитии "оргмодели" налицо. М.Галличчио в вышедшей в 1988 г. в США монографии о "холодной войне" в Азии развивает следующую концепцию: в правящих кругах Вашингтона существовал конфликт между группировкой гражданских политиков и военными. В то время как первые выступали за всемерное наращивание военной мощи США в Северо-Восточной Азии ради целей "сдерживания Советского Союза и революционного национализма", вторые были против. В результате "подозрения Вашингтона и его желание бросить вызов Москве были смягчены благодаря позиции генералов и адмиралов" (цитируются слова одного из рецензентов книги)<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Впрочем, возможно, что такое впечатление искусственно создано самим ЦРУ: именно этому ведомству принадлежит окончательное право решать, рассекретить ли тот или иной документ, и наверняка оно не слишком заинтересовано в том, чтобы общественность получила компрометирующую его информацию.

<sup>19</sup> Herken G. *The Winning Weapon: The Atomic Bomb in the Cold War, 1945–1950*. Princeton, 1988. P. 325.

<sup>20</sup> *Journal of Contemporary History*. 1968. Vol. 3, N 1. P. 171.

<sup>21</sup> Acheson D. *Op. cit.* P. 618.

<sup>22</sup> Gallicchio M. *The Cold War Begins in Asia: American East-Asian Policy and the Fall of the Japanese Empire* N.Y., 1988; *American Political Science Review*. Vol. 83. 1989. June, N 2. P. 681.

Еще ранее такая концепция стала использоваться для интерпретации политики США в Европе, в частности в германском вопросе. Речь прежде всего идет о целой серии книг и статей, принадлежащих перу видного американского историка Дж. Гимбела<sup>23</sup>.

Исходным пунктом концепции Гимбела послужил тот факт, что полученные им рассекреченные документы из переписки командования американской военной администрации в Германии, возглавляемой Л. Клеем, с вашингтонскими инстанциями подрывали тот "имидж", который сложился о военном губернаторе американской зоны на основании его "суперястребиной" позиции во время "берлинского кризиса" в 1948 г. и вышедших двумя годами позже его мемуаров. В противоположность тому, что Клей писал в этих мемуарах, его секретные телеграммы свидетельствовали о довольно объективном или по крайней мере спокойном отношении губернатора к своему советскому союзнику и, наоборот, о крайне эмоционально-негативном – к французам и собственному госдепартаменту.

Дж. Гимбел сделал отсюда элементарный вывод: истинная позиция Клея, как и всей американской администрации в Германии, была антифранцузской и антигосдеповской. Антисоветизм же появился задним числом в качестве "легенды холодной войны" (так гласил подзаголовок одной из его многочисленных статей, пропагандировавших его версию) и примера "использования истории в политических целях" (подзаголовок другой статьи на эту же тему) ради, как можно было понять, самореабилитации за прошлую "мягкость" к СССР: ведь однажды, в 1946 г., Клей даже отказался выполнить поступивший к нему приказ начальства распространить в войсках материал для "политического воспитания", основанный на "длинной телеграмме" Кеннана.

Отметим некоторые общие характеристики и частные разновидности этой "оргмодели". Она существует либо в виде "диполя" (политики – бюрократы), либо в виде неких "треугольников" (политики – чиновники госдепартамента – дипломаты "неформального" статуса; политики – чиновники госдепартамента – военные). Во всех случаях роль политиков, по существу, пассивная: чиновники госдепартамента – за "холодную войну", "неформалы" и военные – против. Так пишут американские историки об американской политике.

Когда речь заходит о применении той же модели к исследованию английской политики, то конфигурация, как правило, иная: уже военные выступают как главная антисоветская сила, тогда как среди чиновников Форин оффис фиксируются тенденции скорее примирительные<sup>24</sup>. Различие интерпретаций зависит не только от объекта, но и от субъектов исследования. Историки ФРГ, например, склонны рассматривать госдепар-

<sup>23</sup> *Gimbel J.* The American Occupation of Germany. Stanford, 1968; *Idem.* The Origins of the Marshall Plan. Stanford, 1976; *Idem.* Die Vereinigte Staaten, Frankreich und der amerikanische Vertragsentwurf zur Entmilitarisierung Deutschlands // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1973. N. 3. S. 258–286; *Idem.* The American Reparation Stop in Germany // The Historian. 1975. N 2. P. 276–296.

<sup>24</sup> *Rothwell V.* Op. cit. P. 118–123; *Kitchen M.* British Policy Towards the Soviet Union during the Second World War. L., 1986. P. 198–200.

тамент как приют "голубей"<sup>25</sup>, к американским военным у них в этом смысле отношение более скептическое (возможно, потому, что исторически западные немцы располагали не самым приятным личным опытом для оценки позиций американских "проконсулов"); лишь в последнее время начало проявляться влияние схемы Дж. Гимбела<sup>26</sup>.

Есть и менее "жесткие" схемы "бюрократической политики". К примеру, в изображении финского историка Ю. Невакиви, автора ряда интересных работ о политике западных держав в скандинавском регионе и Финляндии, дипломаты, военные, разведчики – все калейдоскопически меняют свои позиции – от "голубей" к "ястребам", и наоборот, так что никакой целостной картины не создается<sup>27</sup>.

Определенный синтез и "оптимизацию" рассматриваемой нами модели предпринял самый, по-видимому, выдающийся представитель "постревизионизма" Д. Ергин. Так же как и М. Вейль, он придерживается точки зрения о том, что оплотом и рассадником антисоветизма в политической системе США традиционно выступал госдепартамент – те самые "европеисты" М. Вейля, которых он называет "рижанами" (в столице буржуазной Латвии до установления дипломатических отношений между СССР и США была сосредоточена группа американских дипломатов, "следивших", естественно в крайне враждебном духе, за СССР; "рижские аксиомы", "рижская школа" – это понятия, которые Д. Ергин употребляет как синонимы конфронтационного, антисоветского мышления)<sup>28</sup>. Так же как и Дж. Гимбел (которого он, кстати, высоко ценит), Д. Ергин считает, что в военном истеблишменте "рижские аксиомы" до поры до времени не встречали особого энтузиазма. Но именно до поры до времени. Главное, что отличает его от прочих единомышленников по "оргмодели", – это отказ от принципиального противопоставления друг другу "политиков" и "бюрократов", "дипломатов" и "военных". В его представлении имел место единый процесс "антисоветизации" американской политической системы после второй мировой войны – процесс, который шел неравномерно в разных ее звеньях, но постепенно захватил ее целиком и полностью.

<sup>25</sup> Czempiel E. = O. Amerikanische Aussenpolitik: Gesellschaftliche Anforderungen und politische Entscheidungen. Stuttgart, 1980. S.103.

<sup>26</sup> Когда он изложил ее на Эссенской конференции 1977 года, она встретила резкую критику, особенно в "контрдокладе" М. Кнаппа. Девятью годами позже Х. Клесман выразил уже полную солидарность с Дж. Гимбелом. Промежуточную позицию занял В. Лот: согласившись с тезисом Дж. Гимбела и его последователя, биографа Клея Дж. Смита, о том, что руководители американской администрации в Германии были "в числе немногих противников доктрины сдерживания", он все же попенял американскому историку за недооценку "антисоветского мотива" в американской политике в германском вопросе. См.: Der Marshal-Plan. und die europäische Linke. Frankfurt a/Main, 1986. S.36–46; Klessman Ch. Die doppelte Staatsgründung. Bonn, 1986. S. 34; Loth W. Op. cit. S. 141–142.

<sup>27</sup> Nevakivi J. Scandinavian Talks on Military Cooperation in 1946–1947: a Prelude to the Decisions of 1948–1949 // Cooperation and Conflict. 1984. Vol. 19. P. 167; Idem. Finland and the Cold War // Scandinavian Journal of History. 1985. Vol. 10, N 3. P. 212–214.

<sup>28</sup> Учитывая, что книги Д. Ергина и М. Вейля вышли почти одновременно, вопрос о приоритете в выдвижении этой идеи следует признать довольно сложным.

Концепция Д. Ергина разрешила ту "загадку (или "парадокс") Клея" (назовем это так), которая повела по ложному пути Дж. Гимбела: можно ли считать антисоветчиком того, кто в сугубо доверительных, не предназначенных для публики документах расходился с тезисами официальной антисоветской пропаганды, которую сам же порой публично выражал? Оказалось все очень просто – не только военный Клей, но и политик Ванденберг, лично не соприкасавшийся с германскими делами, вполне ясно осознавал, что СССР не только не нарушает, но и строго соблюдает потсдамские договоренности, что, таким образом, политическая реальность никак не оправдывала курс на конфронтацию. Однако вывод отсюда делался только один, а именно что все это – "одна из причин для нашего беспокойства"<sup>29</sup>. Если и были какие-то расхождения, то только в выборе "успокоительного средства": одни, по большей части те, кто находился в Вашингтоне, считали, что надо форсировать антисоветскую пропаганду в той же Германии, невзирая на то что она не соответствует фактам; другие, лучше знакомые с реальной ситуацией на местах, тот же Клей, небезосновательно полагали, что, пока оккупационный персонал включает в себя еще не демобилизованных боевых солдат и офицеров, "лобовой" антисоветизм не пройдет, а вызовет противоположную реакцию<sup>30</sup>; отсюда – и только отсюда – оппозиция Клея успешному распространению в подчиненных ему войсках идей в духе "длинной телеграммы". Различие, вполне очевидно, было в тактике, а не в стратегии, которая объединяла и "дипломатов", и "военных", и "политиков" Трумэновской администрации, стратегии циничного и сознательного антисоветизма, стратегии циничной и сознательной манипуляции сознанием своего народа.

Если говорить о концептуальных новшествах Д. Ергина, то сводились они к тому, что были отброшены схемы "диполей" и "треугольников", вместо них были выдвинуты два новых понятия: во-первых, "антикоммунистический консенсус" (или "консенсус холодной войны") как характеристика единства взглядов *всего* внешнеполитического истеблишмента США, и на аппаратном, и на политическом уровне; во-вторых, "государство национальной безопасности" как характеристика новой системной политической реальности в истории США.

Сама по себе мысль о том, что в послевоенный период в США понятие "внешняя политика" стало подменяться понятием "политика национальной безопасности", т.е. о том, что там шел процесс милитаризации политики и политического мышления, встречалась и раньше – еще у "реалиста" Л. Галле. Встречалась и постановка вопроса о глубинных причинах такого явле-

<sup>29</sup>Это саморазоблачительное признание (ибо на публику говорилось, естественно, прямо противоположное – о "нелояльности" и "непредсказуемости" советской политики), обнаруженное Д. Ергином среди тех материалов личного архива сенатора Ванденберга, которые не были включены в ранее предпринятую и широко известную публикацию его "бумаг", – хорошее предупреждение для всех, кто работает с такого рода изданиями. См.: *Yergin D. Shattered World: The Origins of the Cold War and the National Security State*. Boston, 1977.

<sup>30</sup> Факты, свидетельствующие именно о такой реакции, отмечались наблюдателями. См. об этом: *Зубок Л.И., Яковлев Н.Н.* Новейшая история США. М., 1972. С. 211.



ния. Еще в 1967 г., все на той же Лондонской конференции по "холодной войне", Э. Мей, критикуя (и справедливо) "подход Дрю Пирсона" в интерпретации "ревизиониста" Г. Алпровица (т.е. сведение изменения курса в политике Вашингтона к изменениям лиц в администрации), предложил взглянуть глубже: "С точки зрения тех людей, которые во время войны создавали ВВС, было естественно испытывать тревогу по поводу того, что ВВС могут быть расформированы. Поэтому люди в ВВС, ВМС, в армии были склонны выискивать аргументы в пользу более высокого уровня вооружений после войны... и они выступали за это, имея в виду вполне реальную возможность будущего столкновения с Советским Союзом. От них президент получал несколько иные идеи, чем те, которые давались раньше. Были ли эти новые идеи более правильными, чем те, которые превалировали до того, представляется мне тем вопросом, о котором мы можем судить весьма гадательно, предположительно"<sup>31</sup>.

Спустя десять с лишним лет Д. Ергин дал довольно аргументированный и убедительный ответ на вопрос своего руководителя семинара, отметив, что "возникшая еще в годы войны зависимость авиапромышленности от военных заказов создала (для владельцев авиазаводов) глубокую и постоянную заинтересованность в большом и растущем военном бюджете, а тем самым и в гонке вооружений, что, в свою очередь, означало, что поднимали тревогу из-за угроз, которых не было"<sup>32</sup>. Ответ, как видим, дан не только на вопрос об обоснованности представлений о "советской угрозе", но и на менее явный у Э. Мей вопрос о том, чьи интересы стояли за идеями "людей в ВВС, ВМС и армии".

Не следует преувеличивать последовательности Д. Ергина в разоблачении союза магнатов ВПК и политиков "холодной войны". С одной стороны, он вроде бы и осуждает гонку вооружений, с другой же – если и не одобряет, то, по существу, считает неизбежной, причем не по каким-либо политическим соображениям, а по мотивам технического прогресса! "Демонтаж такой высокотехнологичной отрасли (имеется в виду авиапромышленность. – А.Ф.) был бы неразумным делом", – отмечает он (вполне разумно), а значит, не было другой возможности ее сохранить, кроме "подкормки" ее военными заказами. Опять-таки уже не в первый раз мы наблюдаем странную логику и узость кругозора историков в том, что касается оценки возможных альтернатив пути гонки вооружений; и в данном случае альтернатива в виде конверсии военного производства даже не рассматривается!

<sup>31</sup>Journal of Contemporary History. 1968. Vol. 3, N 2. P. 238–239.

<sup>32</sup>Yergin D. Op. cit. P. 268. Он же приводит неплохую иллюстрацию истины о влиянии складывающегося военно-промышленного комплекса (ВПК) на политику и пропаганду: «Превосходство американских ВВС над советскими было к концу 40-х годов очень значительным. Тем не менее благодаря специальной редакционной обработке статья, опубликованная в "Авиэйшн ньюс" в апреле 1947 г., внушала мысль, что Советы впереди. В статье заявлялось, что "оперативные военно-воздушные силы в Советском Союзе вдвое превышают американские". Конгресс, пробудись!» Чуть раньше он убедительно разоблачает тезис об "одностороннем разоружении" США после войны: во время войны, в 1944 г., на исследование и разработки военного ведомство получило 277,5 млн долл.; в 1946 г. – 281,5; в 1947 г. – уже около 500 млн!

Для работы Д. Ергина характерен и еще один немаловажный недостаток. Там даже и не ставился напрашивающийся вопрос: коль скоро курс на гонку вооружений отражал интересы лишь одной, пусть наиболее усилившейся в результате войны, группировки правящего класса, почему этот курс получил поддержку или, во всяком случае, не встретил особенно энергичного сопротивления со стороны этого класса в целом, включая и представителей "мирного комплекса"? Известную попытку проанализировать эту проблему предпринял западногерманский последователь Д. Ергина В. Лот. Он выделил два момента, определивших, по его мнению, "структурную необходимость" политики сдерживания для всей существовавшей в США политико-экономической системы (точнее, конечно, было бы говорить не о "необходимости", а о "детерминированности", ибо сам В. Лот не считает эту политику единственной и неизбежной альтернативой для США). Это, во-первых, "страх перед кризисом перепроизводства" как следствия перехода от военной к мирной экономике, а во-вторых, такого же рода эмоции в связи с "ростом социалистических движений в Европе и националистических движений в бывших европейских колониях"<sup>33</sup>.

Что можно сказать по этому поводу? Очевидно, и то, и другое имело место и использовалось представителями ВПК для агитации в пользу высоких военных расходов и "боевой готовности" в духе идеологии "осажденной крепости", и, видимо, эта агитация не преминула оказать своего воздействия и на те круги, которые прямо не были заинтересованы в гонке вооружений. Однако разумно поставить вопрос, был ли путь "холодной войны" единственным и оптимальным (даже с точки зрения интересов господствующего класса *в целом*) ответом на эти "страхи"? Сам В. Лот дает понять, что, положим, экспортные потребности американских производителей вполне могли быть удовлетворены за счет рынков СССР и тех стран, которые он называет "входящими в советскую зону влияния". Они, отмечает он, вовсе не были "закрыты", как считалось (а вернее, внушалось пропагандой) на Западе. Можно добавить, что рузвельтовский "новый курс" и политика "доброе соседство" давали средство более гибкого реагирования и на "европейский социализм", и на "националистические" движения и отказ от того и другого в условиях "холодной войны" был просто-напросто регрессом даже с точки зрения политического опыта США.

В этой связи не может не вызвать недоумения вывод В. Лота: «Так же как и мировая война, "холодная война" должна была пойти на пользу американской экономике и обеспечить продолжение политике участия, характерной для "нового курса" (?)»<sup>34</sup>. Что следует из этого вывода? То, что круг сил, заинтересованных в "холодной войне", резко *расширяется*: в первую очередь за счет всех тех "нюдильеров", которые на деле, как показал М. Вейль, стали первыми *жертвами* этой политики. Какие же факты стоят за этим выводом В. Лота, перекликающимся с тезисом Даллека о том, что, будь Рузвельт жив, он бы еще быстрее начал "холодную

<sup>33</sup>Loth W. Op. cit. S. 126.

<sup>34</sup>Ibid.

войну"? В общем-то только один факт, кстати напрямую В. Лотом и не высказанный, – тот, что в проведении антисоветской политики конфронтации активно участвовали лидеры американских профсоюзов, которые ранее поддерживали "нью-дил". Факт бесспорен, но оправдывает ли он идею о том фактически "надклассовом консенсусе" в США, которая в данном случае выдвигается? На наш взгляд, вовсе нет.

На Эссенской конференции 1977 года, где речь шла о позиции "левых" в послевоенной международной политике, один из западногерманских ее участников, У. Борсдорф, высказал мысль, что поддержка лидерами американских профсоюзов внешней политики Трумэна была результатом некой "сделки": в обмен на такую поддержку Трумэн обещал им несколько ограничить практическое применение антипрофсоюзного законодательства, в частности пресловутого закона Тафта–Хартли, как раз тогда принятого конгрессом<sup>35</sup>. Мысль спорная, но в общем нельзя не признать, что ни о каком "участии" профсоюзов в формировании тогдашней американской внешней политики, тем более равноправном, не могло быть и речи; историческая реальность заключалась, очевидно, в том, что призрак "внешней угрозы" помог "пробить" антипрофсоюзную политику<sup>36</sup>, а это дало возможность администрации шантажировать профсоюзы и добиваться от них того, что требовалось. Это, конечно, не оправдывает капитулянтской линии профбоссов, однако следует подчеркнуть, что это была именно капитуляция, а не "участие", они действовали на внешней арене как агенты правительства, а не как представители "политики профсоюзов"; интересы последних никак не могли совпадать с интересами ВПК.

Гораздо точнее круг подлинных архитекторов "жесткого курса", тех, кто был прямо заинтересован в экспансии ВПК и гонке вооружений, очертил американский историк Б. Уайсбергер в работе, вышедшей через шесть лет после книги Д. Ергина и через четыре года после книги В. Лота. Этот круг он определил словом "снабженцы" (the expeditors), имея в виду тех, кто во время войны занимался распределением военных заказов и расчетами по ним. Именно такие люди – названные им Форрестол, Роялл, Макклой, Ловетт, чей менталитет всецело ограничивался миром "списаний, штрафов, премий, неустоек и долларов, долларов в огромных количествах", именно они, как подчеркивает автор, встали после войны у руля американского внешнеполитического истеблишмента<sup>37</sup>. Эта простая и конкретная модель объяснения связи экономики и политики выгодно отличается от концепции "комплекса загородного клуба", согласно которой те или иные негативные черты послевоенной американской практики на международной арене можно объяснить, исходя из триумфа "богатство ведет к злоупотреблениям" и из феномена влияния на политиков их

<sup>35</sup>Der Marshall-Plan und die europäische Linke. S. 201.

<sup>36</sup>Не случайно первое публичное употребление термина "холодная война" в контексте американской политики последовало весной 1947 г. в речи банкира Б. Баруха, направленной против забастовок и "неумеренных требований" рабочих, "подрывающих" – де безопасность страны.

<sup>37</sup>Weisberger B. Cold War, Cold Peace. Boston, 1984. P. 86.

”происхождения” и ”прежних связей” из того делового мира, в котором они вращались до поступления на государственную службу<sup>38</sup>.

Не капиталистическое ”богатство” само по себе породило политику ”холодной войны” (если встать на эту точку зрения, то придется признать, что единственной альтернативой ей была бы социалистическая революция в мировом масштабе), а спекулятивное, возвращенное на темных военных сделках, о котором пишет Б. Уайсбергер, характеризуя ”снабженцев” (ибо, естественно, вся эта упомянутая им система ”штрафов, премий” и т.д. создавала гигантские возможности для обогащения мафиозного типа). И не просто ”прежние связи”, а перманентная и растущая завязанность на интересы военного бизнеса определяла их отношение к внешней политике, когда они стали у ее руля (ибо наивно было бы полагать, что, вкусив от этого пирога, они согласились бы перейти на иную, ”вегетарианскую” диету).

В этом отношении представляется корректной точка зрения Г. Херкена о том, что сама по себе принадлежность к профессиональной группе (положим, ”военных”) вовсе не может считаться решающей для огульного занесения ее представителей в категорию ”ястребов” либо ”голубей”. Видимо, отражает реальность его мнение, что идеи ”ядерной стратегии”, ”первого удара” и т.д. с наибольшим энтузиазмом были восприняты в среде ”молодых” штабистов, в ВВС и ВМС, в то время как со стороны высшего командования сухопутных сил они, по крайней мере на первых порах, встретили гораздо более прохладное отношение. Можно бы лишь добавить, что дело тут было не в ”консерватизме” генералов от инфантерии, а в том, что именно авиации и флоту в случае принятия атомной стратегии пошли бы самые большие ассигнования, соответственно и самые большие заказы получили бы те отрасли промышленности, которые обслуживали авиацию и флот, а нахлынувшее в годы войны пополнение в вашингтонские инстанции, курировавшие авиацию и флот, как раз обеспечивало связь между военными решениями и интересами соответствующего бизнеса<sup>39</sup>.

В то же время вполне корректна и мысль Г. Херкена о том, что было бы упрощением проводить прямую зависимость между деловыми интересами того или иного деятеля администрации и его политической ”линией”. Госсекретарь Бирнс, руководитель американской делегации в Комиссии ООН по атомной энергии Барух и один из сподвижников последнего, Сирлс, – все были партнерами по компании, занимавшейся разработкой урановых месторождений, однако при всем том, что все они крайне интересовались атомными делами, их подход все же был различен: Бирнс, начав ”атомную дипломатию”, быстро охладел к ней, в то время как два других его компаньона если и эволюционировали, то скорее в сторону более ”жесткого курса”. Такое различие в принципе вполне объяснимо: в развитии атомной энергетики имелись альтернативные пути – либо в сто-

<sup>38</sup>Эта концепция была выдвинута в качестве противовеса ”ревизионистской” радикальной критике К. Томпсоном. См.: *Thompson K.W. Cold War Theories*. Baton Rouge, 1981. Vol. 1: *World Polarization, 1943–1953*. P. 8.

<sup>39</sup>*Herken G. Op. cit.* P. 204–205, 209.

рону дальнейшей милитаризации, либо в сторону переориентации на мирный атом. Первый путь вовсе не был предопределен, и колебания Бирнса – косвенное тому подтверждение. Как можно предположить, по этому вопросу не было единства и в кругах атомного бизнеса<sup>40</sup>.

Но именно только предположить. Историки до сих пор не имеют никакой возможности получить хотя бы какое-то представление о том, что происходило на уровне принятия решений руководителями делового мира как в США, так и в других странах Запада, хотя совсем необязательно быть марксистом, чтобы согласиться с той истиной, что этот уровень был никак не менее значим, чем уровень политический или аппаратный. Даже в самых насыщенных фактами трудах западных авторов лишь иногда можно встретить отдельные фрагменты картины взаимодействия между "большим бизнесом" и "большой политикой". Это отрывочная информация о предшествовавших повороту к "жесткому курсу" весьма "жестких" выступлениях представителей финансовой олигархии США на закрытых мероприятиях Совета по международным отношениям (СМО) – "мозгового центра" американского внешнеполитического истеблишмента<sup>41</sup> – или о контактах между ведущими французскими и западногерманскими промышленниками, предшествовавших "повороту" французской политики от "антигерманской" к антисоветской линии<sup>42</sup>.

Помимо всего прочего, "затемненность" этой проблемы объясняется и состоянием источниковой базы, необходимой для ее освещения. Лучше всего о позиции и роли "большого бизнеса" могли бы поведать материалы архивов соответствующих корпораций. Между тем доступ к ним в отличие от государственных и даже личных архивов не регулируется никакими общепринятыми процедурами. В этой обстановке появляются и идеи того рода, что они вовсе и не нужны для исследователей международной политики<sup>43</sup> и что вообще проблемы роли монополий в международных

<sup>40</sup>В этой связи представляется обоснованной критическое отношение Г. Херкена к концепции "атомного империализма", выдвинутой американским прогрессивным исследователем Дж. Алленом в начале 50-х годов. См.: *Herken G. Op. cit.* P. 366.

<sup>41</sup>Факты такого рода приводит исследователь истории СМО Р. Шульзингер (*Schulzinger R. The Wise Men of Foreign Affairs. N.Y., 1984. P. 121*). Его работа в общем показывает, что формально независимая организация, какой был СМО, призванная давать "беспристрастные экспертные" оценки по международным проблемам, на деле просто приспосабливала их к господствующей политической тенденции. Кто определял эту тенденцию и в конечном итоге облик самого СМО, Р. Шульзингер прямо не указывает, за исключением, пожалуй, одного эпизода, относящегося уже к 70-м годам: когда встал вопрос о подыскании нового президента и главного редактора "Форин афферс", все было обговорено и решено не с представителями ученого мира и даже не с практиками-политиками, а с ... Дэвидом Рокфеллером (*Ibid.* P.211).

<sup>42</sup>Об этом очень лаконично упоминает французский историк Р. Пуадевен, причем отнюдь не имея в виду причинно-следственной связи между первым и вторым. См.: *Poidevin R. Die Neuorientierung der französischen Deutschlandpolitik 1948 / 1949 // Kalter Krieg und Deutsche Frage. Göttingen, 1985. S. 129-144.*

<sup>43</sup>«Если когда-нибудь будут открыты архивы "Эксон" или "Шелл", то это не намного обогатит анализ международных отношений», – утверждает английский исследователь роли транснациональных корпораций в мировой политике. См.: *Turner L. Oil Companies in the International System. L., 1978. P. 124.*

делах не существует как таковой<sup>44</sup>. Итак, можно сказать, что наиболее интересное и плодотворное направление развития "оргмодели" – поиск реальных сил и интересов, стоявших за аппаратными процессами и решениями, – оказывается, по существу, блокированным.

Неудивительно в этой связи, что появляются признаки определенного разочарования в эвристической ценности самой "оргмодели" вплоть до резкого ее отрицания<sup>45</sup>. Направление ее критики двоякое. С одной стороны, это возвращение к "подходу Дрю Пирсона": всю политику всецело определяет "лидер" – глава исполнительной власти с его "командой"; с другой – перенесение функции детерминатора политики или ограничителя "свободы действий" политиков с "аппарата" на органы законодательной власти.

Первый вариант весьма ярко представлен в упоминавшейся книге М. Шервина: постулированная им роль Рузвельта как "отца атомной дипломатии" возникла-де как следствие нежелания "делегировать ответственность", как следствие отстранения аппарата от процесса принятия решений<sup>46</sup>. С нашей точки зрения, этот довод противоречит приведенным в книге фактам (часть из которых мы отметили выше): как раз из "аппарата" шли рекомендации о сохранении и даже усилении режима секретности вокруг атомного проекта, которые затем стали основой атомного шантажа, а Рузвельт, если верна наша точка зрения, занимал иную позицию, и если в чем-то его можно упрекнуть, то как раз в том, что он слишком часто и покорно соглашался с "аппаратом".

Второй вариант выражает Р. Дуглас, считая, что послевоенной конфронтации, по крайней мере в наиболее острых формах, можно было бы избежать, если бы отношения американского президента с конгрессом характеризовались такой же "независимостью", какой пользовался английский премьер-министр в отношении палаты общин (будучи лидером партии большинства, последний всегда мог рассчитывать на поддержку парламента, тогда как в США глава исполнительной власти лишен такой автоматической поддержки: большинство законодателей в принципе может представлять оппозиционную партию – как это и было при Трумэне, что якобы и помешало ему договориться с Советским Союзом)<sup>47</sup>.

Специфика этой концепции отнюдь не в том, что она выходит за рамки "оргмодели" (она лишь по-иному определяет "диполь"), и не в том, что она сугубо фаталистична (если вероятность предотвращения "холодной войны" связывается с необходимостью замены американской конституции на английскую, то эту вероятность, конечно, следует признать ничтожной, но подобный фатализм мы видели и в других вариантах данной модели). Специфика ее в подчеркнутой антидемократичности. Ранее рассмотренные концепции, как правило, содержали в себе определенную критику бюрократии, критику, безмерно преувеличивающую ее "суверенность",

<sup>44</sup>Thompson K. W. Op. cit. P. 8.

<sup>45</sup>Резко критикует ее, например, Т. Патерсон (Paterson T. On Every Front. N.Y., 1979. P. 109).

<sup>46</sup>Sherwin M. A World Destroyed. N.Y., 1975. P. 126.

<sup>47</sup>Douglas R. From War to Cold War, 1942-1948. N.Y., 1981. P. 149.

но все же критику. Здесь же фактически поднимается на щит идея власти, независимой от какого-либо контроля, и, напротив, идея такого контроля ("сдержек и противовесов" – наиболее яркой черты американской демократии) объявляется помехой разумной, взвешенной и неконфронтационной политике.

Эта авторитарная "подмодель" покоится, однако, на очень слабом фундаменте. Весьма искусственно противопоставление "американской" и "английской" модели. А. Буллок в своей биографии Э. Бевина убедительно показал, как трудно приходилось руководителю английской внешней политики в борьбе с оппозиционными настроениями и оппозиционерами в собственной партии и даже в лейбористской фракции парламента – во всяком случае, никак не легче, чем Трумэну, – с оппозицией в конгрессе<sup>48</sup>.

Что касается США, то Г. Херкен убедительно опроверг схему "мягкий" президент – "жесткий" конгресс, причем путем анализа группы фактов, обычно приводившихся в обоснование этой схемы. На Лондонской сессии СМВД в сентябре 1945 г. в составе американской делегации находились представители республиканской оппозиции, и сессия зашла в тупик. На Московской конференции в декабре того же года их не было – и было достигнуто соглашение. Узнав об этом, оппозиция устроила скандал, и соглашение оказалось фактически дезавуированным. Казалось, кто же виноват, как не конгресс? Не совсем так, аргументирует Г. Херкен: Трумэн и его "дворцовая гвардия" относились к Московскому соглашению не менее негативно, чем консерваторы из конгресса; позиция последних была *использована* президентом, чтобы торпедировать договоренность с СССР<sup>49</sup>.

Американский историк считает, что умелой тактикой в отношении лидеров оппозиции Бирнс – главный архитектор московских договоренностей – мог бы привлечь их на свою сторону и нанести поражение президенту и его "гвардии". Думается, политиков типа Ванденберга или Даллеса вряд ли можно было переубедить сколь угодно искусной тактикой. Но конгресс в целом, видимо, можно было бы мобилизовать на отпор "жесткому курсу": на нем все же более, чем на вашингтонских бюрократях, сказывались настроения общественности. Впрочем, оценки роли и влияния последней мы рассмотрим ниже. Пока же подведем некоторые итоги нашего анализа "оргмодели".

Если очевидно, что не всякое отрицание "оргмодели" является приближением к истине, то столь же очевидно, что неверной была бы и ее однозначно позитивная оценка. У значительной части ее сторонников

<sup>48</sup>Bullock A. Ernest Bevin: Foreign Secretary 1945–1951. Oxford, 1985. P. 191–3, 222–6. Кстати, А. Буллок сам отдал немалую дань постулатам "оргмодели" в варианте противопоставления политиков (Бевина) и военных (в лице британских оккупационных властей в Германии): последние-де неоднократно "подводили" Лондон – то невыполнением решений по демилитаризации, то преждевременным обнародованием плана создания западногерманского государства. "Неведение" и "обескураженность" Бевина сомнительны, равно как и "своеволие" военных. См.: Bullock A. Op. cit. P. 376, 515.

<sup>49</sup>Herken G. Op. cit. P. 89, 93.

реальная картина политической борьбы вокруг выбора послевоенного внешнеполитического курса в правящих кругах капиталистических стран подменяется картиной борьбы между различными функциональными и профессиональными, но никак не политическими группировками. В результате наблюдается попытка замкнуть проблему ответственности за конфронтационный курс на какой-то части государственной машины или даже на этой машине в целом, но не более того. Политическая ответственность лидеров подменяется служебной ответственностью должностных лиц либо личной ответственностью тех, кто им "доверялся", либо, наконец, все сводится к "сбоям", "техническому браку" в "бюрократическом комплексе".

Однако это лишь одна сторона "оргмодели". Другая состоит в том, что она в определенной, хотя и не всегда адекватной, форме отражает тот несомненный факт, что современное капиталистическое государство представляет собой сложный механизм, отдельные части которого имеют относительную самостоятельность<sup>50</sup>. В той мере, в какой данная "модель" применяется для анализа влияния на различные звенья госаппарата и на него в целом тех "групп давления", которые действуют в политической системе этого капиталистического государства<sup>51</sup>, она может дать определенные полезные результаты. Пример – оценка роли ВПК в формировании комплекса "холодной войны" Д. Ергином и его последователями. Концепция "государства национальной безопасности" в общем преодолела примитивную форму этой "модели", согласно которой разделительная линия между сторонниками и противниками конфронтации совпадала-де с границами между профессиональными или функциональными группами, ведомствами, и ячейками госаппарата, показав, что эта разделительная линия шла внутри каждой из "организационных единиц". В известной мере такая наиболее продвинутая форма "оргмодели" преодолела и упрощенное представление, свойственное радикально "ревизионистской" историографии, согласно которому интересам правящих кругов соответствует исключительно и безальтернативно лишь конфронтационное мышление, идеология военной экспансии и агрессии. Дихотомия "рижских" и "ялтинских" аксиом ярко проиллюстрировала наличие реального выбора различных, даже противоположных политик, для послевоенной Америки, различных путей для мирового развития.

<sup>50</sup> Среди советских политологов имеется точка зрения, согласно которой это государство само пользуется самостоятельностью ("широкой и, по-видимому, возрастающей") по отношению и ко всему обществу, и к господствующему классу (см.: Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств. М., 1981. С. 89, 100). Эта мысль представляется спорной. Во всяком случае, в применении к интересующему нас кругу проблем мы вполне согласны с формулировкой другого труда того же авторского коллектива: "... сам по себе бюрократический аппарат не может ни порождать... конфликт, ни втягивать в него ту или иную страну" (см.: Международные конфликты современности. М., 1983. С. 230).

<sup>51</sup> См. подробнее: Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М., 1985; Процесс формирования... С. 302–401.



Однако и в данной "оптимизированной" форме "оргмодель" все же не оказалась способной дать ответ о реальном соотношении сил, представляющих эти противоположные "аксиомы"; если потенциал "рижан" в целом исследован на ее основе достаточно глубоко, этого никак нельзя сказать об анализе сил "ялтинцев", т.е. тех, кто противостоял линии агенты ВПК. Как уже отмечалось, это связано и со сложным положением с источниками, но не только. Чтобы охватить силы противников конфронтации, очевидно, надо выйти за рамки структурной истории госаппарата, обратиться к более широкому социальному контексту. Между тем можно вполне согласиться с видным представителем "постревизионизма" западногерманским историком Л. Нитхаммером, когда он замечает, что «социально-историческое изучение "холодной войны" находится еще в самой зачаточной фазе»<sup>52</sup>.

### ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА": ТРИ КОНКУРИРУЮЩИЕ ТРАКТОВКИ

Как уже отмечалось, проблема роли общественного мнения в генезисе менталитета и политики "холодной войны", став основой одной из "постревизионистских" моделей, дала весьма широкий разброс решений. Одни историки считают, что общественность играла роль активного фактора, подталкивавшего правительства на курс конфронтации, другие – что она вообще не играла никакой роли в выборе политических решений, была всего лишь пассивным объектом политических манипуляций. Наконец, в некоторых трудах западных историков можно обнаружить и признания за общественным мнением роли активного фактора, *противодействующего* развязыванию конфронтации и, напротив, содействовавшего ее демонтажу (сразу отметим, что такая точка зрения нам ближе всего).

Что касается первого варианта данной модели, то его первым разработчиком, как уже отмечалось, был Дж. Гэддис в своей первой монографии, которая стала "первой ласточкой" нового, "постревизионистского" течения. Этот вариант активно взяли на вооружение приверженцы консервативного, близкого к "ортодоксии" подхода к истории "холодной войны". "Массы простых людей – вот кто первым стал выражать недовольство советскими акциями, и это вызвало поворот в политике Трумэна. Импульс шел не сверху, а снизу", – писал А. Шлезингер<sup>53</sup>. "Мощные струи народных эмоций, а не фактические данные о международной ситуации – вот что определило основные направления американской внешней политики", – вторил ему А. Улам<sup>54</sup>. П. Уорд, посвятившая монографию исследованию причин загадочных колебаний в американском внешнеполитическом курсе на рубеже 1945 и 1946 гг. (вначале супержесткость на Лондонской конференции в сентябре 1945 г., затем готов-

<sup>52</sup>Der Marshall-Plan und die europäische Linke. S. 11.

<sup>53</sup>New York Review of Books. 1979. 25 Oct. P. 17.

<sup>54</sup>Ulam A. Dangerous Relations: The Soviet Union in World Politics, 1970–1982. N.Y., 1983. P. 7.

ность к компромиссу на Московской конференции в декабре, затем вновь "жесткость"), прибегла к традиционной формуле о "конflikте" между Трумэнном и Бирнсом, дав ему, однако, такое оригинальное толкование: любитель заграничных вояжей Бирнс оторвался от "родной почвы", продолжая все еще считать, что американское общественное мнение повернуто в пользу продолжения сотрудничества, зато "домосед" Трумэн правильно оценил произошедшие изменения в нем, и "этот политический фактор повлиял на его решение ужесточить американскую позицию в отношении СССР"<sup>55</sup>.

Заметим, что далеко не всегда приверженцы изложенной точки зрения позитивно оценивают такого рода постулируемое ими влияние общественности на политику (из упомянутых авторов такой безоговорочно позитивной оценки придерживается, пожалуй, только А. Шлезингер), но, как видим, все они едины в том, что влияние это было решающим, причем направлено однозначно в сторону конфронтации.

На чем же основана эта точка зрения?

Данные опросов общественного мнения с осени 1945 г. по весну 1946 г. (еще до "доктрины Трумэна" и даже до речи в Фултоне) показывают падение процента положительных ответов на вопросы о возможности "согласия и сотрудничества" с СССР, рост процента тех, кто считал политику США "недостаточно твердой", весьма высокий процент согласных с теми или иными акциями и планами администрации, которые противоречили духу единства и сотрудничества военного времени. Соответствующие цифровые данные впервые систематизировал и обобщил Дж. Гэддис в монографии 1972 г.<sup>56</sup>, и с тех пор они стали "каноническими", фигурируя неизменно (со ссылками на эту монографию или без оных) у самых разных авторов – П. Уорд (США), В. Лота (ФРГ), А. Каспи и И.-А. Нуайя (Франция)<sup>57</sup> и др.

Эти цифры, очевидно, верны, но только ли они выражают историческую реальность, и оправдывают ли они однозначную интерпретацию в духе того, что "холодная война" выразила "массовые настроения"?

Во-первых, негативные тенденции в результатах опросов отмечались и раньше. По данным доверительных докладов, которые регулярно доставлялись Рузвельту, в июне 1944 г. 56% американцев считали перспективы послевоенного сотрудничества благоприятными, в октябре – 47, в декабре – 44%. Однако после Ялты процент "оптимистов" резко подскочил – до 64%<sup>58</sup>. Что отсюда следует? Если ориентироваться на "песси-

<sup>55</sup>Ward P. *The Threat of Peace*. Kent, 1979. P. 78. Вспомним, что о том же "конflikте Бирнс–Трумэн" писал и Г. Херкен, не упоминая, однако о влиянии общественного мнения.

<sup>56</sup>Caddis J. *The United States and the Origins of the Cold War*. N.Y., 1972. P. 289. Первые они были приведены в опубликованном в разгар "холодной войны" сборнике об общественном мнении в США. См.: *Public Opinion, 1935–1946* / Ed. H. Cantrell, M. Strunk. Princeton, 1951.

<sup>57</sup>Ward P. *Op. cit.* P. 289; Loth W. *Op. cit.* S. 115; *Relations Internationales*, 1986. N. 47. P. 327, 343.

<sup>58</sup>Dallek R. *Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945*. N.Y., 1979. P. 503, 506, 522.

мистическую” тенденцию, то следует признать, что менталитет ”холодной войны” сложился еще в период военного сотрудничества, но это предположение отрицают практически все серьезные историки<sup>59</sup>. Если же брать всю динамику развития общественного мнения, а не какой-то один период, то вывод будет совсем другой: на общественность, конечно, влияла антисоветская пропаганда, усилившаяся к концу войны, но еще активнее и позитивнее она реагировала на шаги администрации в пользу соглашения с СССР.

Во-вторых, как раз в апреле–мае 1945 г., когда произошел поворот в американской политике в отношении СССР, и не наблюдалось никакого соответствующего изменения в позиции общественного мнения. Тезисом о наличии такого изменения Трумэнская администрация снабдила посланного в Москву для переговоров с советским руководством Г. Гопкинса с поручением использовать этот довод для ”давления” на Сталина. Этот довод действительно фигурировал в переговорах<sup>60</sup>, но не оказал особого воздействия. Американский историк Ч. Ми по этому случаю обоснованно указал, что речь шла попросту о блефе<sup>61</sup>. Новые архивные находки (в частности, историка бывшей ГДР К. Дрекслера) подтверждают это мнение<sup>62</sup>.

В-третьих, и в последующий период развитие общественного мнения было не столь ”однолинейным”, как считают те, кто обрывает его анализ на периоде февраля–марта 1946 г., когда американские органы массовой информации обрушили на головы обывателей версии вначале о ”советском шпионаже”, а затем о ”советских танках на пути к Тегерану”. Вскоре эти пропагандистские кампании исчерпали себя, переговоры между союзниками принесли ощутимые плоды: на рубеже 1946 и 1947 гг. были заключены мирные договоры со странами – сателлитами Германии, обнадеживающие перспективы вырисовывались в подготовке мирного урегулирования с Германией, ООН продолжала работу по подготовке документа, который запретил бы использование атомной энергии в военных целях. Общественное мнение реагировало соответственно: согласно результатам закрытого опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой госдепартамента в феврале 1947 г.,

<sup>59</sup> <Не во время войны стал складываться менталитет холодной войны, — пишет А. Улам. — Серьезные сомнения по поводу СССР и его поведения на международной арене выражали и тогда некоторые разумные и знающие люди. Но в публике такой пессимизм обычно ассоциировали с отъявленными реакционерами, ренегатами из бывших коммунистов и неисправимо сентиментальными плакальщиками по проигранным делам, каковым являлось, например, дело с Польшей. Общее настроение в стране все еще выражалось высказыванием У. Липмана: ”Никогда не имелось более благоприятных перспектив для дела мира”>. См.: *Ulam A. Forty Years of Troubled Co-Existence// Foreign Affairs. Fall 1985. Vol. 64, N 1. P. 12.*

<sup>60</sup> См.: Советско-американские отношения... 1941–1945 гг. Т. 2. С. 398–399.

<sup>61</sup> *Mee Ch. Meeting at Potsdam. N.Y., 1975. P. 61.*

<sup>62</sup> 26 мая президенту были доложены результаты очередного опроса. На вопрос, ”считаете ли вы, что мы должны после войны сотрудничать с Россией”, 72% ответили ”да”, только 13% — ”нет”. См.: *Drechsler K. Op. cit. S. 119–120.*

более 70% американцев были против "жесткой политики" в отношении СССР. Д. Ергин, впервые обнародовавший данные этого опроса, делает обоснованный вывод, что о повороте в общественном мнении, о создании "антикоммунистического консенсуса" можно говорить лишь в применении к периоду после "берлинского кризиса" 1948–1949 гг.<sup>63</sup> Другими словами, не настроения общественности создали "холодную войну", а, наоборот, "холодная война" изменила настроения общественности.

Как видим, "каноническая" статистика, обобщенная в монографии Дж. Гэддиса, оказалась существенно поколебленной не менее аутентичной статистикой. В результате поколебленной оказалась и каноничность его концепции. Как отмечалось в ходе большой дискуссии среди американских историков-международников, имевшей место в начале 80-годов, "Джон Гэддис написал, конечно, солидную книгу и получил за нее престижную премию, однако новейшие разработки продемонстрировали, что скорее тот, кто делал политику, тот и влиял на общественное мнение, чем наоборот"<sup>64</sup>.

Кто были авторы упомянутых "новейших разработок"? Это Д. Ергин, который не только обнаружил приведенные выше данные секретного опроса 1947 г., но и привел массу фактов явных манипуляций общественным мнением со стороны приверженцев конфронтационного курса<sup>65</sup>. Это исследователь американского общественного мнения Р. Левринг, зафиксировавший наличие искажений в американской прессе (в том числе и "серьезной") и в учебниках при освещении фактов, относящихся к "противнику" в "холодной войне", а также отнюдь не спонтанный характер процесса формирования негативных стереотипов в массовом сознании: "В годы Трумэна, Эйзенхауэра и Кеннеди исполнительная власть имела необычайно большое влияние на мнение публики о международных делах... [Ее] колебания в разные стороны в том, что касалось ее мнения о России, были скорее результатом известных изменений в официальной политике по отношению к России, чем изменений в самой России или русских внешнеполитических целях"<sup>66</sup>. Это Т. Патерсон с его категоричным выводом: «Как общественное мнение, так и конгресс США оказались податливыми, склонными к отступлению, послушными в том, что касалось формирования американской политики "холодной войны"»<sup>67</sup>.

<sup>63</sup> *Yergin D.* Op. cit. P. 283, 390.

<sup>64</sup> *Diplomatic History.* 1981. Vol. 5, N 4. P. 368.

<sup>65</sup> Вполне четки его обобщающие оценки: "Идеологическая переориентация шла сверху... послевоенный антикоммунистический консенсус сложился вначале в центре, в политической элите, и лишь потом распространился на нацию" (*Yergin D.* Op. cit. P. 164, 171) Мы знали Д. Ергина как представителя "организационной модели" в "постревизионизме", но, как видим, он не замыкается в ней. Это характерно и для других представителей "оргмодели", хотя многие из них скорее склонны принять постулат о "спонтанном" развитии американского общественного мнения в сторону "жесткости". Ср.: *Gimbel J.* The Origins of the Marshall Plan. P. 140; *Weil M.* Op. cit. P. 225–226.

<sup>66</sup> *Levering R.* The Public and American Foreign Policy. N.Y., 1979. P. 93, 151.

<sup>67</sup> *Paterson T.* On Every Front. P. 137.

тивная альтернатива ему свелась, по существу, к возвращению к "догэддисовским" вариантам: трактовке общественного мнения в виде некоей аморфной "текучей" субстанции, принимающей любую форму, которую ей произвольно навязывают "верхи"<sup>68</sup>, либо даже в виде среды, особособлагодприятной для внедрения именно конфронтационистских идей иособо расположенной к их восприятию<sup>69</sup>.

Еще сравнительно гибкую позицию занимает Д. Ергин. Общественное мнение для него — это "спутанный клубок" из различных, порой даже противоположных, установок. Однако он однозначно дает понять, что ткань конфронтации выткать из этого клубка было все же легче, чем ткань сотрудничества: "ялтинские аксиомы" — это была-де слишком сложная вещь для понимания простых обывателей, а вот идеи враждебности, национальной ограниченности, "победы" — это для них проще, а потому понятнее и ближе<sup>70</sup>. Р. Леверинг вообще ограничивает круг политических установок среднего американца двумя компонентами: верой в "миссию руководить миром" и "страхом перед Россией и коммунизмом" — и считает, что американцы в массе своей готовы были поддержать "любую политику", которая содержала бы в себе оба компонента<sup>71</sup>. Таким образом, получается, что манипулировать общественным мнением либо не было особой нужды (что противоречит его собственным, хотя и более "замаскированным", чем у Д. Ергина, признаниям), либо это была задача, не представлявшая особой трудности. Наконец, Т. Патерсон, во всяком случае если судить по приведенной цитате, вообще переносит огонь критики с "верхов" на "низы". И хотя в более широком контексте труды всех этих авторов, их фактическое содержание бьют как раз по тем, кто манипулировал общественным мнением, изображение ими масс как только объекта манипуляций, причем легкого объекта для манипуляций любого рода, — такое изображение оказывается чреватым явными издержками.

Несомненно, что в условиях демократического (при всей ограниченности этого понятия) строя, при определенном уровне свобод, которыми пользовалось население (хотя степень их реализации нельзя преувеличивать), элита, конечно же, не могла делать все, что ей заблагорассудится, и степень влияния на массы внушаемых установок также имела свои

<sup>68</sup> "Текучесть американского общественного мнения, в значительной степени результат апатии и недостатка экспертной оценки, давала Трумэну карт-бланш в делах с русскими", — отмечалось в исследовании, посвященном внутренним факторам формирования внешней политики США, вышедшем еще в конце 60-х годов. См.: *Berkovitz M., Bock P., Vucillo V. The Politics of American Foreign Policy*. N.Y., 1967. P. 24.

<sup>69</sup> Весьма суровый приговор в адрес среднего американца за его взгляды по вопросам внешней политики в первые послевоенные годы вынес Л. Уитнер в работе о движении за мир в США, первое издание которой вышло в 1969 г. См.: *Witner L. Rebels against War: The American Peace Movement, 1933–1983*. Philadelphia, 1984 (1st ed. 1969).

<sup>70</sup> *Yergin D.* Op. cit. P. 139, 171

<sup>71</sup> *Levering R.* The Public... P. 95.

пределы, не говоря уж о том, что сама элита вовсе не представляла собой некоей единой, монолитной силы. В этом смысле правомерна та критика, которую один из рецензентов Д. Ергина обращал против исповедуемого последним "элитистского подхода" к истории<sup>72</sup>. Правомерно и замечание другого рецензента Т. Патерсона: "Конгресс и общественность налагали определенные ограничения [на администрацию] и перечеркнули многие из [разработанных ею] вариантов... Американская политическая система сложнее, чем представляет это себе Патерсон"<sup>73</sup>.

Оба рецензента использовали эту критику для того, чтобы посеять сомнения в правомерности основных тезисов работ и Ергина, и Патерсона, разоблачающих курс администрации Трумэна на "холодную войну". Оба они сделали тот вывод, что, если не корректна проблема "общественность и политика" у Ергина и Патерсона, значит корректна трактовка "по Гэддису": "...холодная война была результатом разочарования общественности коварной тактикой русских"<sup>74</sup>. Но этот вывод не учитывает наличие третьего варианта решения этой проблемы: общественность играла активную роль в противодействии курсу на "холодную войну", она именно в этом отношении "налагала определенные ограничения и перечеркнула многие из вариантов" и тем самым стала решающим фактором, который все же спас человечество от пожара, куда его толкали и авантюризм Вашингтона, и сталинизм со всеми его специфическими чертами.

Из крупных американских историков, занимающихся периодом "холодной войны", наиболее последовательно этот вариант в трактовке влияния общественного мнения проводит С. Эмброуз. Вот как он излагает почти паническую ситуацию среди идеологов конфронтации, когда выяснилось, что фултонская речь Черчилля не оправдала связанных с нею надежд в плане мобилизации американцев на "борьбу с коммунистической угрозой"<sup>75</sup>: Форрестол, представитель "ультра", предложил Трумэну собрать руководителей крупнейших информационных агентств и ведущих газет с целью "указать им на серьезность положения и на необходимость принятия мер, дабы страна осознала свои обязанности по отношению к миру". Иначе говоря, речь шла о том, чтобы устроить

<sup>72</sup>American Historical Review, 1978. Febr. Vol. 83, N 1. P. 297.

<sup>73</sup>Slavic Review. 1981. Vol. 40, N 1. P. 120.

<sup>74</sup>American Historical Review. 1978. Febr. Vol. 83, N 1. P. 297.

<sup>75</sup>Три четверти американцев выступили против черчиллевской идеи "англо-американского блока" (Anderson T. Op. cit. P. 117). "Тезисы Черчилля в широких кругах были восприняты как призыв помочь спасти рушившуюся британскую империю" (Weisberger B. Op. cit. P. 55). В этих условиях Трумэн и Бирнс сочли за благо, по сути, отмежеваться от Черчилля, или, как это формулирует западногерманский историк В. Лот, "публично не идентифицировать себя с содержанием речи". Однако, думается, он не прав, объясняя их осторожную позицию тем, что их "испугала резкая реакция Сталина на речь Черчилля". Их "отмежевание" последовало еще до интервью Сталина, а последнее, как уже упоминалось, скорее ослабило негативный эффект Фултона на мировую общественность. В. Лот вновь в данном случае делает незаслуженный комплимент "великому вождю". См.: Loth W. Op. cit. S. 124.

”накачку” журналистам и организовать пропагандистскую кампанию еще более широкую, чем уже шедшая полным ходом кампания относительно ”советского шпионажа” и ”советской агрессии против Ирана”, а главное, уже прямо направленную на форсирование милитаризации страны, ибо именно такая милитаризация рассматривалась как предпосылка исполнения Америкой ”обязанностей перед миром”. Предложение было отвергнуто. Почему? Вовсе не потому, что Трумэн был *в принципе* против; просто он ”был в достаточной степени политиком, чтобы понять: общественность не поддержит повышения налогов ради создания более крупного и действенного военного истеблишмента”. Прошел год, но, как констатирует С. Эмброуз, положение не изменилось: ”Финансы контролировал республиканский конгресс, а он не усматривал, равно как и *большинство американского народа*, никакой необходимости тратиться на экстравагантные планы усиления военного истеблишмента”<sup>76</sup>. Вероятно, методологически точнее было бы поставить выделенные нами слова на первое место, а затем уже – те, где речь идет о позиции конгресса, ибо не он оказывал влияние на публику, а наоборот. Но это уже детали.

С. Эмброуз порой получает характеристику ”ревизиониста”, что, по нашему мнению, неверно, но для баланса приведем еще мнение историка, которого трудно заподозрить в ”ревизионизме”. А. Улам задает риторический вопрос, подразумевающая само собой разумеющийся негативный ответ: ”Можно ли было найти в 1945–1946 годах в Америке хоть одного человека, кто одобрил бы хоть что-то отдаленно похожее на призыв к войне – настоящей войне, в которой стреляют?”<sup>77</sup> Сомнительно, что таких людей не было вообще, но в применении к массе американцев это безусловно верно. А. Улам явно недоволен антимилитаристским настроением американского народа. О вкусах не спорят. Важнее в данном случае то, что авторы, придерживающиеся весьма различных позиций, приходят к одинаковому выводу. К тому же выводу приходит и У. Шнейдер – сотрудник Американского предпринимательского института, питомника идей неоконсерватизма: «В 1945 г. большинство американцев считали, что русским можно доверять в послевоенном сотрудничестве. Трумэнская администрация, внутренне [?] напуганная советской агрессивностью, чувствовала, что она должна соблюдать осторожность в своих публичных высказываниях. Президент Трумэн и его советники не были убеждены, что общественность (или конгресс) поддержит политику глобальной конфронтации с Советским Союзом. Поворотный пункт настал с началом войны в Корее... Есть свидетельства того, что американские лидеры намеренно преувеличивали характер советской угрозы с целью сохранения поддержки общественности... Имея в виду исторически сформировавшееся сопротивление американцев мировому лидерству, тогдашние руководители чувствовали, что ”холодную войну” придется ”продавать” американцам»<sup>78</sup>.

Не со всем здесь можно согласиться :”напуганность” американских

<sup>76</sup> Ambrose S. Rise to Globalism. N.Y., 1976. P. 139, 141. Выделено нами. – А. Ф.

<sup>77</sup> Ulam A. Forty Years of Troubled Co-Existence. P. 18.

<sup>78</sup> The Public and the Atlantic Defense / Eds. G. Flynn, H. Rattinger. N.Y., 1985. P. 359–360.

лидеров в отношении советской угрозы, очевидно, намного уступала их боязни собственного народа; она не помешала им спокойно подготовить и организовать "торговлю" идеями конфронтации; Корея была скорее завершающим, а не поворотным пунктом на пути к "политике глобальной конфронтации". Но в целом картина яркая и впечатляющая: эта политика, политика "холодной войны", не только противоречила интересам народа, но и готовилась втайне от него, против его воли.

Остается, конечно, еще важный вопрос об *эффективности* народного сопротивления курсу "холодной войны", о том, насколько *сильным* препятствием было общественное мнение для архитекторов конфронтации. Прямых ответов на это западные историки не дают, но есть косвенные. Мы останавливались выше на вопросе об "атомной дипломатии" и констатировали растущее признание того факта, что ее применение лимитировалось размерами атомного потенциала, реально имевшегося у США. Но чем лимитировались сами эти размеры? Почему в послевоенные годы темпы его развития были сравнительно скромными? *Технические* возможности для их ускорения, очевидно, имелись: согласно данным, приводимым в фундаментальном труде военных историков ФРГ, производственные мощности американской атомной промышленности в 1945 г. обеспечивали выпуск 36 атомных бомб ежегодно и могли легко быть доведены до уровня 50 бомб в год<sup>79</sup>. Таким образом, уже к концу 1948 г. американские военные могли иметь в своем распоряжении свыше 150 бомб и приблизились бы к заветным цифрам, обеспечивающим им "выполнение плана" – известного плана первого ядерного удара! На деле же они, напомним, имели в три раза меньше. "Возможности были упущены", – констатируют по этому поводу историки из бундесвера. Однако "упущенная возможность" по логике военных – это реализованная возможность по логике противников военного решения вопросов мира. Очевидно, что в условиях, когда не существовало не только военного паритета между СССР и западными странами, но и вообще не имелось даже зачатков того ракетно-ядерного щита, который со временем стал основой безопасности Советского Союза и его друзей, роль такого щита выполнила американская общественность.

"Холодную войну" удалось *оттянуть*, а потому удалось *предотвратить* войну "горячую". Было выиграно время для создания потенциала ядерного контрудара. Но почему все-таки не удалось "холодную войну" *предотвратить*, а тем самым вообще снять проблему создания и поддержания паритета, его уровня и подуровней – всего того, над чем еще и до сих пор корпят дипломаты и военные? Почему все-таки атака на общественность, на ее здравый смысл не сразу, а постепенно, путем не штурма, а "осады", но все же завершилась тем, что Д. Ергин называл победой "антикоммунистического консенсуса"? Мы уже видели его собственный ответ на этот вопрос: "рижские аксиомы" были изначально и фатально сильнее "ялтинских"; последние держались, по сути, исключительно

<sup>79</sup>Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik. München, 1982. S. 192. Г. Херкен приводит меньшие показатели технических возможностей производства атомных бомб в США: две в месяц (т.е. 24 в год) или даже всего пять в год. См.: *Herken G. Op. cit.* P. 197, 373.



на личной дипломатии Рузвельта; ушел он – и "холодная война" стала неизбежной. Так ли это?

Д. Ергин не обосновал ключевой для его выводов тезис о том, что американская общественность никак не была способна постичь тонкости "ялтинских аксиом", зато была вполне готова принять противоположные им "рижские аксиомы". Вообще говоря, он имел право этого не делать. Такое обоснование, вернее, попытку такого обоснования представил еще в конце 60-х годов американский историк Л. Уитнер, разумеется не употребляя формулировку о "ялтинских и рижских аксиомах". Решительный противник войны во Вьетнаме, он написал тогда книгу, отразившую глубокую боль настоящего патриота за свой народ, позволивший втянуть себя в эту авантюру. Эти, сами по себе вполне понятные эмоции, видимо, сказались и на его исторических оценках, относящихся, в частности, к периоду кануна "холодной войны". Степень проникновения "имперских комплексов" в менталитет среднего американца, как представляется, была им преувеличена; приведенный им обширный материал опросов общественного мнения (он, кстати, занялся его сбором и анализом еще до Гэддиса) порой он оказывается в противоречии с его чрезмерно "жесткой" интерпретацией. Приведем лишь несколько примеров.

Л. Уитнер вполне корректно отмечает, что вторая мировая война отнюдь не воспринималась большинством его соотечественников как источник бедствий и лишений, скорее наоборот: в августе 1943 г. 69% опрошенных заявили, что война не потребовала от них никаких жертв, к январю 1945 г. эта цифра сократилась всего на 5%, в сентябре 1946 г., уже имея возможность "подвести итог", только 36% ответили, что война принесла с собой ухудшение их повседневной жизни. Однако тогда же, в 1946 г., 63% ответили, что война не решила ни одной из проблем довоенного периода, а 77% – что она добавила новые<sup>80</sup>.

Этим фактам, свидетельствующим об антимилитаризме общественности в США, как будто достаточно очевидном, Л. Уитнер противопоставляет тот факт, что вторая мировая война в отличие от первой не вызвала массовых настроений в духе "Прощай, оружие!"; американцы в большинстве своем выступали не только за сохранение армии, но и за военное присутствие за рубежом<sup>81</sup>. Но можно ли это истолковать однозначно как признак отравленности нации милитаризмом, идеологией "пакс американа"?

Ведь война против германского фашизма и японского милитаризма была войной справедливой, гарантия неповторения агрессии с их стороны виделась тогда в продолжении союзнического сотрудничества, в том числе и военного, и размещение военных контингентов великих держав (не только США!) в различных точках земного шара рассматривалось именно в этом контексте. Рузвельт еще в 1942 г. говорил о "четырёх полицейских", Сталин в 1943 г. – о создании союзниками "стратегических пунктов" в Европе и Азии для выполнения, по существу, тех же

<sup>80</sup>Wittner L. *Rebels against War*. P. 114, 120–121.

<sup>81</sup>Ibid. P. 123.

"полицейских" функций (Рузвельт выразил полное согласие), на конференции в Думбартон-Оксе в 1944 г. обсуждался вопрос о формировании и дислокации "международного военно-воздушного корпуса" для поддержания безопасности в послевоенном мире<sup>82</sup>. В некоторых конкретных формулировках этих идей выражались имперские подходы, но сами по себе идеи эти были вполне здравыми: ныне они воплотились в миротворческой деятельности сил ООН в зонах военных конфликтов.

Можно разделить ту горечь, с которой Л. Уитнер сообщает о факте, что 85% американцев в ходе опроса общественного мнения одобрили применение атомной бомбы против Японии. Но сам же он пишет, что после того, как в августе 1946 г. известный писатель Дж. Херси опубликовал репортаж о Хиросиме, поведав о страшных фактах гибели и мучений мирных японских граждан в результате атомной бомбардировки, после того, как этот репортаж был широко распространен средствами массовой информации, позиция американской общественности в этом отношении резко изменилось<sup>83</sup>. Очевидно, дело было не в каких-то изначально "плохих" характеристиках американского общественного мнения, а просто в его неинформированности (или односторонней информированности), ответственность за что следует возлагать вовсе не на него.

Конечно, и восприимчивость к информации или дезинформации была у американцев иной, чем, например, у народов Европы, непосредственно испытавших и ощущавших угрозу фашизма и эффективность его военной машины. Этим, видимо, объясняется то, что подавляющее большинство респондентов в США было уверено, что именно их страна внесла главный вклад в победу над фашизмом, в то время как, положим, большинство англичан в соответствии с истиной ставили на первое место военные усилия Советского Союза. Л. Уитнер справедливо обращает внимание на этот феномен<sup>84</sup>. Однако нет никаких оснований считать, что разные оценки вклада в победу сами по себе могли привести к ксенофобии или антисоветизму. В конце концов, проблема "дележа лавров победы" гораздо острее стояла между США и Великобританией, однако их это не привело к конфронтации<sup>85</sup>.

Таким образом, даже при самом критическом (в случае с Л. Уитне-

<sup>82</sup> См.: Советско-американские отношения... 1941—1945. М., 1984. Т. 1. С. 176—177; Рошин А.А. Послевоенное урегулирование в Европе. М., 1984. С. 42; Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе, 21 августа — 28 сентября 1944 г. М., 1978. С. 132—134, 139, 167—168.

<sup>83</sup> Wittner L. Rebels against War. P. 128—129, 130—131.

<sup>84</sup> Ibid. P. 103.

<sup>85</sup> А. Буллок приводит в этой связи любопытный эпизод, относящийся к периоду работы Московской конференции трех держав в декабре 1945 г.: Сталин пригласил участников на просмотр советского фильма о войне с Японией. Американский госсекретарь Бирнс обиделся, что американцы в фильме были представлены "на втором плане" (Буллок считает, кстати, что с советской стороны это было выражением "подлинно патриотического стиля"). Зато Бевина, по его словам, это "позабавило": "Знаете, Джимми, — сказал он Бирнсу, когда они шли к машине, — это напомнило мне ваш американский фильм о войне в Бирме: там воет только Эррол Флиш и армия США, а англичан как будто и нет" (Bullock A. Op. cit. P. 211).

ром – самокритическом) анализе феномена американского общественного мнения трудно усмотреть в нем преобладание элементов, соответствовавших политике и идеологии “холодной войны”. Интересно, что как раз те, кто тогда эту идеологию и политику олицетворял, именно они рассматривали настроения простых американцев как главное препятствие для воплощения в жизнь своих установок. “Американцы в массе своей потеряли всякий интерес к мировому лидерству и не хотят ничего, кроме как ходить в кино и распивать кока-колу”, – к такому неутешительному выводу пришел вернувшийся в США посол в СССР А. Гарриман (оценка относится к весне 1946 г.)<sup>86</sup>.

Вообще говоря, для новейших трудов западных историков характерно перенесение акцента с тезиса о “предрасположенности” общественного мнения к политике конфронтации на анализ тех пропагандистских ухищрений, которые использовались для нейтрализации протеста общественности против этой политики. Такое изменение акцента присутствует, в частности, в монографии того же Л. Уитнера, вышедшей через 13 лет после его работы об американском пацифизме и посвященной истории американской интервенции в Греции. Здесь автор приводит “неканонические” результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие о неприятии массой американцев логики “жесткого курса” – и те, что, как мы видели, ввел в научный оборот Д. Ергин, и те, которые обнаружил он сам<sup>87</sup>. Перед читателем предстает картина тщательно спланированной и организованной обработки различных слоев американского населения с целью “продать” им “доктрину Трумэна”. Однако, как и в первой своей книге, Л. Уитнер не избежал, по нашему мнению, известной односторонности: там он слишком большой упор сделал на слабостях и издержках в позициях и реакциях простых американцев, здесь – на силе и эффективности пропагандистской машины Вашингтона<sup>88</sup>. Она предстает настолько безупречно функционирующей, что сама идея успешного сопротивления ей представляется немислимой.

Между тем на самом деле было не совсем так. Пропагандистам “холодной войны” далеко не все и не всегда удавалось, бывали у них и грубые просчеты, и почти провалы. В этом смысле более сбалансированную картину феномена манипулятивного воздействия на общественность дает, на наш взгляд, Г. Херкен. Его книга является лучшим, что есть по истории не только атомной политики и дипломатии (что мы уже отмечали), но и “атомной пропаганды”. В ней ярко высвечено, какими

---

<sup>86</sup> Yergin D. Op. cit. P. 172.

<sup>87</sup> Когда в сентябре 1946 г. Трумэн уволил последнего рузвельтовца в кабинете Г. Уоллеса за то, что тот выступил против антисоветской линии администрации, 78% опрошенных поддержали позицию Г. Уоллеса (Wittner L. American Intervention in Greece, 1943–1949. N. Y., 1982. P. 341).

<sup>88</sup> Пример дифференцированной пропаганды: состоятельным людям внушалось, что эта доктрина направлена “против русской агрессии и распространения коммунизма”, в то время как для более бедных шел тот аргумент, что речь идет о “помощи народу в беде”. Анализ опросов демонстрирует, что этот дифференцированный подход приносил плоды (Ibid. P. 349).

чудовищными возможностями для "промывки мозгов" американской общественности располагала американская военщина в виде монополии на информацию об атомных делах, мифа об "атомном секрете" и жупела в виде "советского шпионажа". Но там же приведены и поучительные примеры того, как порой манипуляторы сами попадали в собственные ловушки<sup>89</sup>

Почему, однако, эти отдельные провалы не привели к полному краху политики и пропаганды "холодной войны", почему оппозиция ей, вначале весьма широкая и активная, как-то в конечном счете почти незаметно "рассосалась"? К сожалению, пожалуй, ни в одной работе западного историка мы не найдем ни постановки вопроса в такой форме, ни соответственно ответа на него. Но материалы для такого ответа, вернее, ответов найти можно, причем порой также и у тех авторов, которые не скрывают своей симпатии к "холодной войне" и антипатии к ее противникам.

Прежде всего речь идет о нечеткости, противоречивости платформы либеральной оппозиции, о порой весьма опасных заблуждениях некоторых ее представителей. Возьмем самый известный пример такой оппозиции — движение ученых-атомщиков против "военного атома", начавшееся еще осенью 1945 г. О нем написано очень много. Широкий круг историков — от леворадикальных до "центристов" — дают однозначно самые высокие оценки его и целям, и позициям, и результатам. Л. Уитнер квалифицировал его как "крестовый поход", причем завершившийся победой, что в общем контрастирует с обычным для него скепсисом в отношении потенций общественности как силы, альтернативной идеологии насилия<sup>90</sup>. В новейшем труде об общественном движении в США мы видим не менее четкую оценку: "С октября 1945 г. и до конца 1946 г. [американские] ученые-атомщики и их коллеги за рубежом были участниками политической кампании, беспрецедентной в истории американской науки". Она принесла "значительный эффект"<sup>91</sup>.

Но вот какое высказывание бесспорного лидера этого движения физика Сцилларда привел правоконсервативный историк Х. Томас: "Если мы уверены, что третья мировая война будет (а шансы избежать ее — только 10%), то, чем позже она наступит, тем хуже"<sup>92</sup>. Значит, чем рань-

<sup>89</sup> Когда первая "весенняя" (1946 г.) кампания шпиономании стала выдыхаться, ее решили поддержать таким образом: ФБР получило информацию от редакции одной из газет, что некие лица обратились с предложением купить у них фотографии атомной бомбы — тогда строго секретные. Тут же была организована "утечка информации": вот, мол, к чему ведет даже дискуссия об ограничении военного контроля над атомным проектом. Конфуз был в том, что торговцы фотографиями оказались... военными из охраны атомных объектов. Организатор кампании генерал Гровс скомпрометировал сам себя. Ср.: *Herken G.* Op. cit. P. 381.

<sup>90</sup> *Wittner L.* *Rebels against War.* P. 147. См также: *Grodzins M., Rabinovitsch E.* *The Atomic Age: Scientists in National and World Affairs.* N.Y., 1963. P. V; *Smith A.* *A Peril and a Hope: The Scientists' Movement in America, 1945–1947.* Chicago, 1965. P. 87.

<sup>91</sup> *Wooley W.* *Alternative to Anarchy: American Supranationalists Since World War II.* Bloomington, 1988. P. 9, 11.

<sup>92</sup> *Thomas H.* *Armed Truce: The Beginnings of the Cold War, 1945–1946.* L., 1986. P. 446.

ше, тем лучше?! Понятно, что Х. Томас привел эту цитату для того, чтобы скомпрометировать Сцилларда и вообще ученых и их вмешательство в политику, представить их в виде "флюгеров", которые одинаково легко могут сменить лозунг одностороннего разоружения на лозунг "превентивной войны", и наоборот. Конечно, это высказывание нетипично для Сцилларда. Но оно было и отражало определенную сумятицу в умах даже очень выдающихся людей той эпохи. Эта сумятица не могла не иметь своих негативных последствий. Многие со временем ее преодолевали, а многие оказывались совсем в другом лагере. Показательный пример: один из лидеров "движения мировых федералистов", К. Мейер, закончил свою карьеру на посту руководителя одной из резидентур ЦРУ. Разумеется, это отнюдь не значит, что идея "мирового правительства", "федерирования мира" была выдумкой спецслужб мирового империализма (нечто подобное утверждалось, правда, в советской печати конца 40-х годов). Видимо, однако, эта идея не была достаточно подходящей, чтобы объединить силы противников насилия в международных делах. Потому, безусловно одобряя цели и идеалы движения тех же физиков, следует, очевидно, дифференцированно и осторожно подходить к оценке их конкретных позиций и программных установок, видеть в них и позитив, и определенный негатив, который довольно искусно используют люди типа Х. Томаса.

Осторожно следует подходить и к понятию "успеха" и "эффективности", когда речь идет о результатах деятельности того же "крестового похода" физиков-атомщиков в 1945–1946 гг. "Выигранной битвой" Л. Уитнер считает принятие конгрессом США законопроекта о контроле над атомной энергией в редакции Мак-Магона и отклонение законопроекта Мея–Джонсона, пользовавшегося, как полагает Уитнер, поддержкой правительства и военных кругов<sup>93</sup>. Но более глубокий анализ, проведенный Г. Херкеном, свидетельствует о другом: администрация на деле не поддерживала законопроект Мея–Джонсона именно потому, что общественность ассоциировала его с "военным лобби"; она избрала путь поддержки конкурирующего законопроекта, "нагрузив" его, однако, положениями из первого в виде "поправок" в таком количестве, что принятый в конечном счете конгрессом документ "гарантировал большее участие военных в контроле над атомными делами. – А.Ф.), чем даже законопроект Мея–Джонсона"; в результате "основная цель тех, кто поддерживал Мея и Джонсона, была достигнута"<sup>94</sup>. Кто же, спрашивается, победил?

Данный эпизод хорошо показывает кардинальный порок тактики либеральной оппозиции по отношению к "верхам": они руководствовались принципом выбора "наименьшего зла", а в результате получали просто зло. Этот принцип привел оппозицию в массе своей к поддержке "центриста" Трумэна против правого Дьюи на выборах 1948 г. при отказе поддержать слишком радикального Г. Уоллеса, т. е. к фактической поддержке политики "холодной войны".

<sup>93</sup> Wittner L. *Rebels Against War*. P. 148; Wooley W. *Op. cit.* P. 11.

<sup>94</sup> Herken G. *Op. cit.* P. 147–148.

Наконец, что касается тактики либеральной оппозиции в отношении широкой общественности, если можно, конечно, считать тактикой позицию отстраненности, самоизоляции, замыкания в своего рода "башне из слоновой кости". Работы западных историков содержат многочисленные подтверждения наличия такой малопродуктивной "тактики". К примеру, тот же Г. Херкен обнаружил в архиве У. Липпмана материалы, содержащие очень серьезный критический разбор "плана Баруха" – плана сохранения американской атомной монополии, хитроумно замаскированного под план "международного контроля" над атомной энергетикой. Но ведь этот разбор У. Липпман не предал в свое время гласности, он его сделал "для себя", а общественность осталась в плену официальной пропаганды!<sup>95</sup>

Другой интересный эпизод, приведенный биографом небезызвестного рыцаря "холодной войны" Дж.Ф. Даллеса канадско-американским историком Р. Прюссеном: оказывается, публично воюя с либералами – тем же У. Липпманом и Дж. Уорбергом, Даллес в то же время писал им почти заискивающие личные послания, где отмежевывался от собственных высказываний о "советской угрозе", признавая, что они носят "чрезмерно алармистский характер"<sup>96</sup>. Его корреспондентам таких признаний, судя по всему, оказалось вполне достаточно: личную интеллектуальную дуэль они выиграли, а та перспектива, что в отсутствие гласной критики даллесовский алармизм может завоевать массы (что в конечном счете и произошло), их, видимо, не столь беспокоила!

Наконец, в последнее время в работах западных авторов предстает во всей своей мрачной мощи тот фактор формирования "общественной атмосферы", который был связан с репрессиями, преследованиями, слежкой, ставшими знаменем времени в послевоенной Америке (собственно, все началось уже тогда, когда война еще не кончилась: полицейский налет на редакцию журнала "Амерэйша", с которого обычно датируют начало "охоты за ведьмами" в США, был совершен в июне 1945 г.)<sup>97</sup>. "Великий страх", "Американская инквизиция" – таковы названия лишь некоторых книг по этой тематике<sup>98</sup>. Анализ их, разумеется, далеко превысил бы рамки данной монографии. Ограничимся лишь одним примером того, как новые материалы из архивов спецслужб заставляют менять сложившиеся штампы и оценки более ранних исторических трудов.

Известно, что выдающийся американский физик Р. Оппенгеймер подвергался слежке в конце 30-х – начале 40-х годов, а в начале 50-х – прямым преследованиям. Однако в промежутке его деятельность обычно

---

<sup>95</sup> *Ibid.* P. 174.

<sup>96</sup> *Pruessen R. John Foster Dulles: The Road to Power. N.Y., 1982. P. 295–296.*

<sup>97</sup> *Aronsen L., Kitchen M. The Origins of the Cold War in Comparative Perspective. L., 1988. P. 41.*

<sup>98</sup> *Caute D. The Great Fear: the Anticommunist Purge under Truman and Eisenhower. N.Y., 1978; Kutler S. The American Inquisition: Justice and Injustice in the Cold War N.Y., 1982; Donner F. The Age of Surveillance: The Aims and Methods of America's Political Intelligence System. N.Y., 1980.*

трактовалась как деятельность верного слуги администрации, противника того "крестового похода" физиков, о котором шла речь выше (в такой ипостаси он фигурирует и в книге Л. Уитнера). Записи его телефонных разговоров, прослушивавшиеся ФБР и оказавшиеся (разумеется, далеко не полностью) в распоряжении Г. Херкена, позволяют усомниться в такой трактовке его тогдашней позиции. Видимо, ему можно адресовать только тот упрек, что и У. Липпману и его единомышленникам: он пренебрег возможностью (и долгом!) обратиться со своими мыслями к широкой общественности, предпочел оставить их достоянием узкого круга знакомых (хотя, как теперь выяснилось, ФБР все равно об этом узнало)<sup>99</sup>.

Рассматривая весь комплекс причин, обусловивших сползание общественного мнения к конфронтационному мышлению, следует, очевидно, поставить на первое место именно фактор слабости и непоследовательности, нерешительности и колебаний либеральной оппозиции, отнюдь не силу тех, кто выступал за конфронтацию<sup>100</sup>, и тем более не какие-то изначально негативные черты самой общественности.

Сам по себе факт создания «консенсуса "холодной войны"» (конечно, формула о консенсусе, употребленная впервые Д. Ергином, не должна восприниматься буквально) был своего рода пирровой победой тех, кто формировал его, манипулируя общественным мнением. Неистовая антисоветская истерия развязала иррациональные импульсы в общественной жизни Запада и тем самым существенно ограничила гибкость и маневренность его политики.

Эта истерия не могла быть и долговечным феноменом. Уже те, кто ее формировал, высказывал обоснованные предположения, что если на какое-то время общественность и удастся ввести в заблуждение, то в долгосрочной перспективе это приведет лишь к тому, что она осудит тех, кто это совершил. Так и случилось. «Консенсус "холодной войны"» рухнул, что признают и достаточно консервативные авторы, называя даже конкретную дату – 1968 год<sup>101</sup>. На смену пришел "консенсус разрядки"<sup>102</sup>.

<sup>99</sup> Wittner L. Rebels against War P. 147; Herken G. Op. cit. P. 166, 162.

<sup>100</sup> Внутренние документы "команды Баруха" показывают, что ее членами постоянно владел страх, что произойдет сползание общественного мнения в обратном направлении. Г. Херкен отрицает наличие симптомов такого процесса, считая соответствующие страхи преувеличенными, но в данном случае с ним можно поспорить. См.: Herken G. Op. cit. P. 179–180. Во всяком случае, тот приведенный выше факт, что Даллес вынужден был заискивать перед своими идейными противниками, показывает, насколько он был не уверен в своих силах.

<sup>101</sup> The Public and the Atlantic Alliance / Eds. G. Flynn, H. Rattinger. N.Y., 1985. P. 360.

<sup>102</sup> Впрочем, формирование этого последнего началось гораздо раньше. Интересные мысли высказывает по этому поводу известный американский историк Дж. Пэйдж, который под влиянием разрядки решил пересмотреть свои собственные взгляды, высказанные в написанной им ранее с "традиционных позиций" книге "Корейское решение". Если там он развивал тезис о том, что "большинство американцев целиком и полностью поддерживало" авантюру в Корее, то в своем "покаянии" он отмечает: "...ввиду резкого поворота общественного мнения против войны, что содействовало победе Эйзенхауэра на президентских выборах 1952 г., глубина этой поддержки – сомнительна". См.: Paige G.D. On Values and Science: The Korean Decision Reconsidered // The American Political Science Review. 1977. Dec. Vol. 71, № 4. P. 1604.

Вопреки утверждениям о разрядке как "верхушечном процессе", затрагивающем-де лишь "лидеров", а не "народы"<sup>103</sup>, складывание этого консенсуса предшествовало разрядочным политическим акциям. Западногерманский политолог Э.-О. Чемпиль обоснованно отмечает в этой связи: "Политика разрядки, можно сказать, выполнила требование, вытекавшее из широкой и интенсивной политической потребности американской общественности"<sup>104</sup>.

Краткие выводы по данной "модели". Сами западные авторы весьма скептически оценивают степень ее разработанности. «Соотношение между общественным мнением и внешней политикой – это вопрос, который не может не иметь огромного значения в период, который получил название "века масс" и который характеризуется возрастающим влиянием международных дел на развитие внутренней политики. Тем не менее ни историки, ни политологи до сих пор не подвергли этот вопрос достаточно тщательному анализу», – отмечает профессор факультета международных отношений Лондонской школы экономики К. Хилл<sup>105</sup>. Имеются и оценки даже более сурового характера. "Общественное мнение – один из самых плохо определенных и неупорядоченно используемых терминов в словаре политической коммуникации", – отмечается в исследовании, подготовленном под эгидой Чатам-хауза<sup>106</sup>.

Самая "сбалансированная" оценка выглядит так: "Несмотря на тот факт, что общественное мнение может иметь значительное влияние в относительно демократических системах, это, как правило, не очень важное влияние"<sup>107</sup>. Значительное, но не важное – понимай, как хочешь!

К сожалению, и в марксистской науке изучение проблемы "Общественное мнение и международные отношения" находится еще на начальной стадии. Одна из первых в советской литературе работа Б.А. Груши-

<sup>103</sup>Soviet-American Relations in the 80's: Superpower Politics and East-West Trade / Eds. L. Caldwell, W. Diebold jr. N.Y., 1981. P. 23; Hoffman S. Dead Ends: American Foreign Policy in the New Cold War. Cambridge (Mass.), 1983. P. 207.

<sup>104</sup>Czempiel E.-O. Amerikanische Aussenpolitik. Stuttgart, 1980. S. 31. Автор пытается дать социологический профиль этого общественного мнения: он отмечает, что три пятых американцев, имеющих меньший образовательный уровень, осознают необходимость разрядки лучше, чем две пятых, располагающих более высоким образовательным цензом. Разумеется, это не совсем точный критерий, однако в какой-то степени он передает суть дела, опровергая тезисы о "верхушечном" характере политики разрядки.

<sup>105</sup>Hill Chr. Public Opinion and British Foreign Policy Since 1945: Research in Progress // Millennium. Journal for International Studies. 1981. Vol. 10, № 1. P. 53. Статья представляет собой текст доклада, прочитанного на конференции "Общественное мнение и внешняя политика в Европе", проходившей в Италии в феврале 1980 г. Сам К. Хилл – типичный "пассивист". По его мнению, искать признаки влияния общественного мнения на международную политику – это все равно что заниматься поисками лох-несского чудища: "интригующе, но смешно". Ему же принадлежит и такой образ общественного мнения: оно-де "представляет собой не более чем расплывчатый контур на большом холсте, детали и цвет которого прорисует художник" (под художником, естественно, мыслится "элита") (Ibid. P. 60).

<sup>106</sup>Capitanich D., Eichenberg R. Defense and Public Opinion. L., 1983. P. VII.

<sup>107</sup>Wendzel R.L. International Politics, Policymakers and Policymaking. N.Y., 1981. P. 412.



на<sup>108</sup> в значительной мере устарела. В упоминавшейся выше работе авторского коллектива ИМЭМО этот вопрос разобран очень скупо; даже само понятие "общественное мнение" употребляется в кавычках, как некая метафора, а не реально существующий феномен. Эта трактовка скорректирована в более позднем труде Н.А. Косолапова<sup>109</sup>, правда, здесь заметно увлечение абстрактными схемами в ущерб конкретике. Более сбалансированы в этом отношении работы М.М. Петровской, но, отстаивая верный тезис об относительной самостоятельности общественного мнения в политической системе, она, на наш взгляд, несколько абсолютизирует эту его характеристику<sup>110</sup>. Думается, что и в этих трудах нашел свое отражение тот дуалистический подход к этому феномену, который мы определили в применении к рассмотренным нами трудам западных историков как варианты "спонтанности" и "пассивности".

Возвращаясь к этим вариантам, отметим, что первый, отражающий в основном точку зрения консервативных историков, ныне в значительной степени потерял самостоятельное значение и, во всяком случае, солидную аргументационную базу, существуя главным образом в форме полемических выступлений против второго варианта. Этот последний, будучи более характерен для либерального крыла западной историографии и более широко распространенный в последнее время, представляет в то же время уязвимую мишень для критики как выражение "элитистского" подхода к истории.

Придерживающиеся его авторы в целом недооценивают возможности и реальные результаты воздействия народных масс на международные дела, тот факт, что общественное мнение и в условиях интенсивной обработки антисоветской пропагандой обнаружило к ней определенную резистентность, а это наложило определенные ограничения на темп и ритм сползания к "холодной войне": конфронтация развилась позже, чем хотели ее инициаторы; переход к ней не был прямолинейным, непрерывным, он носил дискретный характер; далеко не все планы политиков "холодной войны" были реализованы, по крайней мере в желательные для тех сроки, причем это относится к самым опасным для дела мира планам – типа форсирования гонки ядерных вооружений, наращивания массовых сухопутных армий и т. д.<sup>111</sup>

К сожалению, менее всего разработана именно эта сторона воздействия общественности на внешнюю политику: "третий вариант" (в нашей классификации) представлен лишь некоторыми отдельными замечаниями и определенным набором фактов, из которых далеко не всегда

<sup>108</sup> Грушин Б.А. Мнение о мире и мир мнений. М., 1967.

<sup>109</sup> См.: Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств. С. 179–183; Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. М., 1983.

<sup>110</sup> См.: Петровская М.М. Политика сквозь призму опросов. М., 1982; Она же. Общественное мнение как фактор внешней политики США // Механизм формирования внешней политики США. М., 1986. С. 170–204; Она же. Американское массовое сознание и милитаризм // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 1.

<sup>111</sup> См. подробнее: Чубарьян А.О., Марушкин Б.И., Филитов А.М., Шилов В.С. Общественное мнение и безопасность Европы. М., 1985.

делаются исторически верные выводы. С одной стороны, встречаются малообоснованные тезисы о "победах" мирных инициатив – там, где побед по сути-то и не было, с другой – не показываются упущенные возможности антиконфронтационного влияния общественных сил на политику правительств там, где такие возможности, безусловно, имелись. Здесь еще большое поле для исследований и находок. Направление это – самое перспективное. Задел, во всяком случае, здесь есть.

### МОДЕЛЬ "ИСКАЖЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ" В ИНТЕРПРЕТАЦИИ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"

"Миф, самореализующееся предсказание и подстраховка символами в конфликте Восток–Запад" – под таким мудреным названием появился в 1965 г.opus американского политолога Дж. Каутского<sup>112</sup>, в котором впервые, пожалуй, в развернутом виде была изложена указанная "пост-ревизионистская" модель (хотя о "постревизионизме" тогда еще не было и речи). Содержание – и опуса, и модели – было, несмотря на усложненный язык, сравнительно просто. В качестве аналогии для описания международных отношений бралась элементарная жизненная коллизия: если кто-то вобьет себе в голову, что сосед относится к нему плохо, и если он сам начинает относиться к этому подозреваемому объекту соответствующим образом, то и тот ответит тем же. Будучи поначалу мифом, предсказание о злокозненности соседа таким образом самореализуется; с тех пор любое действие соседа интерпретируется как подтверждение правильности первоначального суждения о нем; обе стороны и в своих действиях, и в оценке действий "врага" руководствуются символами, подстраховывающими представления в духе изначального мифа.

В общем, все это напоминает вариацию на тему гоголевской "Повести о том, как поспорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". У Н.В. Гоголя оба персонажа совсем не монстры, во всяком случае один несколько не хуже другого. Понятно, что и соответствующая "гоголевская" концепция "холодной войны" могла появиться лишь тогда, когда стало сходить на нет представление об абсолютной "хорошести" одной из вовлеченных в нее сторон и абсолютной порочности другой. Не случайно, что если сама идея самореализующегося предсказания была выдвинута еще в 1948 г.<sup>113</sup>, то к анализу отношений Восток–Запад в столь развернутом и привлекающем внимание виде она была применена лишь в середине 60-х годов, когда пик конфронтации был уже пройден. Не случайно, что концепция эта вовсе не осталась и даже не являлась монополией одного ученого. В том же, 1965 г. в престижном оксфордском журнале ее так сформулировали два английских политолога: «"Холодная война" началась на базе взаимного страха и недоверия, уходящих корнями в 1917 г., не развеянных коротким периодом нелегкого сотрудничества военного времени и усиленных в послевоенный период серией действий

<sup>112</sup> Kautsky J. Myth, Self-Fulfilling Prophecy and Symbolic Reassurance in the East-West Conflict // Journal of Conflict Resolution. 1965. № 8. P. 1–17.

<sup>113</sup> Merton R. The Self-Fulfilling Prophecy // The Antioch Review, 1948. № 8. P. 193–210.

каждой из сторон, которые легко могли быть истолкованы другой как враждебные»<sup>114</sup>.

С тех пор труды, посвященные закономерностям "искажения восприятия" (мисперцепции) в международных отношениях и влияния этого феномена на генезис и ход "холодной войны", хлынули как из рога изобилия<sup>115</sup>. Особого прогресса в теоретических и общеисторических посылах не наблюдается, за исключением, может быть, способа их выражения. В одной из работ методологического характера двух американских авторов-модернистов эта "модель" выглядит, например, следующим образом: «Происхождение "холодной войны" следует рассматривать как процесс приращения бесконечно малых изменений, а не как заговор с чьей-либо стороны. . . Страхи Сталина по поводу капиталистического окружения и страхи Запада по поводу советского экспансионизма питали друг друга и вылились в порочный круг ширившегося недоверия, негативных акций и враждебности»<sup>116</sup>.

Для Гоголя в его повести о двух помещиках, в общем, совсем не важен вопрос ни о том, кто начал конфликт (то ли тот, кто зря сказал "гусак", то ли тот, кто зря обиделся на это), ни о том, какие реальные интересы и замыслы за ним стояли (собственно, идея как раз и состоит в том, что никаких таких интересов и замыслов и не было – все началось с нелепого недоразумения). Ценность этой "модели" для "постревизионистов" именно в том и состоит, что она оттесняет на задний план вопрос об инициаторе, о реальных мотивах и интересах участвовавших в конфронтации сторон. Это оттеснение, конечно, не абсолютно. К примеру, вопрос "кто начал?" порой ставится и даже получает адекватный ответ – США, но не считается важным. Что же касается мотивов инициатора, этот вопрос если и ставится, то рассматривается весьма облегченным, редукционистско-психологизированным образом, в плане прямых аналогий между поведением лиц в общезитии и государств на международной арене.

Мы видели, как Дж. Гэддис вывел генезис призрака советской "угрозы" у американцев из свойственной им якобы "невинности" в международных делах. Неубедительно. По-иному объясняет то же самое А. Улам – по его мнению, все дело в чрезмерной пылкости чувств американцев к своему советскому союзнику: "Военные годы не способствовали реалистическому осмыслению советской системы. Даже для самого консервативного американца совместная борьба притупила его инстинктивный антикоммунизм. Тем более бурной была реакция потом, когда иллюзии были разбиты. . . Экстравагантные надежды сменились неумеренными страхами"<sup>117</sup>. Так ли это? Да, антикоммунизму в официальной

---

<sup>114</sup> *Williams G., Frankel J. A Political Scientist's Look at the Cold War as History // Political Studies. 1965. June. Vol. 16, № 2. P. 286.*

<sup>115</sup> *Jervis R. The Logic of Images in International Relations. Princeton, 1970; Idem. Perception and Misperception in International Politics. Princeton, 1976; Rapaport A. The Big Two: Soviet-American Perceptions of Foreign Politics. N.Y., 1971.*

<sup>116</sup> *Mansbach R., Vasques J. In Search of Theory: A New Paradigm for Global Politics. N.Y., 1981. B. 410, 413, 415*

<sup>117</sup> *Ulam A. Dangerous Relations. P. 5*

пропаганде Вашингтона во время войны пришлось потесниться – более того! Да, масса простых американцев питала добрые, дружеские чувства к СССР. Но что касается “притупления” антикоммунизма у “самых консервативных американцев” – это попросту бездоказательно. Имеющиеся источники говорят совсем о другом: представители этих кругов не раз выражали беспокойство по поводу сотрудничества с “врагом” и в качестве условия будущих нормальных отношений с нашей страной выдвигали вполне четкое условие: Россия должна быть “очищена от коммунизма” (!), как это выразил личный помощник президента “Дженерал моторс” Дауни<sup>118</sup>. Идеи эти не оставались в сфере салонных разговоров: они имели зловещий выход и в реальную политику. Вспомним затягивание второго фронта ради ослабления СССР, вспомним секретные контакты англо-американцев с гитлеровской верхушкой! В этом отношении можно сказать, что в правящих кругах США имелись и иллюзии и экстравагантные надежды – иллюзии, что можно ослабить советского союзника, и надежды, что тем или иным путем (либо кнутом, либо пряником) можно добиться превращения Советской страны в послушного вассала США.

К чести для тогдашних американских руководителей они не дали себя увлечь этими сладостными мечтами (хотя порой им и поддавались), нашли в себе достаточно реализма, чтобы понять их беспочвенность. Совершенно необоснованно утверждение, будто Рузвельт и его сподвижники шли к послевоенному миру с иллюзиями и надеждами на то, что Советский Союз будет вести себя так, чтобы удовлетворить пожелания боссов “Дженерал моторс”. Отнюдь нет! Как следует из воспоминаний кардинала Спеллмана о его беседе с Рузвельтом в сентябре 1943 г., президент не только не рассчитывал на то, что удастся продвинуть “западную систему” на восток, но размышлял лишь о том, удастся ли ее вообще сохранить в Западной Европе! Что же касается восточной ее части, то тут его мнение было однозначно: он считал ее безвозвратно потерянной для Запада<sup>119</sup>.

Это мнение широко разделялось и интеллектуальной элитой страны. Достаточно вспомнить работу выдающегося американского историка К. Беккера<sup>120</sup>, которая, кстати сказать, фигурировала как одно из основных пособий, которым надлежало пользоваться американским оккупационным властям для пропагандистской работы в Германии<sup>121</sup>. И если все это изменилось под знаком перехода к курсу конфронтации, то уж никак не из-за незнания, а именно потому, что было решено игнорировать накопленное знание, отказаться от реализма в политике. “Важно отметить прежде всего, что этот конфликт (“холодная война”. – А.Ф.) возник вовсе не в обстановке незнания и неверных ожиданий в отношении Советского Союза”, – обоснованно констатирует одна из первых “постревизионисток” – Л.Э. Дэвис<sup>122</sup>.

<sup>118</sup> *Levering R.* American Opinion and the Russian Alliance. N.Y., 1978. P. 156.

<sup>119</sup> *Gannon R.* The Cardinal Spellman Story. Garden City, 1962. P. 222–224.

<sup>120</sup> *Becker C.L.* How New Will the Better World Be. N.Y., 1944. P. 192–193.

<sup>121</sup> Institut für Zeitgeschichte. München. Archiv, MF 260, 5/264–2/2.

<sup>122</sup> *Davis L.E.* The Cold War Begins. Princeton, 1974. P. 388.

А. Улам, надо сказать, проявляет известную виртуозность в том, чтобы переложить ответственность за сознательный антисоветский волюнтаризм Трумэнского руководства на всю американскую политическую систему, а особенно на американский народ. Если в классическом изложении им "третьей модели" ответственность за искаженное восприятие действительности вроде бы раскладывается поровну между "верхами" и "низами"<sup>123</sup>, то все же решающую роль в определении политики он отводит последним (вспомним его тезис о "мощных струях народных эмоций"). Таким образом, оказывается, что "третья модель" явно нуждается в подпорке в виде "второй модели" (в варианте "спонтанности"). Мы, однако, уже видели, насколько слаба эта "подпорка".

Точно так же обстоит дело и в том случае, когда в качестве такой подпорки для "третьей модели" используется первая – "оргмодель". Впрочем, трудно сказать, какая из них подпирает другую: скорее, видимо, имеет смысл говорить о своеобразном их гибриде. Увеличивает ли эта "гибридизация" силу их аргументированности? По нашему мнению, вовсе нет.

В самих рассмотренных нами вариантах "оргмодели" мы уже встречали встроенные в нее элементы модели "неверного восприятия". Таковое усматривалось при разработке, принятии и осуществлении внешнеполитических решений; соответствующие искажения локализовались в основном на стадиях передачи информации (снизу вверх и сверху вниз); признавался в общем сознательный характер этих искажений аппаратом. "Третья модель" в своем развернутом и цельном виде добавляет сюда два немаловажных момента: во-первых, что искажение имело место уже на стадии сбора информации, во-вторых, что это искажение носило не сознательный, не намеренный, а, так сказать, стихийный, объективный характер.

Эта объективизация субъективизма открывает двойную возможность: уйти от вопроса об ответственности и подвести к идее о неизбежности "холодной войны" – даже тогда, когда признается, что лежащая в ее основе мифология была именно мифологией, и ничем другим. Эти попытки объективизации выражаются в разных формах, порой даже в своеобразной форме "классового подхода".

Вот как объясняет происхождение "мисперцепции" в американских представлениях о событиях в восточноевропейских странах американский историк Х. Десантис: "Дипломаты в странах пребывания испытывали на себе влияние контактов с теми политическими и социальными

---

<sup>123</sup> "Как творцы политики, так и рядовые граждане [США] слишком часто пропускали мимо ушей или вовсе игнорировали факты и цифры, которые могли объяснить им этот мир и дать им совет насчет политики, которую следовало бы проводить, чтобы справиться с его проблемами. . . . Неожиданное превращение советского колосса из военного союзника в нечто, что, как казалось, воплощало собой неумолимую враждебность, вызвало тревогу и в правительстве США, и в общественном мнении. . . . Это чувство удивления и непонимания так полностью никогда и не исчезало по эту сторону океана. . ." (выделено нами. – А.Ф.). См.: *Ulam A. Dangerous Relations*. P. 4.

элитами в Восточной Европе, с которыми их связывали общие классовые ценности и с которыми они говорили, как они считали, на общем политическом языке. . . Вследствие личной и идеологической идентификации с некоммунистическими политическими лидерами (стран пребывания. — А.Ф.), для которых была характерна растущая враждебность по отношению к Советскому Союзу, чиновники заграничной службы имели тенденцию упускать из виду тот факт, что политическая история восточноевропейских стран была недемократической, а порой и антирусской, и ту вероятность, что местные лидеры пытались использовать американскую поддержку в целях удовлетворения своих собственных политических амбиций. Карьерные дипломаты оказывались пленниками стереотипа о народах Восточной Европы, борющихся за демократию, которую им должны принести их американские спасители”<sup>124</sup>.

Рассуждение любопытное, безусловно верное, когда речь идет об “общих классовых ценностях”, объединяющих западных дипломатов и антикоммунистических политиков, и о том, что последние думали вовсе не о демократии, а о собственных амбициях, для чего и стремились к контактам с иностранными “спасителями”. Но можно ли считать этих предполагаемых “спасителей” всегда лишь жертвами классовой ослепленности? Десантис явно считает так, но это далеко не единственный ответ, который имеется в западной историографии.

Здесь следует вернуться к книге М. Вейля, где критика в адрес американских “специалистов по Восточной Европе” из госдепартамента гораздо глубже. Как показано в ней, речь шла не просто о том, что эмиссары Вашингтона охотно “клевали” на дезинформацию, но и о том, что они прекрасно осознавали ее истинный характер, не только о том, что они благосклонно принимали представителей оппозиции, но и о том, что они *организовывали* таковую.

Началось это еще при Рузвельте: в то время как тот “отправился в Ялту с целью урегулирования разногласий с русскими, внешнеполитический аппарат в США начал кампанию с целью устранения всякого советского влияния в странах, граничащих с Россией”<sup>125</sup>. После же его смерти эта кампания в описании М. Вейля приняла характер прямого вмешательства во внутренние дела стран Восточной и Юго-Восточной Европы: “Представители оппозиционных партий осаждали американские посольства — их единственную надежду и опору. Наши послы, враждебные русскому влиянию, приветствовали их и помогали им, хотя в некоторых случаях те располагали очень незначительной базой в народе. . .”<sup>126</sup>

При этом с американской стороны вовсе не было заблуждений относительно истинного характера ситуации: «Хотя телеграммы Барнса (посол в Болгарии. — А.Ф.) постоянно давали контрастную картину того, как “демократические элементы” ведут борьбу с бесцеремонным коммунистическим меньшинством, контролируемым Москвой, он представил

<sup>124</sup> De Santis H. The Diplomacy of Silence: The American Foreign Service, the Soviet Union and the Cold War, 1933—1947. Chicago, 1980. P. 205.

<sup>125</sup> Weil M. Op. cit. P. 193.

<sup>126</sup> Ibid. P. 234.

менее идеологизированную картину в письме Мэттьюзу (начальник Отдела стран Европы госдепартамента. – А.Ф.), которое не пошло через официальные каналы. Прежде всего, писал он, импульс влево (в болгарской политике. – А.Ф.) был по своему происхождению чисто болгарским»<sup>127</sup>.

Этот пример "двойной бухгалтерии" в информационном процессе демонстрирует, между прочим, сложную источниковедческую проблему, стоявшую перед исследователями: какие документы считать "настоящими" и какие составленными просто "для отчета"? Но это и пример того, как историк-"постревизионист" оказывается в состоянии преодолеть "постревизионистскую" догму ("засекречено – значит истинно"; в данном случае она тем более бессмысленна, что оба типа документов не предназначались для публики) и разобраться, где именно отражена реальность и факта, и восприятия.

Кстати, и сам Х. Десантис, чья книга стала как бы косвенным ответом М. Вейлю, в одном случае приводит эпизод, не вполне соответствующий его тезису об американских дипломатах как "жертвах" индоктринации со стороны оппозиционеров. Эпизод касается оценки обстановки, в которой проходил референдум в Польше в июне 1946 г.: "Несмотря на то что донесения из консульств в Гданьске и Познани свидетельствовали о том, что референдум происходил вполне корректно, Лейн (посол США в Польше. – А.Ф.) позволил Миколайчику (тогда – польский вице-премьер. – А.Ф.) убедить себя в том, что правительство использовало запугивание [участников референдума]"<sup>128</sup>. Напрашивается вопрос, почему же Лейн поверил Миколайчику, а не своим коллегам-дипломатам? И разве "классовые ценности" и "политический язык" последних отличались от тех, которые были у Лейна (и Миколайчика)? Почему же оценки были различны? Ответы просты: в низших эшелонах американской дипслужбы, очевидно, хуже знали, что от них требуется, и потому давали более объективную информацию; посол же, имевший прямой контакт с Вашингтоном, отфильтровывал то, что требовалось.

Впрочем, применительно к уровню высших эшелонов внешнеполитического аппарата уже следует говорить не о фильтре на нежелательную информацию, а о своеобразном механизме, приспособленном для того, чтобы переворачивать факты с ног на голову. О чем идет речь?

Ныне многие историки отмечают то обстоятельство, что донесения и аналитические записки британских официальных и неофициальных эмиссаров в странах за "железным занавесом" отличались от соответствующих документов их американских коллег куда более спокойным, сбалансированным тоном, меньшей концентрацией примитивного антикоммунизма и антисоветизма. Если, например, американская миссия, посланная в конце 1945 г. в Румынию, сочла, что безраздельным доверием там пользуются лидеры буржуазных партий Маниу и Братиану – "образцовые демократы", то английская миссия охарактеризовала

<sup>127</sup>Ibid. P. 197.

<sup>128</sup>De Santis H. Op. cit. P. 187.

последних как "бандитов", чьи "шутовские выходки, реликт времен довоенной коррупции, лишили их доверия рядовых румынских трудящихся"<sup>129</sup>. Если американские дипломаты, наблюдавшие за выборами в Венгрии в августе 1947 г., докладывали о "массовых нарушениях" демократических норм, то британские – о том, что "выборы проходили во вполне нормальной обстановке"<sup>130</sup>. Наконец, сравнивая "длинную телеграмму" Кеннана с несколькими аналогичными депешами английского посла в СССР Робертса, составленными и отправленными в Лондон примерно в то же время, можно согласиться с тем, что британский дипломат представил менее идеологизированный, более логичный и в целом оптимистичный анализ советской политики<sup>131</sup>. Казалось бы, ввиду всей этой информации и директивные документы Форин оффис должны были бы носить более сдержанный характер. Ничуть не бывало!

Дж. Гэддис обнаружил сверхсекретный в свое время документ, имевший хождение на самом высшем уровне английской политики, опубликовал его, и нельзя не согласиться с его выводом, что содержащаяся там "оценка советской угрозы была более огульной по характеру и более апокалиптической по тону, чем любая из известных частных или официальных оценок американских должностных лиц того времени"<sup>132</sup>. Выходило, что, чем "лучше" информация, тем "хуже" выводы из нее!

Такой своеобразный характер перцепции порой объясняют и оправдывают тем, что западные политики пребывали в состоянии своеобразного стресса, находились под властью страха перед СССР и под влиянием обычного для человеческого существа стремления перестраховаться на "самый худший вариант".

Этими психологическими факторами можно как-то (теоретически по крайней мере) объяснить издержки в отборе информации, но они никак не объясняют "замену знаков" (плюс на минус) в ее анализе: скажем, под влиянием разных эмоций и установок один человек может счесть нечто серое темным, а другой – светлым, но очень трудно представить ситуацию, когда он упорно будет называть белое черным, и наоборот. Добросовестное заблуждение здесь весьма сомнительно.

Впрочем, такое заблуждение весьма сомнительно и тогда, когда речь идет о "мисперцепциях" не качественного, а количественного уровня, не

<sup>129</sup> См.: *Rothwell V. Op. cit. P. 180*. Американский историк У. Таубман по этому поводу мягко замечает, что "Барнс и Берри, возможно, преувеличили демократизм балканских политиков" (речь идет об американских эмиссарах в Болгарии и Румынии. – А.Ф.) и, вероятно, прав Э. Мей, которые отмечал такие преувеличения в их докладах. Идеинный родоначальник "постревизионизма" Э. Мей говорил, правда, не о "преувеличениях", а о "предвзятости" докладов эмиссаров США. Проблема "мисперцепции" существует, как видим, и среди историков. См.: *Taubman W. Stalin's American Policy. N.Y., 1982. P. 107; May E. "Lessons" of the Past. N.Y., 1973. P. 22*.

<sup>130</sup> *Douglas R. Op. cit. P. 149*.

<sup>131</sup> *Greenwood S. Frank Roberts and the "Other" Long Telegram: the View from the British Embassy in Moscow, March 1946 // Journal of Contemporary History. 1990. Vol. 25, № 1. P. 103–122*.

<sup>132</sup> *Gaddis J. The Long Peace. N.Y., 1987. P. 46*.



в качественных, а в количественных оценках. Обычное объяснение начала гонки вооружений на Западе – это тезис об ошибке в подсчете военного потенциала СССР: знали бы западные военные, что СССР действительно демобилизовался после второй мировой войны – они бы не были тревогу насчет недостаточности западного "сдерживания", глядишь, и "холодной войны" не было бы. Вот что пишет по этому поводу Т. Патерсон: "Западные наблюдатели преувеличили реальные размеры советских вооруженных сил. Это случилось отчасти из-за того, что Кремль, как всегда, секретничал, не предал гласности свою программу демобилизации; отчасти из-за того, что каждая сторона, составляя свои военные планы, склонна думать самое худшее о намерениях и потенциале вероятного противника... Советская армия сократилась с максимального военного уровня 11,3 млн человек до 2,8 млн к 1948 г. Тогдашние [американские] оценки ее численности были порядка 5 млн"<sup>133</sup>.

Английский историк М. Говард, со своей стороны, не склонен придавать чрезмерного значения советской практике секретничания, как и особенностям военного менталитета, выдвигая на первый план для объяснения западных "мисперцепций" парадоксальное сочетание "застрессованности" и карьеризма, характерное, по его мнению, для разведывательного сообщества стран Запада; он пишет в этой связи: «Я сомневаюсь, что мы узнали бы больше о том, что собирался предпринять Советский Союз в 50-е годы, даже если бы вдруг получили все архивы Кремля или проинтервьюировали всех его тогдашних обитателей. Интереснее было бы ознакомиться с теми разведывательными материалами, на которых [западные] союзники базировали свои апокалиптические идеи. Что вызвало такую панику?.. Мы что: узнали о каких-то передвижениях советских войск, о каких-то конкретных мобилизационных мероприятиях в сфере снабжения и транспорта, о каких-то военных планах? Или же просто речь шла о том, что разведчики сами оказались в плену тогдашнего "великого страха", как и все остальные, и просто вычитывали из той информации, которую получали, то, что в ней ожидали найти? Разведчиков не понижают в должностях за преувеличения сил противника, и они вряд ли в лучшем положении, чем кто-либо еще, когда речь идет о простом гадании насчет его намерений»<sup>134</sup>.

Его коллега М. Бальфур вообще, по сути, отмел в целом проблему "секретов" Востока и "ошибок" Запада – не требовалось никакой агентурной работы, чтобы обнаружить, например, тот факт, что в советской зоне оккупации Германии демонтируются вторые пути на железных дорогах, а рельсы в счет репараций отправляются в Советский Союз, и не требовалось особо глубокой аналитической работы разведцентров, чтобы сделать единственно возможный вывод: если бы Советская Армия собиралась напасть, то в советской оккупационной зоне должно было бы скорее осуществляться строительство дополнительных коммуникаций, а не мероприятия, связанные с уменьшением их пропускной способности; зна-

<sup>133</sup>Paterson T. Op. cit. P. 155–156.

<sup>134</sup>Howard M. Introduction // Western Security: the Formative Years. European and Atlantic Defense, 1947–1953 / Ed. O. Riste. Oslo, 1985. P. 20.

чит, никакого намерения совершить "рывок к Ла-Маншу", никаких приготовлений к нападению у СССР не было. Сам М. Бальфур в первые послевоенные годы являлся резидентом английской разведки в Германии, и как историку ему, очевидно, не чужд мотив "самореабилитации": снять с представляемой им службы обвинение в поставке искаженной информации и оценок. Наличие такого мотива, вернее, предположения о его наличии не лишает, однако, убедительности его тезис о том, что никакой "советской военной угрозы" не было и что западные лидеры не могли не знать об этом<sup>135</sup>.

Интересно отметить, что новые факты, появившиеся в последние годы и касающиеся наиболее интимных сторон деятельности западного политического и разведовательного аппарата, побуждают западных историков порой менять акценты в своих трудах. Тот же Т. Патерсон, который в монографии 1979 г. как-то "объективировал" неверные оценки западными аналитиками советского военного потенциала, в своей книге, вышедшей в 1988 г., отмечает уже сознательно волюнтаристский характер таких искажений: "...нюансы, противоречия и свидетельства против – все это зачастую отбрасывалось, дабы подладиться к манере президента, который предпочитал простые ответы, или к уже сложившимся у него представлениям о советской агрессивности"<sup>136</sup>.

Здесь уже объективизация при объяснении "мисперцепций" уступает место крайней субъективизации: все сводится к личным качествам Трумэна. Эта переакцентировка отражает определенную тенденцию в западной историографии: вспомним идею о роковом влиянии, которое оказало на Трумэна "завещание Петра", отметим еще и концепцию, весьма курьезного свойства, о том, что американский президент поначалу видел в Сталине не более как повторение черт личности и поведения своего прежнего босса по партийной машине в его родном штате Миссури Пендергаста и когда обнаружилось, что советский лидер далеко не Пендергаст, то это вызвало у Трумэна некий психологический шок, которым и объясняются все его дальнейшие "мисперцепции"<sup>137</sup>.

Но был ли действительно американский лидер просто жертвой каких-то мифов исторического или биографического происхождения либо сам их создавал и культивировал? Многое говорит в пользу последнего предположения. Тот же Дж. Клиффорд, который в эссе о роли "завещания Петра" склонен представить Трумэна в роли объекта манипулятивного воздействия, причем со стороны "коварного Альбиона" (фальшивка попала к нему на стол через английский канал), сообщает и некоторые факты о том, что сам американский президент был еще и субъектом весьма оригинального предприятия – составления списка "советских нарушений договорных обязательств". Он прекрасно сообразил, что наличие такого "списка" даст необходимое подкрепление пропаганде о негативной ответственности во внешней политике России и Советского Союза. Эксперты

<sup>135</sup>Balfour M. *The Adversaries: America, Russia, and the Open World, 1941–1962*. L., 1981. P. 70.

<sup>136</sup>Paterson T. *Meeting the Communist Threat, Truman to Reagan*. N.Y., 1988. P. 47.

<sup>137</sup>Larson D. *Origins of Containment: A Psychological Explanation*. Princeton, 1985.

из госдепартамента потом безуспешно ломали головы над тем, откуда появилась названная президентом конкретная цифра "советских нарушений" (47) и что за ней стояло<sup>138</sup>. Термин "мисперцепция" можно в данном случае отнести к тому, как эти эксперты восприняли творчество Трумэна, что же касается последнего, то речь, видимо, шла просто о сознательной выдумке.

Другой пример: на Советско-американской конференции историков, посвященной отношениям СССР и США в 1950–1955 гг. (Атенс, штат Огайо, октябрь 1988 г.), Э. Мей выступил с чрезвычайно интересным докладом о динамике развития военного потенциала США в рассматриваемые годы. Основной тезис его состоял в том, что милитаризация США (факта которой он не отрицает) явилась следствием главным образом, если не исключительно, создавшегося у американцев представления о непосредственно грозящей опасности советского нападения на страны Запада (он не отрицает той возможности, что это представление было ложным, но оно было-де глубоким и искренним). "Глубина и искренность" иллюстрируются, однако, высказываниями лиц, в общем далеких от большой политики. Что касается тех, кто стоял у ее руля, то мотивы их решений в военной политике, судя по некоторым фактам, которые привел сам Э. Мей, очень трудно увязать с акциями СССР или сколь-нибудь правдоподобной интерпретацией этих акций.

Почему, например, Трумэн еще в первой половине 1951 г. добивался и добился повышения ассигнований на военные расходы, а спустя полгода стал выступать за их снижение, что затем довольно решительно продолжил Эйзенхауэр?<sup>139</sup> Эйзенхауэр, положим, мог руководствоваться "перцепцией" изменения советской политики после смерти Сталина, но какой "перцепцией" мог руководствоваться Трумэн более чем за год до 5 марта 1953 г.? Предвидением? Другой вопрос: почему на Лиссабонской сессии НАТО уже в 1952 г. была принята совершенно чудовищных масштабов программа наращивания "военных мускулов" Атлантического блока, почему активно форсировалось перевооружение ФРГ, почему последовало размещение все новых и новых видов ядерного оружия? Э. Мей приводит расчетные выкладки американских военных, согласно которым приведенное к тротиловому эквиваленту ядерное оружие было дешевле, чем обычное. Возможно, эта перцепция была правильной, но при чем тут верные или неверные представления о "советской угрозе"? Милитаризация, разный ее темп и различные ее формы, очевидно, диктовались внутренней логикой самого этого процесса; этот темп, эти формы, как и сама милитаризация и ее возникновение, – все это, повторим – согласно приведенным Э. Меем фактам, явно имеет другие причины и мотивацию, нежели те или иные "перцепции" о "вероятном противнике".

Наконец, еще об одном примере противоречия между фактами и кон-

<sup>138</sup>Clifford J. President Truman and Peter the Great Will // Diplomatic History. 1980. Vol. 4, N 4. P. 371.

<sup>139</sup>Schilling W., Hammond P., Snyder G. Strategy, Politics and Defence Budget. N.Y., 1962. P. 388; Futrell P. Ideas, Concepts, Doctrine: A History of Basic Thinking in the US Air Force, 1907–1964. Maxwell AFB, 1971. P. 209.

цепцией. Дж. Гэддис, судя по всему, разделяет идею "психологической травмы" Трумэна в силу его открытия непохожести Сталина на Пендергаста. Но его собственный портрет американского президента вовсе не передает черт эмоциональной импульсивности: хладнокровно Трумэн взвешивал все "за" и "против", решая, предавать ли гласности дело о "советском атомном шпионаже" (напомним – момент для "утечки информации" был выбран весьма точно с точки зрения пропагандистской целесообразности); довольно трезво он расценил это дело, да и вообще "шпионские страсти" с точки зрения реальной угрозы безопасности США как нечто явно раздутое (шеф ФБР Гувер буквально засыпал его "информацией" о советских агентах в самых высших эшелонах администрации; в их числе фигурировал даже будущий госсекретарь Д. Ачесон; но Трумэн попросту игнорировал эти доносы<sup>140</sup>). Однако в определенных масштабах до определенного момента ему было выгодно раздувание соответствующих кампаний – и они шли, и политика конфронтации в конечном счете "раскупалась", – несмотря на то что в общем-то имелось понимание, что "продается" искаженный образ действительности. Как отмечал по этому поводу в мемуарах тот же Д. Ачесон, "если мы подавали некоторые вещи публике в более четком виде, чем это соответствовало истине, то в этом мы не отличались от большинства просветителей [?] и вряд ли мы могли поступать иначе"<sup>141</sup>. "Четче, чем истина" – это хорошая формула пропаганды "холодной войны"; верно, что ее распространители не могли поступать иначе, если желали успеха своей пропаганде, но столь же верно, что они сами четко осознавали различие между тем, что было на самом деле, и тем, что они внушали публике. "Мисперцепции" не было, был холодный, циничный расчет. Не "мисперцепции" породили курс на конфронтацию; наоборот, этот курс породил "мисперцепции", он не мог без них обойтись.

Насколько ценилась истина в вашингтонских коридорах власти, любопытные факты можно найти в воспоминаниях другого видного деятеля внешнеполитического истеблишмента США – Дж. Болла. Он приводит такое, например, адресованное ему высказывание президента Джонсона: «Джордж, Вы напоминаете мне того учителя, который хотел устроиться на работу в Техасе. Школьные попечители его спрашивают, как он считает: земля – круглая или все-таки плоская? А он отвечает: "Вообще, учить-то я могу и так и так и этак"»<sup>142</sup>. Кстати, Джонсон имел в виду сделать своему советнику комплимент!

Воспоминания Дж. Болла интересны и отличаются от большинства аналогичных не только нотой порой беспощадной самокритики (далеко не каждый мемуарист воспроизведет отзыв о себе как о воплощении двуличия, да еще и признает, по существу, что такой отзыв был вполне заслуженным). Интересны и ценны они еще и тем, что их автор, отличный знаток того, как делалась политика "холодной войны", дает далеко не тра-

<sup>140</sup> Gaddis J. Intelligence, Espionage and Cold War Origins // Diplomatic History. Spring 1989. Vol. 13, N 2. P. 197.

<sup>141</sup> Acheson D. Present at the Creation. N.Y., 1970. P. 489.

<sup>142</sup> Ball G. W. The Past Has Another Pattern: Memoirs. N.Y., 1982. P. 377–378.

диционную и, как представляется, более аутентичную трактовку этого процесса, соотношения и роли в нем таких элементов, как первичная информация, экспертная оценка, собственное мнение начальства. Эта новая трактовка позволяет несколько по-иному взглянуть и на проблему "перцепции" и "мисперцепции" в принятии политических решений.

Обычно дело представлялось так, что либо руководство обманывали, давая ему лишь то, что ему могло понравиться, либо само руководство "заказывало" лишь то, что могло подтвердить правильность уже взятого курса — вне зависимости от того, насколько это соответствовало реальности, либо имело место и то, и другое. Дж. Болл ярко и доказательно подтверждает, что все это было. Однако не только это, но и нечто другое — высшее руководство, отмечает он, проявляло интерес и к получению некоей толики более или менее объективной информации и более или менее независимой экспертизы; тот же Джонсон не только терпел, но даже поощрял "диссидентские" голоса (к числу таковых Болл относит и свой собственный) — при одном, правда, непреложном условии, чтобы эти голоса не вышли за пределы узкого круга советников, чтобы они ни в коем случае не попали на публику<sup>143</sup>.

Видимо, это не было личной чертой одного Джонсона. Новые материалы из предыстории и первых лет "холодной войны" подтверждают наличие такого правила: из администрации сразу или не сразу, но непременно изгонялись те, о разногласиях которых с президентом становилось известно общественности (такая судьба постигла не только Г. Уоллеса, с которым Трумэна разделяли принципиальные противоречия, но и Дж. Бирнса, чьи противоречия с президентом носили скорее тактический характер); в то же время Дж. Маршалл, возражавший — но в узком кругу — и против "доктрины Трумэна", и против экстремистской линии президента в связи с событиями в Чехословакии год спустя<sup>144</sup>, остался персоной грата<sup>145</sup>.

Таким образом, можно говорить, по существу, о наличии в западном внешнеполитическом аппарате двух типов перцепции: одна предназначалась для оправдания текущей политики, другая представляла собой как бы страховочную сетку и резервный вариант на перспективу. Такая не-униформность, "многослойность" внешнеполитического восприятия и мышления, видимо, играла роль своеобразного ограничителя на авантюризм американской политики и дипломатии в "холодной войне", отличая его от авантюризма, положим, гитлеровской Германии. Можно даже сказать, что она создавала известные преимущества в противоборстве с противником, который не допускал никакого "диссента", даже в самых узких кругах, и который был во власти догматической диктатуры.

Но и издержки тоже были велики. Западные историки почти едино-

<sup>143</sup>Ibid. P. 384, 429—430.

<sup>144</sup>Wittner L. American Intervention in Greece... P. 79; Weisberger B. Op. cit. P. 84.

<sup>145</sup>Заметим, что до недавнего времени эти разногласия внутри "трумэновской команды" вообще не особенно подчеркивались в советской историографии, тогда как в западной, напротив, непропорционально раздувались. Очевидно, и то, и другое не вполне отражает действительность.

душны в том, что попытки найти "баланс" между самостоятельностью мысли и лояльностью "начальству", между "правдой для узкого круга" и "ложью для масс" вели к конформизму и цинизму, к "раздвоению личности"<sup>146</sup>, к тому, что определяется как "интеллектуальное балансирование на грани", если использовать термин, введенный в обращение Р. Прюссеном. На этом новом понятии стоит остановиться подробнее:

Мы уже знакомы с его автором – биограф Даллеса, он привел ряд ярких фактов, меняющих сложившееся представление об этой исторической личности: проповедник доктрины "отбрасывания коммунизма" и дипломатии "балансирования на грани" (мира и войны!) оказался не столько фанатиком и догматиком, сколько человеком "двойного стандарта" (один – для внешнего мира, другой – для узкого круга). В своем последнем эссе, фрагменте еще не законченной второй части биографии, Р. Прюссен приводит еще больше таких фактов и делает выводы, которые, думается, можно считать оптимальным вариантом решения проблемы "перцепция и политика". Вот они: «Даллес интригующе близко подходил к интеллектуальному постижению реальностей, однако это гораздо слабее отражалось в той политике, в формировании которой он участвовал... Его перцепции были зачастую более верными, чем об этом можно было судить по его поведению... Что же мешало, почему умный анализ выливался в куда менее умную политику?... Дело в том, что [Даллес] ставил цели и руководствовался интересами, достижение и удовлетворение которых выходили за пределы возможностей Соединенных Штатов... Даллес позволил амбициям и аппетитам возобладать над своими более общими и верными расчетами в сфере политэкономии соотношения сил (на мировой арене. – А.Ф.)». Имел место "триумф аппетита над логикой"<sup>147</sup>.

Единственно, в чем можно, видимо, возразить Р. Прюссену – так это в трактовке этого "триумфа" как результата процесса, "по-видимому, бессознательного". Его собственное сравнение даллесовской Америки с наполеоновской Францией противоречит такой трактовке. Можно ли говорить об экспансионизме Наполеона как о "бессознательном" феномене? Разве только в том узком смысле, что он не предвидел, к чему он приведет, просчитался в оценке перспектив. Просчет привел экспансионизм к краху, но не просчет породил экспансионизм. То же относится и к экспансионизму тех, кто развязывал и усиливал послевоенную конфронтацию.

Коротко резюмируем: неверно говорить о неверном восприятии, тем более о взаимном неверном восприятии как причине "холодной войны".

<sup>146</sup>Л. Уитнер приводит, например, такой факт: опрос ученых-атомщиков США накануне Хиросимы показал, что подавляющее их большинство против атомной бомбардировки японских городов, однако это не помешало "правительственному физик" Комптону заявить, что решение администрации о такой бомбардировке не противоречило мнению ученых. Конечно, Комптон не мог заблуждаться: как физик ему приходилось анализировать куда более сложные экспериментальные данные. Просто в данном случае человек науки капитулировал перед слугой политики – так и возникла "курьезная", по словам Л. Уитнера, интерпретация результатов опроса. См.: Wittner L. Rebels against War. P. 146.

<sup>147</sup>Pruessen R. John Foster Dulles and the Predicament of Power // John Foster Dulles and the Diplomacy of Cold War / Ed. R. Immerman. Princeton, 1990. P. 43–44.

”Мисперцепция” сыграла свою роль в том, как Восток реагировал на действия Запада<sup>148</sup>. Но сами эти западные действия осуществлялись отнюдь не как реакция на осознание ”советской угрозы”; было вполне ясное сознание отсутствия таковой; миф об этой угрозе, ”образ врага” являлись основой сознательного и на какое-то время довольно эффективного манипулирования общественным мнением; западные стратеги конфронтации довольно квалифицированно учитывали и искусно использовали слабости ”врага”; довольно успешно маневрировали в плане ”управления конфликтами”, не позволяя им выходить за рамки, грозящие утратой контроля. Во всех этих отношениях их ”перцепция” была на высоте.

В чем состояла главная, кардинальная ”мисперцепция”? В идее, что ”холодную войну” можно выиграть. Отдельные тактические ”выигрыши” по логике конфронтации обернулись огромным проигрышем по логике общечеловеческих интересов, интересов выживания человечества. В этом отношении не может служить достаточным утешением тот факт, что удалось избежать мировой термоядерной войны и тем самым тотального уничтожения человечества. ”Холодная война” оставила в наследство такие проблемы, которые ныне выросли до уровня глобальных и которые в свое время легкомысленно создавали те, для которых все средства представлялись оправданными ради победы над ”врагом” в лице идеологического конкурента<sup>149</sup>.

И последнее. В советской историографии и политологии исследование проблемы искаженного восприятия и его роль в международных отношениях сильно запоздало. В первых из появившихся на эту тему работах встречаются мысли, созвучные тем, что были представлены в нашем

---

<sup>148</sup>Заметим, что в последнее время можно отметить любопытное совпадение у авторов диаметрально противоположных направлений в тенденции ”повысить балл” перцепции сталинистского типа. Ультраконсерватор Х. Томас считает, что втягивание Запада в гонку вооружений — это плод ”политического гения” Сталина (*Thomas H. Op. cit. P. 546*). Со своей стороны, представитель движения за мир в ФРГ Л. Кнорр, отнюдь не отпуская комплименты Сталину и отмечая негативное воздействие на общественность Запада примеров сталинистских извращений, тем не менее категорически заявляет: ”Сложившийся в СССР антиимпериалистический образ врага всегда и везде основывался на реальных фактах”. На вопрос, ”не создавал ли СССР, как и другие социалистические страны, преувеличенный образ врага с тем, чтобы отвлечь внимание от недостатков и дисциплинировать свои народы?”, Л. Кнорр отвечает категорическим ”нет”. Категоричность эта, думается, вряд ли уместна. Ведь и ”ждановщина”, и действия в Венгрии в 1956 г., и вмешательство в чехословацкие дела в 1968 г. — все это осуществлялось как раз на фоне кампаний о происках ”врага”. См.: *Knorr L. Feindbilder und deren Abbau // Marxistische Blätter. 1989. N. 7/8. S. 75, 77.*

<sup>149</sup>Яркий пример такой ”культивированной” проблемы — наркомания и наркобизнес. Исследуя влияние политики конфронтации на преступность и состояние борьбы с ней, американский историк Ф. Дженкинс приводит такой факт: в борьбе с французскими коммунистами западные спецслужбы решили использовать марсельских гангстеров; всякие преследования их прекратились, им была создана ”тепличная атмосфера”, в результате — возникновение международной наркомафии! См.: *Jenkins Ph. Policing the Cold War // Historical Journal. 1988. Vol. 31, N 1. P. 148—149.*

анализе; кое-что вызывает возражения, например встречающаяся идентификация представлений об окружающей действительности ("имиджей") у массы и у элиты, преувеличение искренности искаженных "имиджей" у представителей последней<sup>150</sup>.

Думается, что по крайней мере в том, что касается западной политики в условиях нарастания конфронтации, имели место сознательный выбор и использование для оперативной политики именно образцов ложной, искаженной перцепции.

### "ЕВРОПЕЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" В ИСТОРИИ И ИСТОРИОГРАФИИ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"

Проанализированные нами до сих пор концепции рассматривали "холодную войну" главным образом, если не исключительно, через призму отношений между СССР и США – "сверхдержавами", как их принято называть. Такой подход к рассмотрению конфликта, захватившего в своем развитии весь мир, недостаточен, как резонно заметил английский историк Д. Рейнолдс, делая этот вывод в качестве основного из предпринятого им обобщающего исследования новейшей историографии по проблеме. В числе самых забытых, по его мнению, "проблема взаимодействия сверхдержав с идеологическими, политическими и силовыми реалиями, которые воплощали собой их союзники в Европе", проблема "европейского измерения" в истории послевоенной конфронтации, как он ее называет<sup>151</sup>. На наш взгляд, здесь требуется только одно уточнение: "европейское измерение" не такое уж забытое. Более того, можно даже наметить три имеющихся в историографии варианта его трактовки (они, кстати, в точности соответствуют рассмотренным нами выше трем разновидностям трактовки роли общественности в "холодной войне"): один, согласно которому европейский фактор был едва ли не главным в числе тех, которые способствовали эскалации конфликта<sup>152</sup>; другой, фактически отрицающий за "европейским измерением" какую-либо роль в послевоенной международной политике и даже саму возможность, чтобы европейцы – на Западе или Востоке – вообще могли играть какую-либо самостоятельную роль<sup>153</sup>; наконец, третий, признающий за европейцами роль той силы, которая, по крайней мере потенциально, была в состоянии предотвратить "холодную войну".

Верно, однако, что первые два варианта – это далеко не адекватное решение проблемы "европейского измерения", а третий, наиболее близко

<sup>150</sup> См.: Егорова Е.В., Плешаков К.В. Бэконовские "призраки" в нынешнем мире // *Междунар. жизнь*. 1988. № 8. С. 87–95.

<sup>151</sup> Reynolds D. The Origins of the Cold War: the European Dimension, 1944–1951 // *Historical Journal*. 1985. Vol. 28, N 2. P. 515.

<sup>152</sup> В несколько утрированной формулировке Дж. Гэддиса речь идет о концепции "почти заговора" западноевропейцев по вовлечению США в конфликт с СССР (Gaddis J. The Long Peace. P. 45).

<sup>153</sup> Интересно, что самым ярким представителем этого варианта является американский историк Т. Патерсон – тот же самый, кто наиболее ярко представлял точку зрения о пассивности американского общественного мнения перед лицом политики администрации.



подходящий к такому решению, разработан гораздо слабее, и отнюдь не всегда его немногочисленные разработчики идут по оптимальному пути. Так что по сути своей оценка Д. Рейнолдса не так уж далека от истины.

Рассмотрим имеющиеся варианты. Прежде всего следует заметить, что западные историки, как правило, ограничивают свое рассмотрение "европейского измерения" лишь отношениями между Западной Европой и США; остальная Европа, ее отношения с США и СССР, отношение СССР к Европе – все это по большей части трактуется в рамках давно уже устоявшейся схемы, будто США не очень-то интересовались Восточной Европой, что последняя изначально находилась в полной зависимости от СССР, который, в свою очередь, столь же изначально преследовал цель ее "советизации", а сверх того, еще и намеревался захватить, если не путем открытого нападения, то путем "подрыва изнутри", и Западную Европу.

В последнее время, правда, эта схема в какой-то степени подверглась эрозии. Западногерманский историк В. Лот категорически отверг версию о западноевропейских коммунистах как "пятой колонне Кремля", преисполненных идеей насильственного свержения существовавшего в их странах строя<sup>154</sup>. Ни один серьезный историк ныне не разделяет версии о "советском вмешательстве" в гражданскую войну в Греции – то, что когда-то явилось чуть не главным пропагандистским обоснованием "доктрины Трумэна"<sup>155</sup>. Даже весьма консервативные историки типа Р. Дугласа отмечают, что по крайней мере какое-то время после Потсдама во всех европейских странах, не только на Западе развитие шло по демократическому руслу<sup>156</sup>. Ч. Майеру принадлежит разумное замечание, что само разделение Европы на Западную и Восточную приобрело политический смысл только в 1947 г., не ранее того<sup>157</sup>. Наконец, все больше появляется научных исследований, показывающих гигантский размах вмешательства США во внутренние дела европейских стран – и на Востоке, и на Западе, где они вообще чувствовали себя в положении хозяев. Разница в политике США по отношению к обеим частям Европы состояла поэтому, очевидно, не столько в разных степенях "заинтересованности", сколько в разных степенях возможностей вмешательства. Но разница эта объективно существовала, а потому выделение в рамках "европейского измерения" послевоенных международных отношений пары США – Западная Европа в принципе оправданно. Другое дело, с каких методологических предпосылок трактуются эти отношения.

Совершенно непродуктивно, и более того – порочно, противопоставление "европейцев вообще" и "американцев вообще" в духе таких генера-

<sup>154</sup>Loth W. Die Teilung der Welt. S. 59–60.

<sup>155</sup>Правда, довольно стойко сохраняется тезис, что эта пропаганда основывалась всего лишь на ошибке вашингтонских аналитиков. Опять "мисперцепция"! См.: Taubman W. Op. cit. P. 80, 149.

<sup>156</sup>Р. Дуглас делает исключение только для ситуации в Греции и Югославии; учитывая, что СССР не осуществлял контроля в этих странах, очень сложно по-прежнему объяснять ужесточение западной политики неудовольствием антидемократической практикой СССР в его "сфере влияния" – (Douglas P. Op. cit. P.121.)

<sup>157</sup>Maier Ch. Die konzeptuelle Grundlagen des Marshall-Planes // Der Marshall-Plan und die europäische Linke. S. 53.

лизующих суждений: "общественное мнение в Англии было более антисоветски настроено, чем в США"<sup>158</sup>, или: "большинство американцев, в отличие от большинства англичан, предпочитало фашизм коммунизму"<sup>159</sup> (противоположность приведенных псевдоистин лишь подчеркивает их антинаучность).

В то же время вполне допустимо поставить вопрос о том, насколько различия в политической культуре и историческом опыте народов США и стран Европы сказались в их различной подготовленности к восприятию далеко не простых реалий послевоенного мира. Ответ, на наш взгляд, будет заключаться в том, что как раз европейцы были лучше подготовлены в этом плане, а потому и их в принципе было гораздо труднее сподвигнуть на рельсы конфронтационного мышления.

Косвенно, но достаточно четко это различие проступает при сравнении трудов европейских и американских историков. У последних, от У. Липмана до Дж. Гэддиса, красной нитью проходит та мысль, что нормальные отношения между США и СССР возможны лишь на основе раздела мира на "сферы влияния". Эта мысль, в свою очередь, покоится на молчаливом признании в качестве аксиомы того положения, что в мире в принципе возможны лишь две формы общественно-политического устройства – "западная демократия", представляемая прежде всего США, и "восточная деспотия", представляемая Советской страной. Совсем иной в этом отношении подход в европейской историографии.

Швейцарский историк Й. фон Салис писал вскоре после войны в весьма консервативной "Нойе Цурхер цайтунг" (он вел там постоянную рубрику историка; позднее опубликовал сборник своих статей в виде отдельной книги): «Хорошо сделают, если не будут предаваться ожиданиям, что во всех, а особенно в восточноевропейских странах будущей государственной формой будет демократия по образцу XIX в. Понятия свободы и демократии подвержены изменениям, и не стоит считать, что эти изменения связаны непременно с грубыми трюками на выборах или с навязанной извне "советизацией"»<sup>160</sup>. В той или иной мере признания того факта, что народы стран Центральной и Юго-Восточной Европы после освобождения от фашизма столкнулись с проблемами, для решения которых требовались новые, нетрадиционные методы, выходящие за рамки "демократии XIX века", что коммунисты предложили наиболее адекватные варианты решения этих проблем, что это обеспечило им определенную поддержку широких масс, что поначалу программа народной демократии принесла неплохие плоды – все эти признания довольно широко представлены в исторических трудах западноевропейских историков, в том числе и довольно консервативной направленности. Подводя итоги этих исследований, Д. Рейнолдс, тот самый автор, который ввел в обращение понятие "европейского измерения" в "холодной войне", дает довольно объективную, на наш взгляд, оценку: «"В своей начальной фазе созда-

<sup>158</sup> McNeill W.H. *America, Britain and Russia: Their Cooperation and Conflict, 1941–1946*. Oxford etc., 1953. P. 661.

<sup>159</sup> Balfour M. *Op. cit.* P.5.

<sup>160</sup> Salis J.R. von. *Weltchronik 1939–1945*. Zürich, 1966. S. 551–552.

ние "народных демократий" позволило коммунистам начать политическую и экономическую перестройку без особо явных нарушений западных представлений о политическом либерализме, каковым был бы захват власти... Народная демократия (интересно, что здесь уже автор не ставит это словосочетание в кавычки. – А.Ф.) была в какой-то степени искренней попыткой найти новый путь к социализму, включающий в себя политический плюрализм, учет национальных чаяний и сохранение крестьянской собственности"<sup>161</sup>.

Другими словами, западноевропейская историография, отражая определенные характеристики европейской политической культуры, проявляет более реалистический подход к проблеме разнообразия путей и форм общественного развития, нежели поляризованный подход Запад–Восток, а тем самым более реалистична и ее трактовка альтернативности послевоенного развития. Можно сказать, что в этой трактовке больше оптимизма.

Более реалистический подход западноевропейские историки проявляют в трактовке специфических особенностей *исторического опыта* европейцев, особенно опыта второй мировой войны, и влияния этих особенностей на европейский менталитет. В принципе и американские историки отмечают некоторые отличия в этом отношении между американцами и европейцами: Л. Уитнер, вспомним, констатировал, что американцы гораздо меньше, чем европейцы, ощутили на себе бедствия и лишения войны, что европейцы гораздо более точно воспринимали, какая держава внесла больший вклад в дело разгрома фашизма. Однако Л. Уитнер сделал отсюда вывод, как уже указывалось, несколько упрощенный – о большей "конфронтационности" американцев. Вернее был бы, видимо, другой вывод – о том, что опыт войны в большей степени способствовал изживанию у европейцев тех стереотипов и представлений, которые внушались антикоммунистической пропагандой и традициями добродетельного мешанства.

В этом отношении представляют интерес высказывания французского историка А. Гроссера в той книге конца 70-х годов, где он уже ушел от ампулы смелого критика "ортодоксии", которое было для него характерно в 50-х – начале 60-х годов, но сохранил качества вдумчивого, серьезного исследователя. А. Гроссер видит, по сути, тройкое влияние опыта войны на европейцев: это, во-первых, рост авторитета коммунистов и Советского Союза, во-вторых, падение авторитета буржуазных политиков и США (соответствующая, правда далеко не бесспорная, формула его звучит: "антисоветизм оказался подорванным в большей степени, чем антиамериканизм"<sup>162</sup>), в-третьих, усиление популярности в широких массах идей социализма, которые воспринимались как наследие движения Соппротивления<sup>163</sup>. Отражая свои новообетенные консервативные пред-

<sup>161</sup> Reynolds D. Op. cit. P. 515.

<sup>162</sup> Термин "антиамериканизм" носит сугубо националистический характер; его употребление для характеристики европейского менталитета представляется неудачным.

<sup>163</sup> Grosser A. Les Occidentaux. P., 1978. P. 71.

почтения, данный французский историк в общем негативно оценивает отмеченные им тенденции<sup>164</sup>. Иную оценку мы видим у историков более левой ориентации.

Западногерманский (ныне австрийский) историк Р. Штейнингер, напомнив об относившемся к июлю 1946 г. высказывании западногерманского политика социал-демократа В. Агартца о "социалистическом духе времени" в послевоенной Западной Европе, вполне определенно прокомментировал его как "абсолютную истину". "Путь к социализму", отмечает он, был "насильственно прерван планом Маршалла". Это суждение уже полностью противоречит и первому, и второму вариантам трактовки роли "европейского измерения": не европейцы "заставили" США вмешаться, а, напротив, это вмешательство (определяемое как насилие) нарушило "нормальный" (социалистический в представлении Р. Штейнингера) путь европейской истории. Альтернатива, таким образом, существовала; "европейского вакуума" не было<sup>165</sup>.

Не будучи в состоянии найти на общеевропейском уровне аргументы в пользу концепции "европейской инициативы" в "холодной войне", ее сторонники обращаются к отдельным ее национальным вариантам. Мы уже упоминали о точке зрения Э. Нольте, согласно которой западные немцы, а именно западногерманские и западноберлинские социал-демократы, отказавшись объединяться с коммунистами, стали теми "гусьями, которые спасли Рим", т.е. первой в послевоенном мире политической силой, отказавшейся подчиниться, остановившей "лавину с Востока"<sup>166</sup>.

Нельзя сказать, что эта идея нашла многочисленных сторонников среди коллег Э. Нольте. Однако критика в его адрес – довольно единодушная – сводится главным образом к тому, что западногерманский автор явно преувеличил реальное международное значение событий в своей стране в тот период. На первый взгляд критика эта вполне обоснованна: Германия в 1946 г., когда развернулась политическая борьба вокруг объединения двух немецких рабочих партий, была побежденной, оккупированной страной, не имевшей своего правительства и контролируемой властями четырех держав-победительниц. Какие бы события в ней ни происходили – могли ли они иметь какое-либо влияние в общеевропейском, а тем более в общемировом масштабе? Да и насколько любые такие события отражали собственную волю немцев? Не шла ли речь просто о манипуляциях великих держав, использовавших немцев как своих марионеток?

<sup>164</sup> "Социализм Сопротивления", по его мнению, генетически связан с идеологией его антагонистов: он-де был "продолжением дирижизма Муссолини, Гитлера и Виши".

<sup>165</sup> *Der Marshall-Plane und die europäische Linke*. S. 489. Кстати, признание того, что в первый послевоенный период "социалистический дух времени" стал доминирующим фактором в политической жизни в западных зонах Германии, содержится и в официальном издании правительства ФРГ, выпущенном к 40-летию создания этого государства. См.: *Deutschland-Handbuch: Eine doppelte Bilanz, 1949–1989*. Bonn, 1989. S. 248.

<sup>166</sup> *Nolte E. Deutschland und der Kalte Krieg*. München, 1974. S. 208.

Все эти вопросы законные, тем более что, по крайней мере о ситуации в западных зонах, историки давно уже располагают фактами о высокой степени вмешательства и влияния оккупационных властей на внутригерманские дела<sup>167</sup>. Более противоречивы оценки ситуации в советской зоне: западные историки обычно говорят о полном контроле над политической жизнью со стороны Советской военной администрации (СВАГ), в то время как историки бывшей ГДР единодушно писали о полностью самостоятельных действиях прогрессивных сил, которым СВАГ просто оказывала помощь (истина, очевидно, где-то посередине<sup>168</sup>). Учитывая все эти моменты, все же, на наш взгляд, было бы неверно говорить о немцах как простых объектах политики великих держав и заранее девальвировать значение их акций для внешнего мира.

Дело в том, что как раз наличие конкурирующих политик в разных зонах Германии и наличие возможности для немцев сравнивать эти политики и их результаты ограничивали возможности оккупационных властей применять особо репрессивные и вообще непопулярные меры в отношении немецкого населения в своих зонах, тем более что Германия с ее промышленным и иным потенциалом даже в условиях поражения представляла собой фактор, который нельзя было не учитывать. В этом отношении кажущаяся "идеальность" германского примера для обоснования тезиса о "пассивности" и "малозначимости" "европейского измерения" представляется обманчивой. Но это никак не подтверждает и тезис Нольте о западных немцах как авангарде армии "холодной войны".

Речь в данном случае должна идти, по нашему мнению, не о выборе между первым вариантом (европейцы, а в данном случае немцы, как фактор конфронтации) и вторым (об их нулевой роли), а о констатации того, что факт, о котором говорит Э. Нольте, – создание СЕПГ, как бы его ни оценивать, – это событие, во-первых, прежде всего германской истории, а не истории международных отношений и, во-вторых, даже в аспекте внутригерманском – событие, вовсе не повлекшее за собой обострение политической обстановки, а тем более конфронтацию. Во всяком случае,

<sup>167</sup>По мнению западногерманского историка Л. Нитхаммера, выборы в западных зонах "прошли до того, как сформировалось самостоятельное общественное мнение немцев, и попросту зафиксировали отношения партий по веймарскому образцу, реставрированные западными оккупационными властями". Английский историк М. Бальфур, располагающий, как уже говорилось, богатым личным опытом в германских делах, со своей стороны прямо отмечает: «Американское влияние сыграло большую, по-видимому даже решающую, роль в предотвращении социализации [в Западной Германии]». Рассекреченные в 80-е годы архивы американской военной администрации в Германии (ОМГУС) показывают огромный размах работы осведомителей американских спецслужб в немецких партиях и профсоюзах. См.: *Aussenpolitische Perspektiven des westdeutschen Staates*. München, 1971. Bd. 1. S. 33; *International Affairs*. 1977. Jan. Vol. 53, N 1. P. 121; *Frankfurter Rundschau*. 1983. 18. Aug.

<sup>168</sup>Более сбалансированные оценки политики СВАГ, содержащие, в частности, критику антисоветских штампов времен "холодной войны", можно обнаружить и на страницах книг весьма консервативных историков. См.: *Buttlar W. von. Ziele und Zielkonflikte in der sowjetischen Deutschlandpolitik 1945–1947*. Stuttgart, 1980. S. 110. Ср.: *Feis H. From Trust to Terror: The Onset of the Cold War*. N.Y., 1971. P. 591.

именно об этом говорят имеющиеся первоисточники, в частности документы ОМГУС (с копиями некоторых автор имел возможность ознакомиться в архиве Института современной истории в Мюнхене). Особенно показательны материалы сводок, регулярно составлявшихся разведотделом штаба американского воинского контингента в Берлине о положении в восточной зоне; они предназначались отнюдь не для пропагандистских целей, и составители их скорее были склонны драматизировать оценки, чем наоборот. Тем не менее вот как в одной из сводок представлено празднование в Берлине Первого мая, буквально через несколько дней после акта объединения двух партий: митинг в Люстгартене собрал 200–250 тыс. участников, проходил под лозунгами СЕПГ, но присутствовали и группы социал-демократов, отказавшихся присоединиться к новой партии; ораторы от СЕПГ не допустили “никаких явно недружественных высказываний в адрес [западных] союзников” или в отношении социал-демократов, оставшихся за пределами СЕПГ; царил обстановка “неписаного перемирия”. Другая сводка сообщает о слухах (информация о таковых вообще занимает большое место в просмотренных нами материалах этого рода), согласно которым в ближайшее время ожидается соглашение между союзниками о выводе войск из Германии<sup>169</sup>. В общем, если и отмечались изменения, то никак не в сторону конфронтации.

В западной историографии встречается порой тезис, что с даты образования СЕПГ и берет начало “холодная война”<sup>170</sup>, однако в большинстве работ последнего времени он не находит отражения. Западногерманский историк Х. Клессман, автор капитального труда по послевоенной истории Германии, кстати наиболее сбалансированного по своим оценкам, выражает мысль прямо противоположного свойства, нежели приверженцы идеи “немецкого первенства” в послевоенной международной конфронтации. Он пишет, в частности: «В 1945–1946 гг. линии конфликтов не совпадали с линией, разделявшей восточную и западные зоны; кое-что говорит в пользу того тезиса, что германский вопрос скорее задержал развязывание “холодной войны”, будучи поначалу чем-то “вроде скрепы для разваливавшегося союза”»<sup>171</sup>.

Тезис о “скрепе” весьма спорен (определенный смысл он имеет, по-видимому, в том отношении, что, как отмечалось нами выше, совместная

<sup>169</sup>Office of ACoFS, G-2, HQ, Berlin District, US Army, Observers' Memos N 162 (1946. May 6), N 177 (1946. May 9). Institut für Zeitgeschichte, Archiv, MF 260, 17/258–3/6.

В том же фонде ОМГУС сохранился, правда, и документ иного характера — с апокалиптическими описаниями советских планов (“захват Европы” и т.д.). Но и этот документ (недатированный проект аналитической записки) в практической своей части не идет дальше рекомендаций усилить оснащение ХДС и СДПГ пишущими машинками и автотранспортом и сделать представление советским членам союзного контрольного механизма о том, что создание СЕПГ — это-де нарушение Потсдамского соглашения. Пишущие машинки — это все же не орудие “холодной войны”, а форум межсоюзнических переговоров не ее арена.

<sup>170</sup>Krisch H. German Politics under Soviet Occupation. N.Y., 1974. P. 202.

<sup>171</sup>Klessman Ch. Op. cit. S. 34. Автором этого тезиса Х. Клессман считает своего коллегу по исторической науке ФРГ Г. Грамля. См.: Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik, 1945–1949. München, 1976. S. 47.

борьба с фашизмом и совместный опыт по его искоренению создавали у персонала западных оккупационных сил определенный настрой солидарности с советскими людьми и становились препятствием для антисоветской пропаганды). Но и не придерживающийся этого тезиса английский историк М. Говард склонен датировать начало открытой конфронтации великих держав в германском вопросе не ранее как 1947 г.<sup>172</sup> Консервативный западногерманский историк А. Хильгрубер и вообще считает, что пришествие в Германию "холодной войны" следует отнести к рубежу 1948 и 1949 гг.<sup>173</sup>

Если же говорить о времени складывания того "консенсуса холодной войны", о котором Д. Ергин и Р. Леверинг говорили в применении к США, то для западногерманского контекста следует наметить еще более позднее время – 1952–1953 гг. Многие историки отмечают распространение пацифистских, нейтралитетских настроений в массе западногерманского населения, что весьма затрудняло создание в ФРГ массовой армии – то, что в планах западных стратегов занимало приоритетное место в условиях, когда конфронтация приближалась к своему апогею.

Западногерманский историк Г. Веттиг, не скрывающий негативного отношения к решениям союзников по демилитаризации Германии, с явным неудовольствием отмечает "совершенно неожиданный успех" этой идеи в немецком народе. И даже для периода, когда "холодная война" уже набирала обороты, он считает нужным констатировать: "Общее настроение как внутри страны (ФРГ. – А.Ф.), так и за рубежом сводилось к ярко выраженному протесту против воссоздания немецких войсковых соединений"<sup>174</sup>.

Размах и сила оппозиции перевооружению ФРГ – предмет весьма различных трактовок и оценок. Г.-А. Якобсен придерживается точки зрения, что "форсированная политика западной (военной. – А.Ф.) интеграции сталкивалась со значительным внутренним сопротивлением" в ФРГ. Г. Грамль считает это сопротивление гораздо менее значительным, В. Лот ограничился тем, что просто привел оба этих мнения, не высказав собственного. Правда, его более поздняя работа показывает, что ему все же ближе тезис о достаточно сильной оппозиции населения ФРГ курсу Аденауэра – по крайней мере до второй половины 1951 г. Весьма оптимистична и оценка Лотом возможных (хотя и не сбывшихся) перспектив этой оппозиции: "То, что ведущие силы в западных внешнеполитических ведомствах не желали решения [германского вопроса] на основе нейтрализации, еще вовсе не доказывает невозможности принудить их силой общественного мнения начать такие переговоры"<sup>175</sup>. В такой форме о

<sup>172</sup>Howard M. Op. cit. P. 13, 15.

<sup>173</sup>Hillgruber A. Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit, 1945–1963. München, 1981. S. 55. Что касается самой "холодной войны", то, по его мнению, она шла еще с 1945 г. Идея такого временного разрыва между "глобальным" и "германским" аспектами конфронтации малообоснованна.

<sup>174</sup>Wettig G. Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung in Deutschland, 1943–1955. München, 1967. S. 140, 251.

<sup>175</sup>Aspekte der deutschen Wiederaufrüstung bis 1955. Boppard, 1975. S. 61–117; Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1977. H. 4. S. 821–824; Loth W. Die Teilung der Welt. S. 289, 292; Kalter Krieg und Deutsche Frage. S. 352, 355–356, 360.

потенциале общественного мнения из западных историков, пожалуй, никто не высказался. Дело, впрочем, не только в потенциале. Исследования Р. Штейнингера, в частности впервые введенные им в научный оборот материалы секретных совещаний Аденауэра с западными верховными комиссарами в ФРГ, показывают, насколько они были озабочены антимилитаристскими установками, выдвинутыми тогда западногерманской социал-демократией<sup>176</sup>.

В целом можно сказать, что историография, особенно новые труды, появившиеся в результате более широкого доступа к архивным первоисточникам, никак не подтверждают тезис о том, что "немецкий фактор" в "европейском измерении" действовал однозначно в сторону конфронтации, играл роль ее катализатора.

Весьма распространены концепции, отводящие такую роль французскому фактору. Приводятся при этом среди прочих и такие соображения: французская официальная линия в отношении Ялты и Потсдама всегда была линией полного неприятия, в то время как, положим, США и Великобритания все же были как-то связаны решениями этих конференций, воплощавших единство союзников; во Франции, в том числе и в правительственных кругах, сильнее всего проявился тот "великий страх" в связи с ожидавшимся "советским вторжением", о котором, как мы видели выше, несколько иронически отзывался М. Говард<sup>177</sup>; наконец, французская тактика в кризисных ситуациях была-де наиболее жесткой, негибкой – там, где даже американцы или англичане готовы были на компромисс, позиция Франции обрекала такие попытки на крах и неудачу.

Рассмотрим эти соображения. Первое – об отношении Франции к Ялте и Потсдаму. Оно все же было не столь уж однозначным, как это принято считать. Прежде всего следует сказать, что и сами эти соглашения были не так уж однозначны, как это априори утверждалось еще до недавнего времени в советской историографии. Имперское мышление, характерное в разной степени и формах для всех участников "большой тройки", не могло не наложить, конечно, своего отпечатка на принимавшиеся ими решения. К примеру, демократические положения ялтинской Декларации об освобожденной Европе в известной мере обесценивались отсутствием механизма проверки их исполнения; в потсдамских решениях, касавшихся германской экономики, чувствовалось влияние идей "деиндустриализации" Германии, которые вели свое происхождение от известных планов "карфагенского мира", распространенных в США и Великобритании и отражавших стремление избавиться от конкурента<sup>178</sup>. В этом смысле критическое отношение к некоторым положениям доку-

<sup>176</sup>Kalter Krieg und Deutsche Frage. S. 370.

<sup>177</sup>Интересно, что выражение "великий страх" дано им на французском языке ("la grande peur"): очевидно, эта идиома французского происхождения.

<sup>178</sup>Следует по достоинству оценить научную смелость советских историков А.А. Галкина и Д.Е. Мельникова, которые в обстановке, когда для оценки Потсдама считался приемлемым исключительно тон парадного славословия, отметили и его недостатки. См.: Галкин А.А., Мельников Д.Е. СССР, западные державы и германский вопрос (1945–1965 гг.). М., 1966. С. 60.



ментов обеих конференций было вполне оправданно<sup>179</sup>, хотя нельзя отрицать и того факта, что во французской политике в германском вопросе наблюдалась тенденция "исправить" потсдамские положения в сторону ухудшения.

Однако, по нашему мнению, нельзя отдельные, частные дефекты и Ялты, и Потсдама отождествлять с их основным содержанием и соответственно те или иные позиции, относящиеся к этим частностям, с позицией в отношении того главного, чем ценны эти союзнические договоренности. Что же касается этого главного (назовем такие моменты, как фиксирование новых границ, наказание нацистских преступников, наконец, идея европейского "единства в многообразии"), то здесь Франция была не только пионером, но и, пожалуй, самым последовательным толкователем.

Приведем лишь один пример. В мае 1944 г. В. Ориоль, вскоре ставший первым послевоенным президентом Французской республики, высказал такие мысли о перспективах послевоенной Европы: в восточной ее части на основе договоров, заключенных и предполагаемых к заключению между СССР и его соседями, возникает "зона безопасности, благосостояния и дружбы", основанная на "сохранении независимости малых государств"; аналогичная зона (или группа) возникает и на Западе; обе группы сотрудничают, в будущем создается их общая организация, а затем — европейская федерация<sup>180</sup>. В общем, "ялтинский порядок" вполне мог бы развиваться в этом направлении, если бы не "холодная война" (и многие нынешние идеи о строительстве "общеевропейского дома", несомненно, отталкиваются от этих представлений).

Сравним: в октябре 1945 г. госсекретарь США Дж. Бирнс произнес одну из последних речей в духе, по крайней мере невраждебном к СССР; там он заявил, что он не против "дружеской ассоциации" между СССР и его соседями в Восточной Европе. Но он определил такую ассоциацию как выражение "советской доктрины Монро" и вполне прозрачно намекнул, что СССР имеет право вмешиваться во внутреннюю жизнь стран этого региона (в этом плане американский госсекретарь может рассматриваться как изобретатель "доктрины Брежнева")<sup>181</sup>. Нетрудно видеть, что Бирнс акцентировал имперские элементы в толковании Ялты, в то время как В. Ориоль предвосхищал общедемократическое содержание союзнической программы мира, т.е. то, что, с нашей точки зрения, было в ней основным, определяющим, исторически ценным и значимым<sup>182</sup>. Соот-

<sup>179</sup>Этот момент, на наш взгляд, несколько затушеван в статье американского историка М. Леффлера: даже отмечаемые им "двузначности" в тексте Ялтинского комюнике он считает почти что достоинствами. В целом, повторим, статья представляет собой убедительную критику версии об односторонних советских нарушениях ялтинских соглашений. См.: *Leffler M. Adherence to Agreements. Yalta and the Experiences of the Early Cold War // International Security*. 1986. Vol. 11, N 1. P. 90.

<sup>180</sup>Цит. по: *Europa-Föderationspläne der Widerstandsbewegungen, 1940–1945: Eine Dokumentation / Hrsg. von W. Lippens. München, 1968. S. 242–243.*

<sup>181</sup>*New York Herald Tribune*. 1945. Nov. 1. Ср.: *Thomas B. Cold War Origins II // Journal of Contemporary History*. 1968. Vol. 3, N 1. P. 186.

<sup>182</sup>В этой связи нам представляется слишком недифференцированной та критика Ялты как выражения "имперского мышления", которая высказывается в послед-

ветственно было бы исторически неверным считать Францию принципиальным противником такой программы<sup>183</sup>.

О "великом страхе". Этот феномен во Франции, видимо, действительно имелся, и, скорее всего, речь шла об искреннем заблуждении даже ведущих французских политиков. В этом отношении они находились в ином положении, чем политики США и Великобритании: последние манипулировали "советской угрозой", французские политики по большей части являлись *жертвами манипуляций*. Вероятно, сказывалось среди прочих и то обстоятельство, что новосформированный внешнеполитический аппарат Четвертой республики не располагал в первые послевоенные годы самостоятельными источниками информации и вынужден был полагаться на те искаженные в алармистском духе сведения, которые поставлялись англичанами и американцами. Впрочем, новейшие исследования французских историков свидетельствуют о том, что французское руководство в какой-то мере осознавало истинную цену панических слухов и, что самое главное, придерживалось мнения, что наиболее разумным и в кризисной обстановке непосредственного кануна "холодной войны" остается не путь конфронтации, а путь переговоров. В коллективной монографии, объединившей в качестве авторов ведущих французских специалистов по послевоенной внешней политике Франции, отмечается, в частности, что "в 1947 и начале 1948 г. [во французских правящих кругах] царил надежда, что удастся остаться на полпути между Америкой и Советами", что в дипломатических кругах тогдашнего главного распространителя панических слухов – американского генерала Клея характеризовали как человека, "свихнувшегося на антикоммунизме", что уже в самом преддверии "берлинского кризиса" президент В. Ориоль и министры-социалисты (правительство тогда было коалиционным) ратовали за то, чтобы выступить с инициативой проведения нового тура переговоров с СССР, и это было отвергнуто США и Великобританией<sup>184</sup>.

Ввиду этих фактов тезис о французской позиции как самой негибкой и даже провокационной выглядит как своеобразное историографическое недоразумение. Один пример: В. Лот выдвинул сенсационную версию об "упущенной возможности" в последний момент предотвратить конфронтацию в сердце Европы; американцы-де уже были готовы пойти на уступки в германском вопросе, но этому помешала позиция французов, в результате чего и разразился "берлинский кризис". Учитывая, что В. Лот – серьезный историк, склонный к сбалансированному подходу, да к тому же по своей узкой специализации французовед, сенсацию нельзя было не

---

нее время некоторыми советскими авторами. См., например: Борко Ю., Орлов Б. Что нам стоит общеевропейский дом построить // *Мировая экономика и междунар. отношения*. 1990. № 1. С. 57–58.

<sup>183</sup>Кстати сказать, по одному из наиболее острых вопросов интерпретации Ялтинского соглашения, польскому, французские дипломаты в свое время выражали полное согласие с советской позицией. См.: *Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945*. М., 1983. Т. 2. С. 301.

<sup>184</sup>*La Puissance Française en Question (1945–1949) / Sous la direction de R. Giraud et R. Frank*. P., 1988. P. 21, 23.

воспринять серьезно. Однако его коллега Э. Вайзенфельд, проведя соответствующую экспертизу, установил: никакого примирительного демарша американцы французам не предлагали и соответственно никакой негативной реакции Франции на него не было в природе<sup>185</sup>. Более точными следует признать те факты и интерпретации, которые свидетельствуют, что из всех трех западных держав Франция меньше всех готова была идти напролом в обострении ситуации вокруг Берлина<sup>186</sup>.

В целом можно резюмировать, что концепция, отводящая Франции роль катализатора конфронтации и роль "спасителя" Запада, с точки зрения консервативных историков, или "виновника" неиспользования имевшихся возможностей сотрудничества, с точки зрения их либеральных оппонентов, — эта концепция пользуется в последнее время не слишком большим кредитом доверия.

Наконец, о различных оценках роли английского фактора в "холодной войне". Довольно широко представлена та, что определяет ее как роль не просто инициатора, но и *организатора* политики противостояния, прилагавшего вначале безуспешные, а затем все более успешные усилия по преодолению чуть ли не пацифистских иллюзий американских лидеров.

Аргументы сторонников такой интерпретации? Вот некоторые из них: не кто иной, как британский политик Черчилль, еще до фултонской речи в ходе секретных контактов с американскими лидерами убедил их в реальности "советской угрозы" и тем вызвал поворот в американской политике<sup>187</sup>; появление "доктрины Трумэна" было вызвано хитроумным маневром английского министра иностранных дел Бевина, который, имитировав "уход" англичан из Греции, буквально "заманил" туда доверчивых американцев<sup>188</sup>; тот же Бевин, превратив туманные фразы американского госсекретаря в его гарвардской речи в осязаемую плоть конкретной программы, явился подлинным творцом того, что вошло в историю как "план Маршалла", хотя по справедливости ему следовало бы называться "планом Бевина"<sup>189</sup>; наконец, и НАТО — это в первую очередь плод английских усилий: Бевин проявил инициативу в постановке этой идеи на обсуждение, английская дипломатия была ее главным двигателем<sup>190</sup>.

<sup>185</sup>Loth W. Träume vom Deutschen Reich? // Die Zeit. 1984. 12. Okt.; Weisenfeld E. Welches Deutschland soll es sein? Frankreich und die deutsche Einheit seit 1945. München, 1986. S. 42.

<sup>186</sup>Klessman Ch. Op. cit. S. 192. Ч. Киндлбергер, лично посвященный в тонкости отношений между западными союзниками, решительно отвергает версию об особо obstructионистской роли Франции в германском вопросе. См.: Kindleberger Ch. Marshall Plan Days. Boston. 1987. P. 186—187.

<sup>187</sup>Harbutt F. The Iron Curtain. Churchill, America and the Origins of the Cold War. N.Y., 1986.

<sup>188</sup>Williams F. Ernest Bevin. L., 1952. P. 263; Barker E. Britain in a Divided World. L., 1971. P. 68—69; Bullock A. Op. cit. P. 368—371.

<sup>189</sup>Sked A. Die britische Arbeiterbewegung und der Marshall-Plan // Der Marshall-Plan und die europäische Linke. S. 409.

<sup>190</sup>Bullock A. Op. cit. P. 530; Folly M. Breaking the Vicious Circle: Britain, the United States and the Genesis of the North-Atlantic Treaty // Diplomatic History. 1988. Vol. 12, N 1. P. 59—77; Woyke W. Der Haus Europa aus westeuropaischer Sicht // Perspektiven für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa / Hrsg. von H.-D. Jacobsen, A. Machowski, D. Sager. Bonn, 1988. S. 72.

Правда, это не единственная линия интерпретации и аргументации. Есть и другая, полярно противоположная: антисоветизм Черчилля не отражал ни настроений большинства англичан, ни даже тенденций в официальных лондонских кругах; во второй половине 1945 г. произошло "изменение ролей" в тандеме США–Великобритания: лейбористское правительство Эттли стало склоняться к рузвельтовскому курсу, а правительство Трумэна – к черчиллевскому<sup>191</sup>; Бевин совершенно необоснованно приписал себе определенную, а тем более решающую роль в появлении "доктрины Трумэна" – она уже давно планировалась в Вашингтонских коридорах власти<sup>192</sup>; то же относится и к "плану Маршалла" – роль Великобритании в нем свелась к попыткам, притом неудачным, выторговать себе привилегированный статус среди прочих участников; нельзя считать, что Англия тогда лидировала по части жесткости в отношении СССР: она заключила довольно обширное торговое соглашение с ним, что вызвало "большое негодование" со стороны США; кроме того, Бевин высказывался в том смысле, что германская угроза – вещь более реальная, чем советская угроза, так что и здесь особой ослепленности антисоветизмом не фиксируется<sup>193</sup>; наконец, что касается НАТО, то его происхождение – отнюдь не английское, а заокеанское (хотя порой утверждает, что идея исходила скорее не от США, а от Канады)<sup>194</sup>.

Какая из этих двух линий аргументации и интерпретации преобладает? Ответить нелегко, так же как нелегко и однозначно отдать предпочтение концепциям, в которых воплощаются эти положения. Ограничимся лишь некоторыми замечаниями, основанными на анализе мнений арбитров, самих спорящих сторон и тех фактов, которые они приводят.

Книга Ф. Харбэтта, в основе которой лежит тезис о решающей роли Черчилля в переориентации американской политики на курс конфронтации, была в 1987 г. обществом американских историков-международников отмечена как лучшая книга года. Однако вот что пишет о ней доброжелательный в общем рецензент: «Хотя Харбэтт прав, жалуясь на "американоцентризм" в изучении "холодной войны", он сам виновен в "англоцентризме", явно преувеличивая роль английской дипломатии. Трудно принять его утверждение, что Черчилль, да еще за один вечер (буквально!) 10 февраля 1946 г. перевернул всю американскую внешнюю политику. Харбэтт недооценивает степень американской враждебности к Советам, возросшей с осени 1945 г., и переоценивает степень внезапности, с которой Трумэн изменил свою позицию»<sup>195</sup>. Здесь можно лишь уточнить, что вряд ли вообще можно говорить об изменениях в позициях Трумэна: его враждебность к СССР проявилась не осенью 1945 г., а с пер-

<sup>191</sup>Ryan H.B. A New Look on Churchill's "Iron Curtain" Speech // Historical Journal. 1979. Vol. 22, N 4. P. 896.

<sup>192</sup>Frazier R. Did Britain Start the Cold War? Bevin and the Truman Doctrine // Historical Journal. 1984. Vol. 27, N 3. P. 715–727.

<sup>193</sup>Aronsen L., Kitchen M. Op. cit. P. 138, 142, 143.

<sup>194</sup>Wheeler-Bennett J., Nicholls A. The Semblance of Peace. L., 1972. P. 582.

<sup>195</sup>Walker J. The Beginning of the Cold War: Prize-Winning Perspectives // Diplomatic History. 1988. Vol. 12, N 1. P. 100.

вых дней его президенства. С остальным же можно полностью согласиться.

Тезис о решающей (или хотя бы самостоятельной) роли Черчилля в развязывании "холодной войны" был весьма убедительно опровергнут еще в 1979 г. в эссе английского историка Г. Райана «Новый взгляд на речь Черчилля о "железном занавесе"»; и сама идея ее произнесения, и ее содержание, как доказал Райан, были подсказаны отставному английскому политику его американскими партнерами, которых он, по мнению Харбэтта, якобы "переубеждал". Однако гораздо труднее согласиться с тезисом Г. Райана о рузвельтовских тенденциях в лейбористском правительстве Англии, равно как и с тем, что для Уайтхолла речь Черчилля в Фултоне была чем-то вроде грома с ясного неба. Несколько сердитых слов Бевина по адресу американцев в сентябре 1945 г. в связи с намерениями тех расширить число своих военных баз вовсе не обязательно толковать как его оппозицию "политике силы"; вполне можно предположить, что его скорее задело нежелание американцев согласовывать свои акции с британским партнером. Что же касается слов из письма Бевина Бирнсу в августе 1946 г., что "с нами никогда не консультировались по поводу каких-либо высказываний [Черчилля], а мы не выражали соответствующего желания", то их, конечно, можно понять как указание на то, что английское правительство не имело предварительной информации о содержании речи Черчилля, но сам же Г. Райан трезво замечает: "Тот факт, что Бевин сообщил об этом Бирнсу, вовсе не придает этому сообщению истинности"<sup>196</sup>. Гораздо больший вес, по нашему мнению, имеет тот факт, что текст речи Черчилля был оперативно распространен по всему миру по каналам британской информационной службы: вряд ли это имело бы место, если бы на то не было официальной санкции. Г. Райан, пользуясь инструментариями "оргмодели", объясняет все действиями аппарата, но подобные ссылки – плохое алиби для политиков.

Вполне оправданна и убедительная критика другого английского историка – Р. Фрейзера в адрес концепции (даже концепций) о "доктрине Трумэна" как "британском подкидыше" в добропорядочную американскую семью. Он вполне прав, отмечая, что речь шла не о спонтанной реакции США на "неожиданный" демарш Бевина, а о заранее продуманном с американской стороны акте, о "кульминации нормального процесса принятия политических решений" в *Вашингтоне*<sup>197</sup>. Несколько коробит разве только применение эпитета "нормальный" к процессу, коль уж называть вещи своими именами, обольванивания общестественности. Кроме того, если на вынесенный в заглавие эссе вопрос «Разве холодную войну начала Британия?» автор дает ответ – в принципе оправданный – "нет", то естественный вопрос, какую же все-таки роль играла в этом Британия, смазан. Скорее всего, мысль автора состоит в том, что никакую. Но такая критика "англоцентризма" – это простое возвращение к "американоцентризму", а не продвижение вперед.

---

<sup>196</sup>Ryan H. Op. cit. P. 904.

<sup>197</sup>Frazier R. Op. cit. P. 726.

По-видимому, наиболее сбалансированную позицию демонстрирует Д. Рейнолдс, когда комментирует мысли А. Буллока по поводу происхождения "плана Маршалла" (а они – это несколько смягченный вариант версии о "плане Бевина"). Во-первых, Д. Рейнолдс прямо констатирует, что А. Буллок "недооценивает роль США", во-вторых, находит, видимо, корректное психологическое объяснение такой недооценке: когда долгое время наблюдался крен в одну сторону, известный "перегиб" при "восстановлении равновесия" неизбежен; в-третьих (и это самое главное, с нашей точки зрения), отмечает, что "план Маршалла" был *координированным* мероприятием: разрабатывали его американцы, но они снабжали своих английских партнеров определенной информацией<sup>198</sup>; вывод ясен: английский фактор играл свою роль в развязывании "холодной войны", но роль не творца политики, а скорее исполнителя.

Наконец, относительно генезиса НАТО. Здесь, надо сказать, все еще доминирует версия о европейской, прежде всего английской, инициативе, что представляет собой определенный контраст с теми подвижками, которые наблюдаются в историографии "плана Маршалла". Акцент лишь переносится на описания тех уловок и хитростей, на которые-де приходилось идти европейским политикам, дабы увлечь американцев идеей атлантизма.

Против этой концепции восстает, однако, уже элементарная хронология событий. Первая инициатива с западноевропейской стороны по поводу будущего НАТО датируется мартом 1948 г. (послание Бевина Маршаллу 11 марта, на которое 12 марта последовал положительный ответ)<sup>199</sup>. Но американский историк Л. Каплан привел найденную им запись беседы между двумя высокопоставленными деятелями американской администрации Дж. Хикерсоном и Т. Акиллесом в декабре 1947 г., где говорилось, в частности: "Мы должны начать переговоры с Западной Европой о военном союзе – и побыстрее". Логичен вывод Л. Каплана: «"хитрость" европейцев (чтобы "заманить" США в НАТО. – А. Ф.) была в значительной степени излишней»<sup>200</sup>.

Каковы причины того, что Великобритания оказалась на положении ведомого, а не ведущего в движении к "холодной войне"? Есть тенденция, особенно у американских историков, объяснять все "разностью потенциалов" между двумя партнерами: мол, после второй мировой войны Великобритания обесилела, потеряла прежний статус мировой державы, а США, наоборот, повысили свой статус – так кому же быть

<sup>198</sup>Reynolds D. Op. cit. P. 509.

<sup>199</sup>Bullock A. Op. cit. P. 530.

<sup>200</sup>Kaplan L. Die Westunion und die militarische Integration Europas 1948–1950: Eine Darstellung aus amerikanischen Sicht // Die westliche Sicherheitsgemeinschaft, 1948–1950. Vorpard am Rhein, 1988. S. 39. Несерьезен и тезис о "канадской инициативе" в создании НАТО. В его обоснование приводится обычно речь канадского внешнеполитического эксперта Эскотта Фейда на конференции канадского Института международных отношений в августе 1947 г. Однако ни эта речь, ни последующее выступление министра иностранных дел Канады Л. Сенлорана не носили характера дипломатической инициативы, имея скорее пропагандистский характер. См.: Aronsen L., Kitchen M. Op. cit. P. 188, 190.

лидером, как не более сильному? Со стороны английских историков, порой даже весьма консервативной ориентации, такие рассуждения встречают критику, на наш взгляд, обоснованную. В самом деле, если, как мы констатировали выше, Великобритания смогла первой "поднять бунт" на атлантическом корабле (почему там и зародилась научная историография "холодной войны"), то, значит, не все определяется простым соотношением сил. На распределение ролей в период генезиса послевоенной конфронтации больше повлияло, думается, то обстоятельство, что в Великобритании (как и в других странах Европы) позднее сложилось то, что мы знаем как "консенсус холодной войны". Массы рядовых членов правящей лейбористской партии ("базис") оказывали давление на "верхи" в направлении против обострения международной напряженности, а это вело к противоречиям и колебаниям в формулировании политической линии.

Большой заслугой А. Буллока как историка останется то, что он в биографии Бевина отразил соответствующие факты и тем самым многое прояснил в характере тогдашней британской политики. Выявилось, в частности, принципиальное отличие ситуации в Великобритании от ситуации в США: если уже с сентября 1946 г. после увольнения Г. Уоллеса в американском правительстве не осталось никого, кто осмелился бы возражать президенту насчет мудрости политики наращивания напряженности, то в британском правительстве сам его глава К. Эттли еще в начале 1947 г. выражал сомнения по этому поводу (в частности, насчет целесообразности поддержки антидемократического режима в Греции)<sup>201</sup>. Дело не дошло до конфликта, "жесткая линия" Бевина победила, что лишний раз, по мнению А. Буллока, свидетельствует о высоких качествах его героя как политика. Но это чисто "вкусовое" суждение. Факт же остается фактом: в Великобритании сопротивление политике "холодной войны" существенно сказалось на замедлении складывания соответствующего консенсуса даже в самых "верхах".

То же можно сказать и о Европе в целом. Но дело не ограничивалось только "запаздыванием" европейцев со вступлением на стезю конфронтации<sup>202</sup>. Д. Ергин, например, привел интересные факты о том, как были *сорваны* некоторые милитаристские планы американских стратегов в

<sup>201</sup>Bullock A. Op. cit. P. 339–350. В качестве примера обоснованной критики тезиса об утере Великобританией роли самостоятельного политического фактора в послевоенном мире можно привести полемику британского историка В. Ротуэлла с американским историком Т. Патерсоном, хотя в общих оценках истории "холодной войны" концепция последнего предпочтительнее консервативно-ортодоксальной, характерной для его оппонента (см.: Kalter Krieg und Deutsche Frage. S. 88).

<sup>202</sup>Конечно, и само "запаздывание" немало значило. Французский историк и публицист А. Фонтэн выдвинул в свое время такую концепцию: оппозиция Франции перевооружению Германии сыграла роль в том, что реальное появление западногерманских дивизий пришлось уже на то время, когда наличие ядерного сдерживания у обеих сторон — у НАТО и ОВД — сделало войну в Европе немыслимой; таким образом, именно Франция спасла мир в Европе. Здесь, видимо, есть элемент полемического преувеличения, но именно только элемент. Ср.: Проблемы истории международных отношений и идеологическая борьба / Под ред. А.О. Чубарьяна. М., 1976. С. 181.

Европе – типа попыток милитаризации острова Борнхольм или расширения военных баз в Исландии<sup>203</sup>. Особенно ярко история реализованных возможностей противостояния конфронтационной линии США в европейских делах раскрыта в труде финского историка Ю. Невакиви на примере эпизода острой дипломатической борьбы вокруг проблемы формирования внешнеполитического курса Финляндии в самый канун “холодной войны” – в первые месяцы 1948 г.

Эпизод этот начался с того, что в Финляндии стали распространяться слухи о готовящемся “коммунистическом перевороте”. Западные дипломаты добились организации специальной встречи с президентом Финляндии Паасикиви, в ходе которой не только выразили свою озабоченность в связи с “происками коммунистов”, но и даже представили разработанную ими “программу действий”, которой, как они попытались внушить президенту, должно руководствоваться финское правительство. Этот демарш был отвергнут финской стороной. Попытка вмешательства во внутренние дела суверенного европейского государства, как совершенно справедливо Ю. Невакиви характеризует образ действий западных дипломатов, провалилась<sup>204</sup>.

Конечно, примеров такого эффективного отпора политике конфронтации, навязывавшейся европейским государствам извне, не слишком много. Неудивительно, что многие историки, даже тогда, когда они констатируют факт отрицательного отношения европейцев к такой политике, воспринимавшейся как политика американской экспансии, не придают большого значения “европейскому фактору” в “холодной войне”<sup>205</sup>. На наш взгляд, значительно более адекватный подход к истории демонстрируют те, кто отказываются от фатализма и безнадежности, а пытаются обнаружить имевшиеся *нереализованные возможности* европейского развития без “холодной войны”.

Обычно в таком случае речь заходит об идее “третьей силы” (помимо США и СССР), которая своим существованием могла бы смягчить конфликт Востока и Запада и не дать ему перерасти в конфронтацию. Об этой идее упоминают и серьезно ее рассматривают как леволиберальные

<sup>203</sup>Yergin D. Op. cit. P. 457, 461.

<sup>204</sup>Nevaliki J. Maanalaista diplomatiaa-vuosilta 1944–1948 jolloin Kylmä sota teki tuloaan Pohjoisaan. Helsinki, 1983. P. 91–114. Автор склонен считать, что инициатива в распространении слухов антикоммунистического характера исходила с финской стороны, а для их характеристики употребляет осторожную формулу об их преувеличенности. Более определенна оценка его коллеги П. Лаулаяйна: “Слухи о революции вентилировались намеренно и целенаправленно в качестве средства манипулирования общественным мнением”. См.: Scandinavian Political Studies. 1984. Mar. Vol. 7, N 1. P. 46.

<sup>205</sup>Тот же Т. Патерсон приводит высказывание Даллеса, сделанное им по возвращении из поездки в Европу в середине 1947 г.: «... даже в таких странах, как Англия и Франция, растет недовольство нашим “агрессивным империализмом”». Американский историк не делает, однако, напрашивающегося вывода: раз настроения европейцев беспокоили Даллеса (а обеспокоенность чувствуется), значит, “европейский фактор” заслуживает более высокой оценки, чем это соответствует его концепции. См.: Paterson T. Op. cit. P. 91.



историки типа В. Лота (ФРГ), так и правоконсервативные – типа его соотечественника А. Хильгрубера. Недавно она привлекла внимание авторов из Франции, написавших коллективную монографию о политике и политическом статусе их страны в первые послевоенные годы (мы упоминали о ней выше); их вывод в общем сводится к тому, что шансы на осуществление этой идеи невелики, учитывая, что “сила Франции была под вопросом” (так гласит заголовок книги). Весьма скептически относятся к программе “третьей силы” английские историки – примером может служить тот же М. Говард.

Думается, что такой скептицизм в немалой степени связан с тем обстоятельством, что предпосылкой создания “третьей силы” почти единодушно считается политическая интеграция Западной Европы, под чем понимается образование некой наднациональной общности, которая объединила бы хотя бы крупнейшие страны этого региона. Но даже если отвлечься от вопроса, соответствовала ли такая программа задаче сохранения общеевропейского единства, остается другой вопрос: соответствовала ли такая программа – даже в виде лозунга или предмета дискуссии – задаче сплочения хотя бы западноевропейцев (если уж не всех европейцев) и их объединения против гегемонистского вмешательства извне? Была ли она реалистична?

Ответ, причем отрицательный, можно получить уже из анализа высказываний самих западных историков, в том числе и тех, исходная позиция которых вроде бы предполагает ответ противоположного характера. Речь идет о тех высказываниях, которые они делают, пытаясь идентифицировать конкретных виновников краха послевоенных планов политической интеграции в Западной Европе. Вот что пишет, например, В. Лот: “Проект нежесткой ассоциации западноевропейских государств, которая имела бы целью самоутверждение по отношению к США и притупление конфликта Восток–Запад, не увенчался успехом из-за пассивности британского лейбористского правительства и претензий де Голля на лидерство в этой ассоциации”<sup>206</sup>. Со своей стороны А. Хильгрубер, говоря об идее “третьей силы” в облике “федерированной Европы”, приводит следующий перечень причин ее неудачи: прежде всего – противодействие... СССР (“рука Москвы”!), затем – примерно такое же отношение со стороны “находившейся под руководством британской лейбористской партии европейской социал-демократии” (что-то вроде “руки Лондона”!) и, наконец, “отсутствие первоначально ожидавшегося народного движения за единую Европу” (старая идея консерваторов: “чернь виновата”). В дальнейшем он включает в число грешников по части небрежения к делу “единой Европы” еще и Черчилля, и французское Народно-республиканское движение (МРП) – всех, кроме дорогого его сердцу Аденауэра<sup>207</sup>.

Что можно сказать при сопоставлении этих двух точек зрения (к ним можно добавить и другие, но картина существенно не изменится)? Оче-

<sup>206</sup>Loth W. *Franzosen und die deutsche Frage // Die Deutschlandpolitik Frankreichs und die französische Zone 1945–1949*. Wiesbaden, 1983. S. 35.

<sup>207</sup>Hillgruber A. *Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit 1945–1963*. S. 43.

видно, что каждый автор по-своему определяет круг грешников и героев. Это отражает их ценностные предпочтения, а в конечном счете – реальную противоречивость позиций разных политических сил в Западной Европе (и в настоящем, и в прошлом), а еще глубже – реальную противоречивость, а по сути *тупиловый* характер проблемы “политической интеграции” – по крайней мере в период, к которому относятся приведенные оценки.

Интересна в этой связи оценка британского историка М. Говарда. «История переговоров по созданию европейской (западноевропейской. – А.Ф.) “третьей силы”, – пишет он, – заслуживала бы пера великого сатирика» – и набрасывает такой сюжет соответствующей сатирической повести: англичане – за объединение, потребуют себе место выше других европейских государств, рядом с США, французы – тоже “за”, но на условии равного статуса с англичанами, западные немцы – тоже “за”, но прежде всего требуют равноправия, наконец, малые страны Европы со своей стороны вносят элемент “вполне оправданного недоверия” к действиям более крупных государств и т. д.<sup>208</sup>.

Британский историк, на наш взгляд, близко подошел здесь к истине: дело не в том, что лидеры Западной Европы, ее элиты *не хотели* политического объединения или не прилагали к этому достаточно усилий; они этого *хотели и добивались* (речь, разумеется, идет именно об элитах, ибо позиция широких масс была совсем иной, как это отмечено у Хильгрубера – и не только у него), но разные группы в разных странах – *на своих условиях*, а эти условия слишком расходились, чтобы о чем-либо конкретном можно было договориться. Отсюда вытекает и другое: чем более муссировалась эта тема, *формально* тема единства, тем меньше могло быть единства *на деле*, тем сильнее отталкивались друг от друга силы, которые (или хотя бы некоторые из них) могли бы в принципе найти общий язык по более актуальным и более реальным европейским проблемам – общеевропейского сотрудничества, противостояния конфронтационным инициативам из-за океана. Отсюда, собственно, ясно, кто был в первую очередь заинтересован в ориентировке европейской дискуссии на проблему “западноевропейского объединения”.

Активную роль США в постановке теме интеграции на повестку дня послевоенной политики западноевропейских стран признают, вообще говоря, многие западные историки – от правоконсервативных (типа К-Д. Брахера) до леволиберальных (типа того же В. Лота). Однако трактуют они этот феномен в духе идеи о некоем безбрежном альтруизме американских лидеров: мол, они только о том и мечтали, чтобы создать “сильную единую” Европу (Западную), а самим “уйти”. В частности, на этой идее и выстраивает свою концепцию “упущенного шанса” предотвращения конфронтации в Европе В. Лот<sup>209</sup>.

<sup>208</sup> Howard M. Op. cit. P. 17.

<sup>209</sup> “В результате разочарования недостатком у европейцев готовности к сотрудничеству и интеграции. . . США взяли на себя роль ведущей силы Западной Европы в гораздо большей степени, чем это ранее ими считалось необходимым или возможным” (Loth W. Die Teilung der Welt. S. 204).

Но сколь оправданно говорить об альтруизме американской политики и вообще о заинтересованности США в европейской интеграции, даже в рамках "малой Европы"? По нашему мнению, это одна из самых сложных и до конца не ясных проблем современной истории. Советская историография, отрицая альтруизм со стороны США, тем не менее в общем принимает тезис об американской поддержке западноевропейской интеграции<sup>210</sup>. Как представляется, здесь уместна более осторожная, дифференцированная оценка, учитывающая реалии политики "холодной войны".

Да, в общей форме можно сказать, что США были заинтересованы в европейском рынке, не стесненном таможенными барьерами, различиями в законодательной и административной практике и т. д., и в этом смысле они были за единую Европу. Но не в меньшей, а, пожалуй, даже и в большей степени они были заинтересованы в том, чтобы сохранить контроль над европейскими партнерами, причем такой контроль, который обеспечил бы недопущение "социалистических экспериментов" (а это понятие рассматривалось весьма широко, включая неприятие программы даже таких умеренных социал-демократов, как Г. Мюрдаль) и, кроме того, обеспечил бы европейскую поддержку конфронтационного курса по отношению к Востоку.

Именно поэтому был отвергнут в высших вашингтонских сферах разработанный еще в 1946 г. план экономического оздоровления Европы, согласно которому главным органом осуществления этого плана должна была стать либо Европейская экономическая комиссия ООН (руководимая как раз Г. Мюрдалем), либо специальная новая организация европейских государств без участия СССР, Великобритании и США. У. Росту, один из авторов этого проекта, объясняет его отклонение личными пристрастиями Дж. Бирнса, однако, на наш взгляд, это далеко не адекватное объяснение; трудно сказать, удалось ли бы в случае одобрения этого плана администрацией США сохранить единство Европы, как полагает У. Росту, но то, что, отвергнув его, руководство США показало свою малую заинтересованность в сохранении такого единства, — это очевидно<sup>211</sup>. Как справедливо отмечает американский историк Э. Депорт, "для Соединенных Штатов [идея] единства Западной Европы была удобным компонентом политики, способствовавшей расколу Европы"<sup>212</sup>.

Впрочем, и с единством *Западной* Европы далеко не все просто. Тот же план Росту предусматривал и более узкий, чисто западноевропейский вариант его осуществления, нацеленный на создание из стран региона "Соединенных Штатов Европы". Но и этот вариант не привлек его шефов. Почему? На это убедительно, на наш взгляд, отвечает другой американский историк — Л. Каплан: идея "Соединенных Штатов Европы, которые поддерживались бы, но не контролировались со стороны США", пишет он,

<sup>210</sup> См.: Западноевропейская интеграция: проекты и реальность / Под ред. В.Б. Княжинского. М., 1986. С. 30, 35; Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция. М., 1988. С. 21.

<sup>211</sup> Rostow W. The Division of Europe after World War II: 1946. Austin, 1981. P. 72, 79–80, 100–109.

<sup>212</sup> De Porte A. Europe between Superpowers: the Enduring Balance. New Haven, 1979. P. 136.

разделялась лишь "небольшой частью американской политической элиты". Большая часть этой элиты преследовала совсем иные цели и видела совсем иную Европу. Какую – он довольно ярко иллюстрирует: "Следующее поколение стало свидетелем того, как американские продукты – от автомобилей до электроники, от пылесосов до зубной пасты – завладели европейским рынком. Возник новый колониализм, при котором транснациональные корпорации со штаб-квартирами в Нью-Йорке, Детройте или Акроне качали доллары из Европы с той же основательностью, как в XVI в. метрополии – при системе меркантилизма – выкачивали золото и серебро из тогдашних своих колоний. . . Американская помощь европейцам привела к улучшению условий их жизни, но с неизбежностью привела и к ограничению их свободы распоряжаться собой. Американское присутствие в Европе сопровождалось установлением [американского] политического и экономического контроля. Это вызвало протест". НАТО, замечает Л. Каплан, стало символом американского протектората, а его главнокомандующий воспринимался как американский проконсул в Европе.

Но все это, по мысли Л. Каплана, лишь одна сторона медали. Другая состоит в том, что «американский век канул в прошлое. . . Осуществилась цель, которую преследовали американцы, – построение сильной в экономическом отношении, жизнеспособной Европы, свободной от многочисленных барьеров и перегородок, которые ее разделяли в прошлом. Если выиграла "Дженерал электрик", то выиграл и "Филиппс", и если "Дженерал моторс" протянула свои щупальца в Германию, то это не пошло в ущерб "Фольксвагену" или "Мерседес-Бенцу". . . Мощный европейский конкурент, бросающий на каждом шагу вызов Америке, – это, возможно, было не совсем то, что имели в виду американские планировщики 40-х годов, однако этот результат стал логическим следствием действия механизма, созданного для содействия европейской перестройке»<sup>213</sup>.

Рассуждения эти, безусловно, интересны – именно потому мы привели их в максимально полном виде; они отражают в какой-то мере историческую действительность, но, по нашему мнению, "оставляют за кадром" некоторые весьма важные моменты.

Сама по себе идея Л. Каплана об изменении характера отношений между США и Западной Европой от 40-х годов к современности вполне разумна. Трудно, однако, согласиться с его (правда, прямо не высказанным, но подразумеваемым) тезисом о почти "автоматическом" характере этих изменений; на наш взгляд, они стали возможны в результате изменений международного климата; если бы с середины 50-х годов не начался некоторый спад в "холодной войне" (по крайней мере в Европе), то, думается, вряд ли "новый колониализм" уступил бы место "партнерству соперников"; видимо, не случаен и тот факт, что европейская интеграция в том виде, как она развивается сейчас в странах Западной Европы, берет свое начало не с 1947 или 1949 г., а с 1957 г.

<sup>213</sup>Kaplan L. Western Europe in "The American Century": A Retrospective View // Diplomatic History. 1982. Vol. 6, N 2. P. 112–114, 117.

Об этом политическом факторе, выходящем за рамки отношений внутри "атлантического мира", Л. Каплан умалчивает. Что же касается целей и планов США, то он, по нашему мнению, противоречит сам себе. С одной стороны, он говорит, что США были за "сильную" Европу, с другой – что они не хотели создавать себе сильного конкурента. Но, думается, те, кто планировал американскую политику, не могли не отдавать себе отчета в том, что капиталистическая Западная Европа, усилившись, конечно же, станет конкурентом и, чем сильнее она будет, тем более опасной она будет становиться как конкурент. Отсюда вытекает, на наш взгляд, важный вывод: США и в 40-е годы не были заинтересованы в "усилении" Европы до такой степени, чтобы это дало возможность европейским странам освободиться от зависимости в духе "нового колониализма"; возможность "контроля" над экономическими процессами в Западной Европе американцам давала обстановка "холодной войны"; стремление США "притормозить" тенденции к самостоятельному развитию западноевропейских государств выразилось, в частности, в выдвижении на первый план проектов *военно-политической* интеграции, а не *экономической* – можно даже сказать, *вместо* и в *ущерб* экономической<sup>214</sup>. Разумеется, на словах американские представители выступали за интеграцию во всех сферах, но проталкивали-то они все-таки исключительно планы *военной* "наднациональности" – идеи "европейской армии", выразившиеся вначале в "плане Плевена", а затем в проекте "Европейского оборонительного сообщества" (ЕОС).

В последнее время в западной историографии находит определенное признание тот факт, что акцент на военно-политическом аспекте интеграции нарушил ее естественный ход, фактически завел ее в тупик. Однако ответственность за такой "милитаристский" уклон возлагается на... Францию<sup>215</sup>, хотя более традиционным является обвинение в ее адрес за недостаток энтузиазма в поддержке планов типа того же ЕОС<sup>216</sup>.

Противоречивость суждений отражает в данном случае и недостаточную научную разработанность проблемного треугольника: "холодная война" – "третья сила" – "европейская интеграция". Здесь много все еще не выясненных вопросов. Насколько, например, американской стороной осознавался тот факт, что, форсируя военно-политический аспект интеграции в ущерб экономическому, США "ставят телегу впереди ло-

<sup>214</sup>В советской историографии обоснованно отмечается тенденция к "охлаждению" с американской стороны к идее европейской интеграции при Никсоне, Картере и Рейгане (см.: Барановский В.Г. Указ. соч. С. 23). В общем, такая тенденция находит вполне приемлемое объяснение с точки зрения концепции "двух этапов" американско-западноевропейских отношений: одно дело, когда речь идет об интеграции зависимых государств, другое – когда объединяются конкуренты. Однако и на первом этапе "энтузиазм" США относительно европейского объединения был далеко не столь однозначным феноменом.

<sup>215</sup>Такова точка зрения К. Швабе (ФРГ). См.: Schwabe K. Der Stand der Bemühungen um Zusammenarbeit und Integration in Europa, 1948–1950 // Die westliche Sicherheitsgemeinschaft. S. 76.

<sup>216</sup>Это обвинение повторено в мемуарах американского дипломата Дж. Болла. См.: Ball G. Op. cit. P. 92–93.

шадя” и фактически обрекают на неудачу все предприятие?<sup>217</sup> Каково было отношение американских ответственных лиц к тем проектам экономической и военно-политической интеграции, которые выдвигались представителями самих западноевропейцев?<sup>218</sup> Какова была роль отдельных стран и партий в крахе планов европейской интеграции в конце 40-х – начале 50-х годов?<sup>219</sup>

Тем не менее даже на основе того, что уже есть в историографии, можно сделать вывод: ”третья сила” в Европе как идея содержала в себе шанс на предотвращение конфронтации, но она могла реализоваться на основе, альтернативной тем планам европейского строительства, которые навязывались (или по крайней мере подсказывались) из-за океана и отражали гегемонистские устремления США<sup>220</sup>. В этом смысле, если уж говорить об упущенной возможности ”третьей силы” путем идеи ”федерирования Западной Европы”, то она состояла не в том, что этой идеей слишком мало занимались, а в том, что ею слишком много занимались – в ущерб более реальным и более актуальным задачам, задачам подлинного единения европейцев<sup>221</sup>.

Такое единение – а тем самым и возможность остановить ”холодную

<sup>217</sup>В тех же мемуарах Дж. Болла признается нереалистичность программы создания сильной наднациональной власти даже в чисто экономической сфере в условиях Западной Европы первых послевоенных лет; идею ”Соединенных Штатов Европы” он отвергает даже как цель на перспективу; при этом он, однако, считает вполне реальной и достижимой идею ЕОС, степень наднациональности которого намного превышала тот, который и ныне только планируется для ЕС. См.: *Ball G. Op. cit.* P. 81–82, 92.

<sup>218</sup>По мнению К. Швабе, французский ”план Плевена”, который он считает роковым с точки зрения европейского объединения, не только не был согласован с американцами, но и вызвал недовольство с их стороны. Дж. Болл, повествуя о своей деятельности в Париже в конце 40-х – начале 50-х годов, дает понять, что американцы были в курсе всех деталей политического планирования французских официальных кругов. Вряд ли от них могла укрыться и подготовка ”плана Плевена”. См.: *Ball G. Op. cit.* P. 89–91.

<sup>219</sup>Единодушно негативная оценка роли Великобритании в этом деле, видимо, должна быть несколько пересмотрена в связи с солидным материалом, представленным в книге А. Буллока.

<sup>220</sup>На конференции европейских историков в Страсбурге, посвященной проблемам послевоенного ”европейского строительства”, было приведено такое высказывание эмиссара Кеннеди М. Банди в беседе с Аденаузром: когда последний посетовал, что США зря считают Великобританию ведущей державой в Западной Европе, Банди уточнил: ”Единственная ведущая держава здесь – это США”. См.: *Histoire des Debats de la Construction Europeenne, Mars 1948 – Mai 1950 / Sous la direction de R. Poidevin. P., 1988. P. 450.*

<sup>221</sup>Совсем другой характер носила идея ”третьей силы” без непременно и предварительного условия в виде федерирования государств Западной Европы. В советской историографии отмечается позитивный характер соответствующих разработок, начавших появляться в 50-е годы. См.: *Наринский М.М. ”Холодная война” и раскол Европы // Европа XX века. С. 126–127.* Вместе с тем представляется неверной трактовка, согласно которой «идеи ”третьей силы”. . . лишь камуфлировали действительную антикоммунистическую направленность этой программы [”объединения Европы”]». См.: *Западноевропейская интеграция. . . С. 27.*

войну” – имело своей предпосылкой установление единства демократических сил Европы, в первую очередь единства рабочего класса и его организаций. Именно в нерешенности этой задачи следует, очевидно, также искать ”упущенные возможности” послевоенного развития. В западной историографии, особенно той, которая отражает позиции ”левее центра”, подобная идея встречается, хотя степень глубины ее разработки весьма различна, так же как и оценка реальной значимости данного фактора с точки зрения возможностей альтернативного развития. В. Лот мимоходом упоминает, что западноевропейские социалисты ”сами себя ослабили тем, что провели черту раздела между собой и коммунистами”<sup>222</sup>(в этом отношении он придерживается точки зрения, диаметрально противоположной той, которую мы видели у Э. Нольте и которая сводилась к восхвалению антикоммунистической линии тогдашних лидеров социал-демократии), однако это именно замечание мимоходом.

Л. Нитхаммер высказал ту мысль, что рабочее движение изначально и не могло сыграть какой-либо существенной роли, ибо его, по существу. . . не было: оно так и не оправилось от удара, нанесенного ему фашизмом, исчезло как самостоятельный фактор политической жизни в Европе. У. Борсдорф выдвинул более узкое и конъюнктурное объяснение того же вывода, ограничив его применимостью ситуацией в тогдашней Западной Германии: рабочие были физически истощены, а потому и не могли бастовать или прибегнуть к каким-то более или менее активным формам протеста против, положим, того же ”плана Маршалла”. Напротив, последователь школы Абендрота Э. Шмидт выступил с критикой идеи ”отсутствия альтернативы”<sup>223</sup>. Содержание дискуссии лимитировано до сих пор весьма узкой источниковой базой, особенно для анализа деятельности и позиций низовых организаций рабочего класса, ”базиса”.

Общий вывод из рассмотренных нами концепций ”европейского измерения” в ”холодной войне” может быть сформулирован следующим образом: первые два ее варианта – об ”активной роли” европейцев в подталкивании конфронтации, равно как и о ”пассивной” их роли в этом процессе, видимо, скорее больше принадлежат прошлому. На авансцену выходит третий вариант – в виде анализа использованных и в еще большей степени неиспользованных возможностей европейского *антиконфронтационного* потенциала. Анализ этот требует новых исследований в сфере взаимоотношений между СССР и странами Центральной и Юго-Восточной Европы (надо надеяться, что будут введены в оборот новые архивные источники по этой проблеме). Он требует более глубокого исследования и отношений по линии США – Западная Европа, а также отношений между западноевропейскими странами, и отношений между различными общественно-политическими силами внутри отдельных стран Европы.

<sup>222</sup>Loth W. Die Teilung der Welt. S. 339.

<sup>223</sup>Der Marshall-Plan und die europäische Linke. S. 208, 214–215, 598–599.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершение работы над этой книгой совпало с важным историческим событием – окончанием “холодной войны”. Разумеется, это не значит, что закончилась и ее историография. Напротив, как уже указывалось, именно теперь появились наиболее благоприятные условия для ее развития. Особую значимость приобретает вопрос об отношении к тем трудам и тем концепциям, которые возникли и сформировались еще в условиях “холодной войны”. Сохранят ли они свое значение и ценность или же должны будут попросту уступить место совсем новым подходам, которые будут вырабатываться по мере того, как человечество все дальше будет отходить от печального периода конфронтации и угрозы самоуничтожения?

Ответ, думается, ясен: интересующая нас историография сложилась тогда, когда наметились *сдвиги к лучшему* в международной обстановке, даже *предвосхищая* в известной мере эти сдвиги, сложилась, как *отрицание* менталитета “холодной войны”, а потому в условиях, когда это отрицание стало уже политической реальностью, она, естественно, отнюдь не обречена на отмирание. Возникает еще один вопрос – более сложный: каковы оптимальные направления ее развития? Что следует взять в будущие исторические труды и что оставить в прошлом?

Эти вопросы еще не стали предметом монографических исследований или даже статей. Но они уже обсуждаются сообществом историков. Активно дебатировались они, в частности, в ходе тех встреч советских и американских историков – специалистов по “холодной войне”, которые имели место в 1990 г. и о которых кратко уже упоминалось нами. Материалы этих встреч, а также других контактов и бесед, в которых принимал участие автор предлагаемой монографии, позволяют дополнить, кое в чем подтвердить, кое в чем уточнить мысли и выводы, сложившиеся в ходе анализа книжно-журнальной продукции. Этим и хотелось бы поделиться с читателем.

Каковы вкратце те позиции, которые наши западные коллеги (во всяком случае, большинство из тех, с кем приходилось встречаться) считают ныне оптимальными для вступления в новую стадию изучения истории “холодной войны”?<sup>1</sup> Каковы их прогнозы и рекомендации для этой новой стадии?

Выше уже отмечалось, что на официальных советско-американских конференциях в июне–июле 1990 г. большинство членов американской делегации проявили склонность к весьма жесткому, близкому к “ортодоксии” подходу к истории послевоенной конфронтации, к традиционным моделям в историографии. Из модернистских методик более других в их выступлениях проявляли себя модель “взаимного неверного восприятия” и “европеистская” – в том варианте, которые определяет европейский фактор как способствовавший конфронтации, если не выз-

<sup>1</sup> В том, что речь идет о новой и более благоприятной для научного исследования стадии, имеется полное согласие.



вавший ее. Говорилось об институализации комплекса "холодной войны" как препятствию к ее демонтажу в нынешних условиях, но не как факторе в ее генезисе (то, что мы определили как первую "постревизионистскую" модель, фигурировало, как видим, в весьма усеченном виде). При этом лишь вскользь упоминалось о роли общечеловечности, зато широко была представлена концепция послевоенного "вакуума". В результате значительное большинство участников встречи, включая и советских, разделили тезис о неизбежном, по существу, характере "холодной войны". На наш взгляд, это не самый лучший подход.

Правда, с американской стороны А. Шлезингер высказал ту мысль, что демонтаж "холодной войны", вероятно, начался бы значительно раньше, если бы Кеннеди и Хрущеву было суждено подольше остаться на своих постах, но это "упущенная возможность", относящаяся к довольно позднему периоду. О двух более ранних возможностях такого рода говорил в докладе Дж. Гэддис: во-первых, связанной с предотвращением начальных испытаний термоядерного оружия (мы упоминали статью Б. Бернстайна, в которой подробно анализируется эта проблема) и, во-вторых, относящейся к американской политике в Японии накануне войны в Корее (при этом докладчик сослался на мнение Дж. Кеннана). Кстати, что касается собственного мнения Дж. Гэддиса по этим сюжетам, то оно весьма скептическое – точно так же, как и в отношении лишь упомянутого им, но никак не прокомментированного суждения Р. Штейнингера о возможности решения германского вопроса еще в начале 50-х годов. Заметим, что во всех этих случаях речь шла о возможностях "деэскалации" напряженности, но не ее предотвращения. Думается, что все же проблема "упущенных возможностей" требует более пристального внимания.

Относительно проблемы перспектив направлений разработки темы истории "холодной войны" в наиболее общей форме точку зрения наших американских коллег можно суммировать в виде следующих трех тезисов: 1) главным полем изучения в будущем должна стать советская политика, так как западная уже достаточно исследована; 2) советские историки должны заняться главным образом критикой политики своей страны, ибо западные уже достаточно сделали для критики своей; 3) будущие исследователи "холодной войны" должны априори принять за аксиому посылку, что Запад ее выиграл, а Восток проиграл.

На наш взгляд, выводы и уроки из предшествующего изучения "холодной войны" должны выглядеть несколько иначе, равно как и уроки и выводы из истории самой "холодной войны".

Безусловно, у советских историков большой долг в том, что касается "советского измерения". В прошлом они практически не имели доступа к первоисточникам, которые могли бы пролить свет на процесс принятия политических решений советским руководством, на проблему наличия или отсутствия в нем различных мнений по вопросам внешней политики, проблему соотношения догмы и неверной информации в происхождении сталинистских "мисперцепций" (были ли в советском внешнеполитическом мышлении элементы того "двуслойного восприятия", которое, по нашему мнению, определяло западный подход к анализу

внешнего мира?). Мы не говорим уже о проблеме советского военного планирования, советской разведывательной деятельности и т.д.

Однако и "западное измерение" не может считаться полностью исчерпанным. Четыре "постревизионистские" модели имеют еще достаточный потенциал для саморазвития. Роль ВПК в принятии политических решений, соотношение конфронтационного и неконфронтационного начал в общественном сознании различных стран и различных социумов, соотношение тех же начал в различных проектах континентального и субконтинентального устройства (европейская интеграция!) – лишь некоторые из перспективных проблем в этом направлении. Остается и проблема отношений Восток–Запад в более протяженном временном континууме. Мы видели, что не только правоконсервативные, но и либеральные и даже леворадикальные историки на Западе начинают историю "холодной войны" с 1944, 1943, 1942 гг., когда сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции еще шло по восходящей. Советские историки, отвергая такую датировку в пользу "послерузвельтовской", сами зачастую трактуют историю антигитлеровской коалиции больше с точки зрения ее противоречий, конфликтов и сложностей. Думается, здесь необходимы существенные коррективы с обеих сторон.

Должно ли быть изменено направление критики в адрес политиков "холодной войны"? Безусловно, советские историки должны отказаться от одностороннего "разоблачения империализма" и от всякой апологетики сталинизма. Но правомерен ли простой поворот на 180 градусов? Сами западные историки выступают против резких шараханий от "ортодоксии" к "ультраревизионизму", за сбалансированный подход, и в принципе против этого трудно что-либо возразить. Однако, когда речь заходит о тенденциях в развитии советской исторической науки, эти же историки порой как раз призывы к такому сбалансированному подходу расценивают как признак конформизма, выражение позиции "советского истеблишмента"<sup>2</sup>. Но разве может быть истина хороша для советской науки и плоха для, положим, американской, и наоборот? Нет, ибо наука едина.

И, наконец, насчет победы и поражения в "холодной войне". Тезис "Запад выиграл, Восток проиграл" широко представлен на страницах текущей западной прессы. В большинстве случаев речь идет о политизированной риторике, не требующей ответа историка. Однако есть и более серьезные аргументы по этому поводу, и их, думается, полезно рассмотреть.

Вот что говорит А. Шлезингер: "Коммунизм в той форме, как он практиковался в Советском Союзе и был навязан Восточной Европе – в виде абсолютистской политической системы, базировавшейся на диктатуре безоговорочной веры, неошибающейся партии и гарантированного от ошибок лидера, – этот коммунизм ныне в состоянии экономического, политического и морального банкротства. Демократия выиграла политический спор между Востоком и Западом, рынок – спор экономический. . .

---

<sup>2</sup>Taubman W., Taubman J. Moscow Spring. N.Y., 1989. P. 79.

Почему демократия одержала триумф? Потому что свободная политическая и экономическая система обладает большей гибкостью, большей способностью приспосабливаться к трансформациям, вызываемым бесконечными революциями в науке и технике. Коммунизм, отгородившись от дискуссий, диссента и иронии, заморозив себя в жесткой, статичной и самодовольной идеологии, лишил себя возможности приспособиться к изменениям, что вызвало недовольство, сопротивление и в конечном счете — мятеж”э.

В этих словах есть немалая доля истины, особенно что касается критики (относительно апологии ”западной системы” можно сказать, что в ее истории имелись не только попытки приспособления к изменениям, но и попытки отбросить историю назад, а самая масштабная из них — фашизм — потерпела крах только благодаря союзу Запада с Востоком). Но затрагивает ли эта критика суть коммунизма, или, точнее говоря, социалистической идеи? А. Шлезингер сам четко отделяет сущность от явления, когда говорит: ”Мир желает коммунизму успеха в деле освобождения от стягивающего его корсета”<sup>4</sup>. Выходит, что коммунизм — это одно, а ”корсет” — иное. ”Холодная война” никак не способствовала освобождению от этого ”корсета”, напротив, только туже затягивала его. Демонтаж ”холодной войны” впервые создал возможность освободиться от ”корсета”. Так почему же это считать для коммунизма поражением? Это поражение для тех сил, которые были в таком ”корсете” заинтересованы. Порой советское ”поражение” усматривают в том, что рухнули административно-командные системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, ушло в прошлое то, что еще недавно называлось социалистическим сообществом. Особенно обыгрываются якобы негативные для СССР последствия решения германского вопроса. К примеру, редактор мюнхенской газеты ”Штутгартер цайтунг” Й. Йоффе предрекает, что «русские проведут следующие 20 лет в дебатах на тему: ”Кто потерял Германию?”»<sup>5</sup>. Бытует подобное мнение и в некоторых кругах советской общественности.

По этому поводу весьма удачно, на наш взгляд, высказался в ходе первой московской встречи советских и американских историков по ”холодной войне” советский исследователь С.М. Плеханов: «Сегодня наши консерваторы сокрушаются, что мы потеряли Восточную Европу, но, с другой стороны, надо задаться вопросом, была ли Восточная Европа нашей? В ”холодной войне” по-настоящему проиграл тот, кто хотел иметь абсолютный контроль над Восточной Европой, — Сталин. Но не Горбачев и не Советский Союз»<sup>6</sup>.

✓ Наконец, остается довод об экономическом проигрыше. Он для СССР очевиден. Но не менее очевиден он и для США. Бывший советник Кеннеди, ныне старший партнер в крупной американской юридической фирме

<sup>3</sup>Schlesinger A. Some Lessons from the Cold War: Paper presented to Soviet-American Seminar on the Origins of the Cold War. Meshcherino, USSR, 27 June 1990. P. 12.

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Joffe J. What Just Happened: a Lite History // The New Republic. 1990. Aug. 13. P. 20.

<sup>6</sup>Междунар. жизнь. 1990. № 10. С. 145.

Т. Соренсен, также отнюдь не чуждающийся тезиса о победе США в "холодной войне", довольно минорно живописует положение американской экономики после этой "победы": "У нас самый большой в мире торговый дефицит. Мы теряем наши позиции в конкурентной борьбе, нашу долю на внутреннем и экспортном рынках, проигрываем раз за разом в тех отраслях промышленности, где наше лидерство в прошлом являлось бесспорным. . . Мы попали в опасную зависимость от заграницы в передовой компьютерной и полупроводниковой промышленности, которые лежат в основе современной информатики. . . У нас самый большой разрыв между заработками и сбережениями, самый большой абсолютный бюджетный дефицит и самый низкий среди стран индустриализованного мира прирост производительности труда. Мы стали. . . крупнейшим в мире должником". Автор видит две опасности для Америки: либо повторение судьбы Великобритании, безвозвратно потерявшей промышленное первенство; которым она обладала в XIX в., либо повторение "холодной войны" – но уже против своих конкурентов<sup>7</sup>.

В тех тяжелых экономических условиях, в которых ныне оказалась наша страна, сетования Соренсена на опасности, подстерегающие США, могут показаться преувеличенными. Но американцам виднее. В этой связи гораздо более точной представляется формулировка, которую употребил для характеристики того, что принесла "холодная война" и СССР, и США, видный американский политолог и историк Р. Стил: обеим державам она принесла поражение<sup>8</sup>. Она принесла поражение и всему человечеству. Именно такой подход к оценке ее результатов будет, очевидно, оптимальным с точки зрения ее исторического исследования.

Бесплодность прежних подходов справедливо отмечена М.С. Горбачевым: "Мы говорим, что американцы виноваты. Американская сторона говорит, что Советский Союз виноват. Видимо, разбираться в причинах того, что произошло, следует, потому что надо извлекать уроки из прошлого, в том числе и из прошлого наших отношений. Эта наука, серьезная наука, ответственная наука, если, конечно, стоять на позиции правды"<sup>9</sup>. Именно этим высказыванием руководителя Советского государства Дж. Гэддис завершил свой доклад на Московской советско-американской конференции специалистов по изучению "холодной войны". Мы много спорили с Дж. Гэддисом и на научных форумах, и на страницах этого труда. В данном случае можно констатировать совпадение наших взглядов – и это общее понимание задач ученых как задач поиска исторической правды и извлечения необходимых уроков из прошлого представляет, на наш взгляд, благоприятную предпосылку для перехода к новой стадии научного анализа "холодной войны". Надеемся, что предпринятая нами в данной монографии попытка "инвентаризации" того, что уже накоплено по этой проблеме на Западе, внесет свою лепту в эти общие интернациональные усилия.

<sup>7</sup>См.: *Sorensen Th. Rethinking National Security // Foreign Affairs, 1990. Vol. 69, № 3. P. 8, 10.*

<sup>8</sup>*Steel R. Moscow: End the Cold War // The New York Times. 1988. Dec. 11.*

<sup>9</sup>*Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988. С. 221.*

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |     |
|--|-----|
| ВВЕДЕНИЕ .....   | 3   |
| Глава 1  |     |
| ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ<br>"ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ" .....          | 17  |
| Генезис: от "ортодоксии" к "реализму" .....  | 17  |
| "Ревизионизм": достижения и проблемы .....   | 40  |
| Историки в поисках "баланса": "постревизионизм" .....                                  | 51  |
| Глава 2  |     |
| ТРАДИЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ": АРГУМЕНТЫ<br>И КОНТРАРГУМЕНТЫ .....           | 69  |
| "Идеологическая модель" интерпретации "холодной войны" .....                           | 69  |
| "Традиционалистская модель" в западной историографии "холодной войны" .....            | 89  |
| Сталинизм, "холодная война" и западная историография .....                             | 100 |
| Глава 3  |     |
| ДИСКУССИИ ВОКРУГ "МОДЕРНИСТСКИХ" ПОДХОДОВ<br>К ИСТОРИИ ПОСЛЕВОЕННОЙ КОНФРОНТАЦИИ ..... | 122 |
| "Организационная модель" в западной историографии "холодной войны" ..                  | 122 |
| Общественность и "холодная война": три конкурирующие трактовки .....                   | 140 |
| Модель "искаженного восприятия" в интерпретации "холодной войны" ..                    | 157 |
| "Европейское измерение" в истории и историографии "холодной войны" ..                  | 171 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....   | 195 |

Научное издание

Филитов Алексей Митрофанович

**ХОЛОДНАЯ ВОЙНА:**

историографические дискуссии на Западе

*Утверждено к печати Институтом всеобщей истории Академии наук СССР*

Заведующая редакцией *И.С. Трахтенберг*. Редактор *Н.Ф. Лейн*

Художник *А.А. Кущенко*. Художественный редактор *Н.Н. Михайлова*

Технические редакторы *Н.А. Посканная, О.В. Аредова*. Корректор *Р.Г. Ухина*

Набор выполнен в издательстве на наборно-печатающих автоматах

ИБ № 46070

Подписано к печати 09.04.91 Формат 60 X 90 1/16. Бумага офсетная № 1  
Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная. Усл.печл. 12,5. Усл.кр.-отт. 12,8  
Уч.-изд.л. 16,0. Тираж 1250 экз. Тип. зак. 1309. Цена 6 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука"  
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени 1-я типография издательства "Наука"  
199034, Ленинград В-34, 9-я линия, 12

А.М. Филитов

# «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»

Среди исторических проблем XX века одна из наиболее дебатлируемых – “холодная война”. Что это такое? Когда она началась? Каковы были ее движущие силы? Можно ли ее было предотвратить и почему не удалось это сделать? Эти вопросы широко обсуждаются советскими учеными и их западными коллегами. Ответы многочисленны и разнообразны, но вопросы остаются.

“Инвентаризация” достигнутого, анализ “белых пятен”, попытка дать интерпретацию истории “холодной войны” с новых, неконфронтационных позиций – все это читатель найдет в предлагаемой монографии.